

..... ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР

International Literary Magazine

KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

Б А Л Т И Я

#77
KRESCHATIK
International Literary Magazine



В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги:



Международный
литературно-
художественный
журнал



Главный редактор
Борис Марковский (Германия)
тел. (+49) 5631-50-31-42

Зам. гл. редактора
Елена Мордовина (Киев)
тел. (+38) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:
Андрей Коровин (Москва),
Виталий Амурский (Париж),
Борис Херсонский (Одесса),
Игорь Савкин (Санкт-Петербург),
Борис Констриктор (Санкт-Петербург),
Владимир Алейников (Москва),
Вальдемар Вебер (Аугсбург),
Сергей Шаталов (Донецк),
Айдар Хусаинов (Уфа)

Художник
Иван Граве (Санкт-Петербург)

Год издания двадцатый
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markowskij, Tränke Str. 16
34497 Korbach, Deutschland
e-mail: borismark30@T-Online.de
<http://www.kreschatik.kiev.ua/>
<http://magazines.russ.ru/>

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»
192171, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 53.

Журнал выходит 4 раза в год
ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2017 г.
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

| | | |
|--|--------------------------------|-----|
| Петр Чейгин / <i>СПб.</i> / | «Числа зимние» на юбилей | 6 |
| Вера Панченко / <i>Рига</i> / | В Кирилловом монастыре | 27 |
| Виталий Асовский / <i>Вильнюс</i> / | Небо небо | 31 |
| Борис Бартфельд / <i>Калининград</i> / | Ангелы не объясняются | 35 |
| Любовь Салимова / <i>Вильнюс</i> / | Лимерики | 38 |
| Борис Херсонский / <i>Одесса</i> / | «Растопим камин...» | 45 |
| Илья Китуп / <i>Вильнюс — Берлин</i> / | Вести с родины | 67 |
| Роман Новарро / <i>Рига</i> / | Паруса | 70 |
| Игорь Белов / <i>Калининград</i> / | Дредноуты | 74 |
| Лариса Йоонас / <i>Кохтла-Ярве</i> / | Самый белый свет | 78 |
| Эд Побужанский / <i>Москва</i> / | Скрипач | 86 |
| Эльвира Поздня / <i>Вильнюс</i> / | Обманутое поколение | 96 |
| Лолита Сойфер / <i>Рига</i> / | Печаль | 100 |
| Павел Гуданец / <i>Рига</i> / | Выбор | 104 |
| П.И. Филимонов / <i>Таллинн</i> / | Августин | 108 |
| Владимир Кривошеев / <i>СПб.</i> / | Китайцы в Пушкине зимой | 123 |
| Фикрат Салимов / <i>Вильнюс</i> / | Праздник | 130 |
| Даля Трускиновская / <i>Рига</i> / | «Этот мир — кирпичный...» | 134 |
| Фома Грек / <i>Вильнюс</i> / | Илилишь | 138 |
| Игорь Котюх / <i>Пайде</i> / | Красота неочевидных вещей | 141 |
| Марина Смирнова / <i>Вильнюс</i> / | Зеркала | 156 |
| Сергей Михайлов / <i>Калининград</i> / | Слепая точка | 160 |
| Сергей Смирнов / <i>Вильнюс</i> / | Город в ночи | 164 |
| Дмитрий Краснов / <i>Таллинн</i> / | «Я живу, как смешное слово...» | 168 |
| Александра Бандурина / <i>Рига</i> / | «Когда полноводье слов...» | 213 |
| Фаина Осина / <i>Даугавпилс</i> / | На балансире | 217 |
| Ирина Цыгальская / <i>Рига</i> / | «Я не бессмертия хочу...» | 221 |
| Елена Ларина / <i>Таллинн</i> / | По городам и странам... | 226 |
| Андрей Высокосов / <i>Москва</i> / | «собирается за полночь...» | 242 |
| Елена Копытова / <i>Рига</i> / | Провинциальное | 263 |
| Ольга Кварта / <i>Рига</i> / | Из грузинской тетради | 267 |
| Людмила Логинова / <i>Тарту</i> / | Без меня | 271 |
| Татьяна Житкова / <i>Рига</i> / | «Не спрашивай меня...» | 308 |
| Андрей Тозик / <i>Калининград</i> / | «Непохожим проснуться...» | 324 |
| Марина Викторова / <i>Таллинн</i> / | Девочка Мунка, пубертат | 328 |

Проза

| | | |
|---|-------------------------------|-----|
| Сергей Воробьёв / <i>Рига</i> / | Дежавю. <i>Метапроза</i> | 11 |
| Елена Мордовина / <i>Киев</i> / | Лошади породы жемайтчо | 40 |
| Анатолий Цветков / <i>Елгава</i> / | Судьба-злодейка | 48 |
| Милена Макарова / <i>Рига</i> / | Рига | 82 |
| Нина Косман / <i>Нью-Йорк</i> / | Мёд | 89 |
| Виктор Румянцев / <i>Рига</i> / | Старость | 113 |
| Олег Глушкин / <i>Калининград</i> / | Тильзитский мир | 127 |
| Анатолий Козлов / <i>СПб.</i> / | Церковные мыши | 145 |
| Юрий Серб / <i>СПб.</i> / | Речка Нача. <i>Отрывок</i> | 197 |
| Джек Нейхаузен / <i>Рига — Нью-Йорк</i> / | Мои «философские размышления» | 230 |

Журнал «Сумерки»: 30 лет спустя

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-----|
| Арсен Мирзаев / <i>СПб.</i> / | В сумерках — о «Сумерках» | 245 |
| Алексей Гурьянов / <i>СПб.</i> / | Март | 249 |
| Александр Новаковский / <i>СПб.</i> / | «Немного лжи...» | 251 |
| Игорь Савво / <i>СПб.</i> / | «Собеседник деревьев...» | 253 |

Переводы

| | | |
|---|----------------------------------|-----|
| Щепан Твардох / <i>Варшава</i> / <i>Перевод Сергея Морейно</i> | Морфий. <i>Фрагмент романа</i> | 171 |
| Леонс Бриедис / <i>Рига</i> / <i>Перевод Юрия Касянича</i> | Мой шестой подвиг. <i>Поэзия</i> | 188 |
| Моше Кульбак / <i>1886–1937</i> / <i>Перевод Виталия Асовского</i> | Вильно. <i>Поэзия</i> | 194 |

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

| | | |
|---|-------------------------------|-----|
| Сергей Слепухин / <i>Екатеринбург</i> / | «Твой тихий сон поцеловав...» | 256 |
| Круглый стол | Семь вопросов к авторам | |
| | «Крещатика» | 275 |
| Артур Штильман / <i>Нью-Йорк</i> / | Исаак Стерн в Москве | 312 |

Латинский квартал

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| Сергей Зельдин / <i>Житомир</i> / | Бездна внутри нас. <i>Рассказы</i> | 332 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----|

Осенью 2017 года исполняется 20 лет с момента выхода первого номера журнала «Крещатик». Своеобразное празднование этого события мы начали заранее: устраивали выездные (точнее улётные, поскольку путешествовали преимущественно по воздуху) презентации в разных городах и странах, награждали памятными медалями наших авторов и редакторов, сотрудничавших с нами изданий. Начав с далекой Австралии и презентации в мельбурнском литературном сообществе «Лукоморье», постепенно добрались до Вечного Города, где весной этого года в центре Ури Цви Гринберга состоялся вечер «Крещатика», организованный «Иерусалимским журналом».

Так, географически двигаясь к северу, мы добрались до календарно точной даты 20-летия нашего журнала. Презентация юбилейного номера состоится в Риге. Материалы для балтийского номера «Крещатика» любезно предоставили нам Юрий Касянич и Сергей Воробьев.

Помимо подборки авторов из Прибалтики (в проекте также принимают участие авторы из Санкт-Петербурга, Калининграда, и некоторых других городов) мы решили разместить в этом номере ответы авторов «Крещатика» на вопросы главного редактора о литературе, творчестве в целом, литературной среде и роли книг в жизни современного читателя.

На вопросы отвечали Татьяна Михайловская, Арсен Мирзаев, Виталий Амурский, Юрий Проскураков, Марк Харитонов, Петр Казарновский, Борис Хазанов, Борис Констриктор, Григорий Вахлис, Александр Тажбулатов, Владимир Порудоминский, Петр Брандт, Николай Боков, Александр Радашкевич, Евсей Цейтлин и Марина Палей. Эта подборка представляет собой некий срез, знаменующий завершение второго десятка лет существования нашего журнала.

Петр ЧЕЙГИН

/ Санкт-Петербург /



Из книги
«Предисловие к слову»

«ЧИСЛА ЗИМНИЕ» НА ЮБИЛЕЙ

1

Тебе больно,
моё сенокосное тело?
Ветра ливрейного гроздь
ты положило на лоб.
Чем ты
свою перекличку задело?
И толокненное утро
одело, как брянский салоп.

2

Дочку не видел,
как зачал в глуби,
в тьму каракатиц
спускаясь на шёлковой леске...
Если не верю —
чёрным шнуром нагруби
складному горлу
Вниз
 Без холма
 В перелеске...

11.12.2013

3

Тронь меня как не меня, как сухую
хижину, полную перьев
птиц, миновавших меня, тугую
иглу набери, поверь ей.

Когда разбудит, смелее кожи,
открытой ясным стараньям мира,
взгляни на стужу в твоей прихожей,
где гости грезят о смысле пира.

12.12.2013

4

Обеденный ветер толкает и падает в рощу.
Ветер ливрейный тарелку швыряет и ропщет.

Вырыто тело годами, фундамент зачтётся.
Тело опомнится, сложится, ночью сомнётся.

Слева направо гуляет тропой малозначной.
Не часовым окоёмом, но калькою брачной.

Дымной колодой, морщинистым утром задето.
Загромождаю тебя, объяснимое гулкое тело.

13.12.2013

5

У нас же мягко стелет не зима,
Но скол багряной пыли между стёкол.
Заимствуй смерть, но не сходи с ума,
И разбуди меня вихреобразным стуком.

13.12.2013

* * *

Я проведу тебя миром по нитке,
как совершал...

Впроголодь тьмы нам по метке
крайних лекал.

Прошлою верой кормящего утра
я оживал.

Копишь и прячешь, грозишь перламутром,
пеших зеркал

вровень касаюсь ёлочной пылью.
Кровельный вальс

не образумит крошево крыльев.
Здесь и сейчас.

17.12.20013

ПОСЛЕ СНЕГА

Прохлада руку подаёт
Накатанному облаку.
У леса треснул вымпел «вход»,
Посулы в рясы собраны.

Мой кофр зауглился и зол
Своими повседневьями.
А на щеке моей узор
Ижорскими кореньями.

01.01.2014

* * *

Помнишь веер голубиный
у Казанского собора?
Где земля гремела глиной
от ремонта и убора

радуг вёсел исцеленья.
В хрупкой тяжести недужной
мы увидели терпенье
и веление быть нужным.

15.01.2014

* * *

Мне дыхания хватит зажечь полонез,
шьётся очередь тактов черствей и скупее,
и распахнуто тело напором словес.

Распуская узлы и разборчиво тля,
вновь стыкуются платья, и верный ловец
прикоснётся опасливо, насмерть жалея...

Как себя не учи, как себе не потворствуй,
пролетит голубок между веерных скал,
а за ними на слух расплескалось сиротство
песек звончатых пчёл, что Орфей заковал.

31.01.—01.02.2014

* * *

Похудела река и слепнет от поля,
от заботливых крыл и прохладных дерюг.
Несуразны кусты, и болото вспороли
сладким плугом греха, вшив армейский утюг

в рёбра дедовой рощи... Польшнёт на июле
венценосный пожар русских слёз и молитв,
горемычным лучом руки бесу стянули
деревенские окна, себя воплотив.

31.01.2014

* * *

Дробь подневольная смиренного дождя
зовёт тебя из чудного похода,
Из риги облачной с окалиною входа,
где время сковано условностью вождя.

Сырая, как всегда при переходе
из лета в лето, теплится вражда
ручья и озера, сопутствует нужда
прозрачности в невидимом народе.

Воскресное кружит на самокате,
теряя тапки на заре двора,
сшибается небесная кора
прикосновеньем голубиной рати.

Покой семян, что занесло сюда
движеньем слов, их соколиной стати,
нарушит лепет мирного зачатья
на полосе плавильного труда.

Где греет лемех спор ладоней двух,
и пузырьки извечного дыханья
тебя наполнят голодом старанья,
как общий Космос общей воли дух.

02.2014

СТУПЕНИ

Подранок, укрывшийся в куче лучей
Закатным ручьём, отражая коряги
Неспешной агонии груды грачей.

Я и подлый сафьян, завернувшийся в стяги
Электрической силы числом до трёхсот,
Горло маршем кромсали и воплями браги.

Пламенеет дыханье Гостилицких сот,
Полнит пятницы тяжесть казённые фляги,
Только быть на губах да придворный осот.

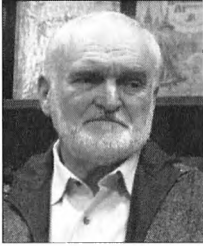
18.04.2014

* * *

Наутро выстроив валы,
Дыханьем выжав йод,
Смывает память у скалы,
Буксиру рвёт живот.

И умирает каждый миг,
Швырнув себя на пляж,
Скрепив ремнём небесных рек
Раскрошенный пейзаж.

24.04.2014



Сергей ВОРОБЬЁВ

/ Рига /

ДЕЖАВИЮ

МЕТАПРОЗА

(околофантастический абсурд)

Предупреждение:

Это не фэнтэзи и не классическая фантастика, а совершенно реальная (а потому и абсурдная вещь), происходящая, м.б., в поле нашего второго «я». А то, что происходит за гранью видимого, очень трудно описать. Новояз и спецтермины здесь даны для приправы. Чтобы блюдо не показалось слишком пресным

Однажды посреди ночи я, протрезвев от сна, поднялся на невёдомый и призрачный зов. Будто из предвечного Космоса кто-то звал меня. До моего уха долетали звуки далёкой вселенской симфонии. Слышалось что-то вроде: Ау-уа-а-а... Но в душе я уже чувствовал, что это отголоски всегалактической музыки, звучащей в холодных глубинах звёздных миров и долетающей до меня едва уловимым эхом. И душа откликнулась на этот зов: под волшебные звуки внеземных пульсаций она стала вливаться в содеянное Словом мироздание. Она постепенно возносилась над миром и увлекала моё бренное тело за собой по бесконечно-пространственной петле Мёбиуса.

Я наполнялся неимоверной сказочной силой и представлял себя, по меньшей мере, великим космическим странником, или, на худой конец, вселенским сторожем, пустившимся осматривать вверенные ему (то есть — мне) для охранения космические пажити. А ведь накануне и не пил вовсе, если не считать рюмки анисовой водки «Узо».

«Странно всё это», — подумал я.

И не успев высказать эту до невозможности простую мысль вслух, я был подхвачен неведомой и бодрящей силой вверх, сквозь кудлатые ночные облака. Так бывает, когда застоявшийся молодой жеребец-калхетинец, кем-то заговорённый, вдруг взбрыкнёт под тобою, закусив натянутые до предела удила, и понесёт бешено и неостановимо вскачь по чужим нехоженым владениям.

«И вот возник звенящий луч, полёт,
дрожащий свет с горячим шлейфом эха...»

Кстати, лёгкое амбрэ аниса, витающее в астральном поле моего беспрецедентного полёта, ничуть не портило впечатления о происходящем.

Я летел в бездну космоса, как некое доверенное лицо надмирового разума, как Большой Спонсор копошащегося в дерьме человечества, достойного жить лучше, шире и богаче. А возможно, и недостойного. Не мне судить. Человечество может и обидеться. (Если уже не обиделось.) Навесит на меня лэйбл изгнанника. И никто, и ничто не поможет восстановить мой статус-кво. Обиды запоминаются надолго и передаются из поколения в поколение в виде канонов и учений.

Несмотря на то, что я летел головой вперёд, я обозревал всё окружающее пространство одновременно, как панорамная веб-камера. Земля холодной жемчужиной таяла в бездонных глубинах вселенского океана, а я уже входил в созвездие Большого Пса, уверенно и непреклонно приближаясь к Сириусу.

В руке своей, вытянутой вперёд, увидел я меч — карающее орудие мировой революции, веский аргумент возмездия победившего пролетариата. Меч этот поблескивал в чернильной черноте вселенной, отражая, по-видимому, звёздные сияния. Я сам был пронизан этим сиянием, отчего наполнялся ещё большей энергией, впитывая в себя исторгаемые небесными телами кварки и глюоны. Да и меч мой, думаю, был не простой. Какой-нибудь протонно-нейтронный, наверное, или даже покруче. Не могли же мне, Большому Спонсору, вручить простое оружие. В процессе полёта я осознал, что положение меча определяет и траекторию моего движения. Это было приятное открытие. Я летел именно в ту сторону, куда было направлено острие моего обоюдоострого оружия. И мне не составляло труда повернуть в любую сторону вселенной, хотя в подсознании теплилась странная мысль, что сторон у Космоса нет и, куда бы я ни перемещался во времени и пространстве, я одновременно и стою на месте и двигаюсь во всех направлениях.

Кстати, обладал я почти абсолютным знанием, что единственное лекарство, которое может возратить из небытия опустошённую душу в режиме on-line — это огуречный рассол.

Устремился я к бело-голубой звезде Сириус, меч свой былинно-барионный вперёд выставил, думаю, проскочу насквозь, приму купель огненную для полного вытрезвления. Хотя и трезв был, как стекло. Но сомнение глодало мою душу, что не окончательно. И вот когда головой в эту каникулярную звезду бухнулся, тут и начало меня колбасить и плющить, плющить и колбасить. И вспомнил я свой дом «повулице Матросова ссадом и сагородом каторай непрадаёцца и непакупаецца и бапку сваю Акулину Стяпановну чта мяня малалетняго патцана аладами картопельными потчивала». И когда эту звезду на-

сквозь протаранивал, вся жизнь моя прошлая пронеслась-проехала передо мною и во всех коленах вспомнилась, и будущие мои жизни — тоже. И не было начала у них, и конца не было. А когда по другую сторону звезды выскочил, то почувствовал всеми фибрами души, что оттопырился по полной программе, и поставил цель себе и впредь оттопыриваться по умолчанию, когда случай представится. Но понял я потом, что случаев таких «ваще не бывать, а ежли бывает, то тока па бальшим празникам и с устатку на галодные пузо».

Кстати, сказано мне было на ухо, как бы шёпотом, когда огневище звёздное преодолевал, что не в вине истина, а в спиритусе, то есть в духе. Что сеющий в дух от духа и пожнёт, и не что-нибудь, а жизнь вечную. А сеющий в плоть, соответственно, от плоти пожнёт. И пожнёт он — тление. Что совершенно естественно, господа хорошие.

Омолодился я от процедуры проделанной и стал видеть всё ясно и трезво, будто никогда в жизнях своих не отведывал ни самогону первой возгонки, ни одеколону «Кармен», ни воды туалетной «Сирень». И стал видеть объекты, прежде не замечаемые мною. Один из них плыл поодаль на фоне далёкой диффузной туманности. Поначалу подумал было, киноцефал какой-то проплывает навстречу с субсветовой скоростью. Пригляделся, а это настоящий визионер, по всей вероятности Филька Гопнер из соседнего подъезда, пребывающий в состоянии постоянного аффекта. А может быть и профессиональный маргинал Ванька Максимов, который ещё вчера хвастался мне, что нашёл в мусорном бачке нераспечатанную вакуумную упаковку с копчёной курицей с действующим ещё сроком годности. «Во, люди живут!» Скорее всего даже Ванька, но морда у него явно не нашенская, протокольная — интеллигентная и хитрая, кирпичка просит. Кричит мне что-то, но голоса его не слышу, лишь по губам догадываюсь:

— Всё, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская...

А дальше он голову свою стриженую отвернул в сторону, и я уже не мог понять, что он говорил ещё, потом посмотрел в мою сторону и как рыкнет хриплым басом пропойцы:

— Не я сказал!..

И голос его раскатистым эхом пронёсся по звёздным весям и покатился по далёким галактикам, возвещая правду-матку. Когда поравнялись мы, оказавшись как бы на траверзных углах, хотя дистанция бешеная была, на глаз эдак в пять парсек, не меньше, я увидел, что в руках у него тоже некое оружие имеется, похожее на сабельку кавалерийскую. Значит, тоже доверили ему задание некое. Можно предположить, что по прополке лишних галактических объектов типа белых или бурых карликов. Сабелька его больно серп напоминала — мирное орудие восставшего гегемона. Хочешь режь, а хочешь жни, вместо денег трудодни. Взмахивал иногда на своим серпастым орудием, но всё мимо. Рубал эфирное пространство почём зря. Язык от усердия высовывал. Приговаривал что-то неполиткорректное. А заце-

пив случайно за красивую звезду из созвездия Живописца, такие искры высек! Так его током ударило, что перекосило его лицо немывое, и глаза чуть наружу не выкатились. Инструкций, видать, не выучил. Времени всё не было. Водку пил, окаянный, да шовинизмом занимался, полигенист несчастный. А ещё на монетарные льготы рассчитывал, освобождаясь тем самым от крайностей гностицизма.

Кстати, заглянуть в бездны разума примерно то же, что заглянуть в бездны Вселенной. И никогда не заглядывайте туда на трезвую голову, это может привести к непредсказуемым последствиям.

А ведь точно инструкций он не читал! Смотрю — пересекает сферу Швацшильда. А этого делать категорически нельзя. И остались его ноги в пространственно-временном континууме, а тело с серпом в руке полетело дальше в дальние углы галактики, и вряд ли они теперь когда-нибудь соединятся. Штаны на ногах его были добротные, из дорогого армейского сукна с лампасами генеральскими, широкими. В сэконд хенде, похоже, приобретал. На одной лампасине белыми буквами было вышито «Истина, добро и свобода», а на другой «Свобода — это когда нечего терять». А Ваньке (или Фильке Гопнеру?) терять уже было нечего. А значит, был он свободным и, возможно, счастливым. Но не познал ни истины, ни добра. А всё оттого, что инструкций внимательно не читал. Однако крикнул мне издали, горлопан хренов, конфуцианец недобитый:

— Не давай рыбу просящему, лучше дай удочку!

«Я ж давал тебе удочку, а ты её пропил», — подумал я.

А он, будто услышав мои мысли, отвечал:

— Воля падшего ангела оказалась сильнее моей.

Кстати, выводил он губами, дыша перегаром из далёкой планетарной туманности:

— Не верь написанному! Правду пишут только на заборах. Свобода — это терпение. Терпи и будешь абсолютно свободен.

Вот так преодолевал он своё кантианство алогизмом, а может быть, даже и панлогизмом. Жалко мне его стало почему-то. С двумя ведь высшими образованиями, а ума так и не нажил. И услышал я от улетающего в вечность Ваньки Гопнера (или Филимона Максимова) кондовую песню, от которой засосало под ложечкой, и ком в горле встал:

Ё-моё, Ё-моё, Ё-моё.....

Шире вселенной горе моё.

Ё-ё-ё, Ё-ё-ё, Ё-ё-ё —

Трёпаный Пол-Пот.

— Ума так и не набрался! — озвучив свою мысль, крикнул ему вслед.

Печать глубокого сожаления лежала на моём лице. Оборвав на полуслове песню, Ванька (точную фамилию уже и запомнил) отозвался голосом, напоминающим звук охрипшей морзянки. В этом голосе не было ни горечи, ни обиды, ни злости, была лишь сухая дикторская констатация с большим вопросительным знаком:

— Если все вдруг станут умными, куда тогда нам, дуракам, деваться?

— А не повернуть ли мне к газовой туманности Ориона? — подумал я, указав остриём своего барионного меча на зарождающиеся в дальней дали звёзды, похожие на поджаренные в чугунной сковородке амёбы.

Преодолев несколько астрономических единиц межгалактического пространства, опять увидел я приближающийся под острым курсовым углом объект. Узнал я его не сразу. А, узнав, чуть не вскрикнул от неожиданности. Ба! Так это ж Абарбанель Иегуда! Мистик хренов! А, может быть, и сам Арон Маммонович с очень высоким уровнем *libido* и *mortido*. Уж больно они похожи. И опять еврей в Космосе. И чего они разлетались? К деньгам, должно быть. Хотя какие тут деньги? Деньги — это сублимация мужской энергии. А здесь нет полов, значит, и денег нет, а есть одна нерасчленённая вечность — *material subtilis*. Уже сама мысль об этом делает, если не меня самого, то мою душу вечной.

— А сколько стоит такая мысль? — поинтересовался Абарбанель (он же Арон Маммонович), выставив вперёд своё заросшее седым волосом ухо.

— Рупь двадцать, — ответил я назло ему, поскольку мысли не покупаются и не продаются, как и родительский дом по улице Матрсова.

— А за рупь не отдашь? — стал торговаться со мной старый сквалыга.

— За рупь? — переспросил я. — За эти деньги купишь разве что стакан жареных семечек, а здесь — мысль! Ядрёная, прозрачная, на ходу из пажитей вселенских вынутая. Дарю так. От души.

— Не могу так принять, даже от души, — слёзно отозвался философ, покручивая на указательном пальце правой руки американский сигсшутер, — цены ей знать не буду. С чего же тогда процент набавлять?

Кстати, забыл он, сукин сын, как в Испании под оливами, ещё в XV веке, пили мы с ним бормотуху местного разлива, что под вывеской «*San Sebastian bodega*» покупали на его же деньги. Это я при прохождении звезды Сириус видел собственными глазами.

И вдруг заговорил он голосом пророка:

— Никогда не делай того, о чём тебя не просят, даже если ты делаешь это из самых благих побуждений. Я разве просил тебя дарить мне что-нибудь. Я просил продать.

Решив не ударить лицом в грязь, я продолжил его мысль:

— А если делаешь, о чём просят, никогда не жди вознаграждения. И что отдал, считай, уже твоё навеки.

Вот тут его и заклинило. Получалась неразрешимая дилемма. На нервной почве он стал освобождаться от начавшего раздувать его метеоризма, поскольку с детства страдал синдромом Золлингера-Эллисона и сенсорной афозией одновременно, и, чтобы сгладить конфуз, начал постреливать из своего шестизарядного револьверчика и громко, с выражением, читать пришедшие вдруг на ум стихи:

Я, как сбитый с толку бугай,
Отошедший от дел и забот...
Как хорош наш родимый край!
Но на всё я забил болт...

Свою элегию он понёс дальше в галактические дали — в чёрную паранойю Вселенной, и я чувствовал, что в замкнутой бесконечности нам предстоит ещё встретиться. И, если не закончится его метеоризм, придётся дослушивать конец его словоизвержений, подводящих даже профана в медицине к мысли, что в данном конкретном случае мы наблюдаем ещё и классический синдром Туретта, который, к сожалению, не лечится аптечными лекарствами. Потому что всем уже давно известно, что лекарства от самых тяжёлых болезней не всегда хранятся у аптекарей. Но знал ли он сам об этом, наделённый таким несравненным умом? Бедный философ из страны басков. Я его, конечно же, любил в глубине душе. И жалел.

Кстати, в языке басков нет ни одного бранного слова. И баски не пьют одеколоны. Это я знаю наверняка. И доношу эту мысль до Мирового разума, будучи в полном уме и трезвости.

Я лихо рубанул мечом по холодному Космосу и направил острие его не к газовой туманности Ориона, которая приблизилась настолько, что я уже стал различать процессы созидания новых светил (ох, уж эти мне новоделы!), а, закрученный в турбулентные потоки протозвёздных облаков, направился к центру галактики — к чёрной дыре. Слышал я краем уха, что дыра эта находилась под патронажем сэра Ван Ден Брука, который в своё время председательствовал в Антидиффамационной Лиге. То, что он встанет на моём пути и потребует от меня предъявить личный идентификационный код, в этом я не сомневался. Но на моё счастье встретился мне не Ван Ден Брук, а граф де Спадафорос Гутьерес собственной персоной. Приверженец Джона Весли. Непримируемый адепт Системы. Он был более лоялен к посетителям особых зон курируемых им территорий. Ещё издали я заметил в его правой руке особое лекало, которое давало ему возможность следить за изменением временных положений разбегающихся галактик. В левой же он крепко держал свой любимый масонский знак — шестиконечную звезду Давида, сквозь которую он смотрел на мир своим добрым, тихим взглядом. Завидев меня, он маханул элегантно лека-

лом и, поменяв траекторию, приблизился ко мне на расстояние, с которого я хорошо различал перхоть на атласных отворотах его безупречного фрака.

— Любезнейший, лицо мне Ваше вроде бы знакомо, — проговорил он, слегка грассируя. Если не ошибаюсь, Зэргей Петропальч? Моё теперешнее положение обязывает меня задать Вам несколько вопросов, чтобы Вам можно было беспрепятственно следовать дальше.

Я уже заранее знал все его вопросы, поэтому со спокойной душой по-простецки ответил:

— Валяйте, граф, я с удовольствием отвечу.

— Какое место Вы занимаете в подведомственной нам иерархии?

— Я член...

— Э-э-э, — перебил меня сэра Гутьерес, — я не интересуюсь Вашим членством в пустопорожных людских организациях. Вчера Вы легат консуляра, сегодня септемвир эпулонов, а завтра Вы никто. Меня интересует Ваше место в золотом миллиарде.

— Можете мне поверить, — слукавил я, — что я вхожу в первый миллион. Но моё положение не позволяет называть мой истинный номер, то бишь код, поскольку нахожусь здесь с весьма секретным заданием.

Сэр Гутьерес с пониманием вытянул нижнюю губу.

— Тогда Вам должен быть известен код самого Идентификатора. Сблаговолите ответить и можете следовать дальше.

— Три дабл ю.

А про себя подумал: это и дурак знает.

— Это его логин...

— Три шестёрки под окном пряли поздно вечерком, — незамедлительно отреагировал я, сделав изящный реверанс в его сторону.

Граф де Спадафорос Гутьерес буквально заклокотал неудержимым смехом и, утирая лекалом выступившие на глаза слёзы, удовлетворённо произнёс:

— Это что, фишка такая, типа юмора?

— Как бы типа, — ответил я с самым суровым выражением лица.

— Но это на сто пудов потянет, — оценил Гутьерес мою иронию.

— А может быть, и на все пять тонн, — добавил я самодовольно.

— О-о-о! — только и сказал дрожащим голосом несчастный рыцарь чести.

Кстати, забыл граф спросить меня, что я делал до 1917 года. А был я махровым анархистом и графьёв разных ох, как недолюбливал. И однажды, напившись конфискованного самогону, плюнул в сердцах в самое зеркало русской революции. За что потом корил себя и слёзно каялся. Простили ли меня в сферах заоблачных, не знаю.

Граф сделал едва уловимый кивок в мою сторону, и я беспрепятственно помчался дальше, напутствуемый словами на не понятном мне языке:

— Гынтын мытвыркын этернаменте.

Потом он опять перешёл на русский, сопровождая свою речь сложным ритуальным жестом, который вряд ли возможно и повторить:

— Возлюби себя, как ближнего своего!

— Всё с ног на голову, — подумал я. Теперь что, себя — то любить надо, то ненавидеть?

Провожающий посмотрел мне вслед сквозь свой сдвоенный мажонский треугольник добрыми, слегка слезящимися глазами патриарха Вселенского Клуба избранных. Ну, как не полюбить за всё это старика? Добрейшей души человек. Память о нём сохраню на всю жизнь. А жизнь — это трагическое путешествие в вечность, как сказал один из магистров Клуба, сосед графа по ложе Ван Ден Брук Х., которого любить я не мог, потому что ни разу не видел. И слава Богу! Как будто подслушав мои мысли, граф напоследок изрёк:

— Не забывай, что Бог един! Но боги у всех разные.

Лицо его было отмечено глубоким и неотразимым интеллектом и казалось умнее, чем было на самом деле. Ничего я не мог ответить старику. Не было ни аргументов, ни мыслей. Чёрная дыра, к которой лежал у меня путь, всасывала меня, словно гигантским пылесосом и лишала возможности какого-либо манёвра. Даже меч мой, отведённый до предела в сторону, нисколько не менял моей траектории. Дыра была незаметна для глаза. Присутствие её только предчувствовалось. Или подставил меня граф, или я что-то напутал с паролем. Я был во власти притяжения мощного гравитационного поля.

Первым предвестником приближения к дыре стал появившийся в отдалении фингербордер в обтягивающем худое мускулистое тело трико, украшенном стразами из ложных бриллиантов. Был он похож на сына проклятия, с глазами, исполненными любопытства и непрерывного греха.

— Куд стопроцентный, — подумал я.

Он уверенно стоял на хорошо отполированной доске и выделял такие пируэты, что можно было только позавидовать. Он умело ловил гравитационные течения, исходящие от дыры, и, ловко ими пользуясь, свободно перемещался в пространстве, как встревоженная осенняя муха, которую собираются прибить мухобойкой. Приблизившись ко мне по сложной «концептуальной» кривой, он растянул тонкие губы в подобострастной улыбке, и я сразу же узнал его. Звали этого худого фингербордера с толстыми развратными ляжками, обтянутыми дамскими легенсами ярко-фиолетового цвета, Мисбулам Ариманович. Внучатый племянник сына тьмы и зла, выдвигенец незарегистрированной партии Света и Добра. Наперсингованный до предела. Не отмечалось на его теле органа, куда бы не вставлено было кольцо, шпилька или стилизованная булавка. Возлюбить его я почему-то не мог. А это значит, что я никогда не любил и себя, и никогда не люблю.

Кстати, в правой руке у Аримановича была четверть мутного самона первой возгонки, и он, щёлкая длинным нестриженным ногтем по

бутылке, предлагал продегустировать содержимое, что было величайшим искушением. Я неожиданно для себя решил отказаться и понял, что впервые в жизни совершил величайшую победу в битве за свою бедную, но бессмертную душу.

— Наливай, — сказал я, и сразу же поставил его в двусмысленное положение.

Наливать было некуда. Его простодушное лицо с алчущими, близко поставленными глазами, разделёнными широким мясистым носом, выражало полное недоумение и растерянность. Он думал, что я из горла буду. Не предусмотрел, бесовское отродье, что, несмотря на мою провинциальную физиогномию, я сохранил ещё в себе остатки достоинства и чести, казалось бы, навсегда утраченные в сумятице лихих лет. Правда, боюсь, что окажись в его руках гранёный двухсотграммовый стакан, материализовать который не составило бы Ариманычу никакого труда, я бы не выдержал соблазна. Но он был так обескуражен в первые минуты, что я, перехватив инициативу и недолго думая, с размаху ударил мечом своим поперёк бутылки... Вот это было зрелище! Бутылка рассыпалась на мелкие кусочки, самогон длинным шлейфом стал расползаться по галактике, сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее втягиваясь в чёрную дыру. Вот тут-то дыра себя и обозначила. Увидел я её очертания, когда поглощала она в себя ненасытно предназначенный мне самогон. И не дыра это была вовсе. А квадрат. Похожий на намалёванный Малевичем в час прозрения. Квадрат, вырезанный в толчке деревенского сортира над вселенской пропастью в антимир — вход в аннигиляцию, в небытие. И услышал я за чёрным квадратом скрежет зубовный, стоны, плач и стенания. Подлетев ко мне на своём полированном скэйтборде, Ариманыч проверещал мне на ухо высоким, почти женским голосом:

— Зубами скрежещут, говоришь, так это одно из двух: или нервы, или глисты.

Хотел отвлечь меня от суровой действительности, мозги запудривал, пыль пускал, думал, что его диагноз сойдёт меня с толку и преддверие ада я спутаю с обычным гельминтозом. Не такой уж я простак, каким кажусь с первого взгляда.

Этот новоявленный шлэнда, пасынок тёмных сил, тут же смекнул, что вокруг пальца меня не обведёшь, и выкатил свой последний ничтожный аргумент. Он собрал свои тонкие напомаженные губы в букву V и, прикрывая их слегка ладошкой, произнёс подобострастнейшим голосом:

— А не кажется ли Вам, любезнейший Куратор Динамической Сферы Вселенских Устройств (ага, вот кто я есть на самом деле!), что эта чёрная дыра, а вернее чёрный квадрат, — и он немотивированно захихикал частым, дробным смехом, — есть результат последнего плебисцита?

— Винить плебс также бессмысленно, как и говорить правду. Плебс всегда безмолвствует, а если и говорит, то только под диктовку.

После этих слов Ариманыч сразу же сник и прикинулся мёртвым пауком. Но самое главное во всей этой истории оказалось то, что моё неминуемое падение в чёрный квадрат — на раскалённые сковороды для грешников, приостановилось. После разбития заветной бутылки с самогоном, мой барионный меч снова стал работать.

— Как просто иногда, — подумал я, — избежать неизбежное.

Я опять мог свободно управлять своим полётом, поэтому решил: «Вон, вон отсюда! Подальше от этого места. И вообще, галактики стороной объезжать надо». Ариманыч сразу же ожил и попытался, было, меня с пути истинного свернуть. Твёрдым уверенным голосом сказал так:

— Стрёмно ты со своим мечиком управляешься. Дай поддержать хоть разок. Или меняться давай. Любые предпочтения получишь взамен. Хочешь, консалтинговую компанию подарю. Промоутером тебя назначу. Будешь у меня, как кум-каралюм. Или риэлтером? Что тебе сподручней? Знаю! Топ-менеджером Большого Холдинга тебя заделаю. Топ-менеджеру меч ни к чему. Зелени будет столько, что самому тошно станет. Дом себе купишь в стиле хай-тэк.

Замахнулся я на него мечом своим, зная, что кроме меча этого нет у меня ничего, и потеряв его, стану я ничем. Скукожился Ариманыч, глаза ещё больше к носу прилипли, и заскулил, как сука, дверью зажатая:

— Нэ убывай мэна, лыцарь благороднай! Службу табэ лубую са-служу...

— Да пошёл ты... — сказал я в сердцах.

И пошёл он, а вернее, полетел, на своём надраенном до блеска скэйтборде, ляжками своим мясистыми потряхивая. Полетел, как пуля, как ракета мезонная, наверное, туда, куда я его послал, удаляясь от места нашего небольшого саммита со сверхсветовой скоростью. Испугал, видно, беднягу. Но не жаль было его почему-то.

Кстати, самогон в строго отмеренных количествах способствует выработке эндорфинов. На худой конец можно воспользоваться этим средством, господа, если нет в вашем сердце радости оттого, что вы просто живёте. Это, как антибиотик: принимать нужно в строго отмеренных количествах и в крайних случаях. Но не надейтесь при этом, что чувство радости поселится в вас навсегда, его можно только на время реанимировать, но коллапс всё равно наступит раньше или позже.

Итак, рванул я из своей родимой галактики на периферию мимо цефид и горячих гигантов, мимо карликов-альбиносов и остывающих субкарликов, пробиваясь сквозь диффузные туманности и преодолевая зоны реликтовых излучений. Путь свой измерял уже мегапарсеками, которые оставлял за подошвами своих белых резиновых тапо-

чек. Меч свой держал по струнке, вперёд вытянутым. Ура! В атаку! За Родину, за Сталина! Рубал на ходу разный космический мусор: кометы, метеориты, звездолёты, посланные наивным, но пытливым человечеством для познания иных миров, в поисках иных цивилизаций, которых во вселенной быть не может. Не знает пытливое человечество, что оно одно в этом бесконечном мире. Если человек поверил в Бога, если Он был явлен ему, то должен знать человек этот, что другой Земли и других человеков нет нигде. Как Бог един, так и человек един. И зря он ищет в безбрежном Космосе признаки внеземной жизни. Это же просто фантастический абсурд: уничтожать в своём же доме живое, включая и самого себя, как вид высшего творения, и одновременно выискивать с лупой и пинцетом примитивные формы плесени и лишайниковой накипи на склонах марсианских холмов.

Поблагодарил я Всевышнего, что дал мне возможность осмотреть владения его безмерные, но мало я понял из того, что он сотворил. Вижу только, что мудро всё устроено и не я один мечусь по вселенной со своим мониторингом. И в подтверждение этого тезиса из соседней галактики показался ещё один объект-субъект. Поначалу не узнал его. В разодранном кимоно, рожа белая, без признаков национальности, будто в английский трайфл окунули и наскоро вытерли сухим полотенцем. Гуру новоявленный что ли? Или дервиш азиатский, преждевременно выпавший из состояния трансa. Оказалось — сухая, опавшая ветка генеалогического древа императорской династии, гениальный философ-самоучка и забытый всеми поэт — Ху-я-Ши-то. Последователь великого Ямамоты Цунэтома. Жив ещё курилка! Я его узнал по характерному лицевому тикю. Он так дико жмурил глаза, будто ожидал, что его ударят по лбу оловянной поварёшкой.

«Фэйс-контроль с таким лицом ему точно не пройти», — подумал я.

В его правой руке я заметил большой жестяной раструб переговорного рупора, которым он безостановочно махал, будто гребец сломанным веслом.

— Ху-я-Ши-то-сан, — крикнул я в вечность, — куда вы так стремительно гребёте в своём старомодном ветхом зипуне? Пардон — шумуне. И что с вашим благородным лицом? Такое впечатление, будто на Вас плюнул верблюд.

Наш доморощенный философ стал озиаться по сторонам, не понимая, кто его спрашивает. Он стал смотреть в свой рупор, как в подозорную трубу, и, наконец-то, увидел меня.

— О! Лучше не спрашивайте, досточтимый Куратор. На день святого Патрика, — и он резко зажмурил глаза так, что глазницы превратились в мясистые щели, — решили мы украсить молодёжную тусовку нашим лучшим спектаклем театра Кабуки «Ночь перед битвой». Это великая драма, где повествуется о последних часах перед битвой в долине Сэкигахара. Так нетерпеливые тинзйджеры буквально с первых минут забросали нас чипсами, попкорном и бигмаками. Бедные, они не читали «Цветы Ямабуки». И я, как апологет кодекса бусидо,

решил проучить зарвавшийся плебс, но он с таким непринуждённым безалаберством вовлёк нас в свои ирландские пляски, что мы поневоле втянулись и выдрыгивали ногами такие кренделя (это в кимоно!), что самим становилось страшно. Театр Кабуки превратился в сплошной бедлам. Наш ривер-данс под пиво с чипсами длился всю ночь. Результат видите сами: кимоно (вы по ошибке назвали его шушуном) — в клочья, грим расплылся от пота, и сам я потерял всякое к себе уважение и даже стал забывать о смерти, что абсолютно не свойственно истинному самураю.

Его лицо с зажмуренными глазами отражало мудрость, сарказм и разочарование одновременно.

Кстати, пиво с чипсами — это сплошной нонсенс, как любил выражаться один великий просветитель. Пиво с воблой — вот что приведёт нас к всеобщей гармонии. Пиво и вобла — нет ничего прекраснее на свете. Может быть, в этом даже смысл самой жизни, который никак не могут найти наши интеллектуальные водители, подымающиеся в сферы недостижимые.

— Многоуважаемый последователь бусидо, почитайте мне что-нибудь из позднего Ху-я-Ши-ты, — попросил я, чтобы хоть немного взбодрить нашего несравненного поэта.

— Всенепременно! Это для меня лучший подарок — читать свои собственные стихиры жаждущему. Но я могу только наполовину утолить жажду. Остальное дополнит музыка, которую слышит тот, кто хочет услышать.

Он опять зажмурил глаза, приставил к своим трагически опустившимся губам большой жестяной рупор со следами ржавчины и стал вещать в звенящий тишиной Космос:

Ветка сакуры легла
Тонкой тенью
На Землю,
Пыльные лье остались в прошлом.

Пью сакэ за три ре,
И думаю о вечном:
Перед взором встаёт Фудзияма,
Там я оставлю свою душу.

— Поэза весьма высокой пробы, — лицемерно отозвался я, чтобы хоть как-то потешить его самолюбие в ожидании непреходящей славы.

Этой фразой я только заполнил пустоту затянувшейся паузы, сгладил неловкость космического молчания, и не более того. Поскольку сам ничего не понимал ни в построении сиюминутных догм, ни в тонком искусстве созерцания.

Его слова в ритме хайку полетели к вершинам замкнутой Вселенной, над которой простиралась сама бесконечность. Супергалактики, словно нанизанные на расставленные веером булавки, резонировали

на прекрасные звуки, выпущенные через трубу жестяного рупора. Гигантский океан материи, вылитый в ложе времени, впитывал эти звуки и преображался, расцветал пышным махровым цветом. Неизмеримые вакуумные сферы превращались в тончайшие проводники небесных музек в стиле рэгтайм. Не их ли я слышал перед самым моим полётом?

— Что ты тут делаешь? — спросил я его, по-свойски переходя на ты.

— Лучше ничего не делать, чем делать ничего, — ответил он словами притчи.

Толстого начитался. Любят они его. А за что, непонятно.

— Счастлив ли ты, любомудрый бесподоб? — опять спросил я его.

— Дзюн Таками, сглотнув от волнения слюну, сказал так: «Счастье лишь в том, чтобы, скрипя ботинками, идти пешком по дороге». Поэтому мы счастливы, хотя я иду босиком, а ты в белых тапочках. Но мы идём! А это главное. Но куда ведёт нас таинственная сила? К самим себе, к самим себе. Путь от себя к себе долгий и каверзный, полон искушений, горестей и бед. Но дойти обязательно надо. И я верю, что мы дойдём. Счастливого пути, Куратор!

Кстати, под звездой, похожей на солнце, медленно крутится малая планета, о которой не догадывается ни один астротел. Она находится на протоплазменном извиве супергалактической туманности, которой нет и, может быть, никогда не будет в реестре человеческих открытий. Я подлетал к этой планете с неподдельным недоумением, ибо почувствовал, что на ней есть жизнь. Это противоречило всем законам творения. Я уже различал причудливые очертания незнакомых материков среди жидких сред кипящих океанов. Уже виднелись кучерявые облачные скопления над конусными вершинами чёрно-антрацитовых пиков неимоверной высоты. Эти пики протыкали скопившиеся над планетой кисельные массы, образуя в местах прокола кровавые кольцевые раны.

Расплывчатые гигантские тени бродили над этой планетой, затемняя полярные области изумрудным покровом, сквозь который временами просвечивали мириады ослепляющих бликов. Иногда из плотных облаков выпадали какие-то тёмные шары и двигались к поверхности планеты с разными скоростями: те, что были поменьше, падали довольно быстро, побольше — опускались медленно или даже парили в густой, насыщенной благовонными флюидами атмосфере. Соприкасаясь с поверхностью, малые шары пробивали её, словно пули. Поверхность тут же затягивалась. Однако более крупные шары погружались в тело планеты только частично и, оставляя свои чёрные лоснящиеся полусферы для обозрения, медленно тонули, как в старом торфяном болоте.

Признаки какой-либо, хотя бы растительной жизни пока отсутствовали. Но я чувствовал здесь присутствие кого-то. Приблизившись к

планете на расстояние весьма близкое, с которого хорошо просматривались голые пустынные пейзажи, я решил облететь её по экватору. Рельеф местности напоминал гигантские мозговые извилины, постепенно сменяющиеся нагромождением высоких горных образований с абсолютно чёрными конусными пиками. На фоне этих вершин мои резиновые тапочки фирмы «Красный Треугольник» выглядели ослепительно белыми.

В одной из горных долин мне почудилось некое мерцание. Как будто капля воды отражала свет гелиевой звезды, висящей в зените. Стал приближаться я к объекту, чтобы получше рассмотреть. Предчувствие было у меня хорошее. И оно вскоре оправдалось. Вижу, посреди долины, похожей чем-то на ту, что у подножия Арарата, ручей течёт тягучий, как ртуть, а у ручья на круговом изгибе стоит прозрачный купол. Под куполом этим сидит за старинным дубовым столом наперсник лет моих молодых и зачинатель шалостей невинных Эгрегор Иоанныч Белл-off — жуир и бабник дерзновенный.

Сидел он в полной задумчивости, заложив ногу за ногу в позе роденовского мыслителя. Разница состояла лишь в том, что его правая рука опиралась не на голое колено, а на массивную столешницу, затянутую посередине зелёным бильярдным сукном. На нём была тельняшка с оборванными рукавами, на голове спальный колпак с опущенным вниз помпоном, на ногах — турецкие гамашы с задранными вверх носами и широкие сатиновые трусы неопределённого цвета под маркой «Крылья Советов». На столе во всю кипела бульетка с чаем, рядом с которой крутилась графонола с заезженной пластинкой. Мембрана адаптера с шелестом, похожим на шум проливного дождя, издавала бодрящие звуки старой, давно забытой песни нашей юности Риорита. Прямо-таки настоящее реалисти-шоу.

Иногда Григорианыч, как называл я его в минуты наивысшего к нему расположения, отрывался от своих мыслей, подносил к губам пиалу с крепко заваренным чаем (почти чифирём), делал смачный глоток и машинально тянулся к шанешкам, которые в изобильном количестве горкой лежали в глубокой хрустальной вазе. Шанешки всегда готовила ему Вениаминовна — жена его единоверная. Но на этот раз её рядом не было.

Постучал я осторожно рукояткой своего меча по прозрачному куполу, а сиделец далёкий как будто этого и ждал.

— Заходи, — говорит заученной с детства фразой, — гостем будешь!

Я меч свой вонзил в оболочку и следом за ним проник под неё, как в воду вошёл: тут же за мной прозрачная сфера и сомкнулась. Герметично проник, без шума и гама.

— Ну и занесло тебя, — говорю я ему, — друг любезный. О чём думку думаешь, головешку свою бедную ломаешь?

— Решил от суеты отдохнуть. Устал от реформ, перверсий, импичментов, инаугураций, революций и тайных диверсий. Встал как-то

в лунную ночь, а мне зов волшебный с небес. Будто кто-то тихо на валторне играет, и сакс ей подыгрывает. Не то блюз, не то джаз.

— Прямо-таки дежавю какое-то, — подумал я.

— Сел я за свой любимый письменный стол, — продолжил дружба́н мой, с трудом отходящий от задумчивости, — стал слушать. А меня тут же и подхватило неведомой силой, и поплыл я вместе со столом, патефоном и бульеткой в беспредельные дали Космоса. Вот здесь, на краю вселенной, в оффшорной зоне далёкого далека, себе место для поста и облюбовал.

Налил он мне чаю из своей старинной бульетки, что над спиртовкой стояла, и, подыгрывая обстановке, заговорил вдруг русским интонационным стилем, коим и я пользовался, будучи в минорном настрое:

— Садись-ка на это креслице антикварное в стиле Чиппендейла, что я руками своими мастеровыми отреставрировал, да выпей для начала чайку трезвящего, а потом мы что-нибудь и покрепче придумаем.

И с этими словами достал он из тумбы своего дубового стола четвертину самогона.

— У одного кента выменял на ложные брюлики, — поведал он мне, — пролетал здесь мимо, поганец, в розовом трико в обтяжку. А поверх ещё узкие легенсы натянута. Белого цвета. Доложу без утайки — зрелище преразвратное.

— Ариманыч, — подумал я, — хамелеон хренов, материализатор тайных искушений.

— Самогон у него мутноват, правда, был, — продолжил друг детства, — так я его марганцовкой несколько раз протравил, а потом на вереске настоял и почек чёрной смороды добавил. Теперь напиток богов, а не самогон.

— Ты же в богов не веришь, — напомнил я ему.

— Вера — это очередной невроз человечества. Вчера оно верило в Будду, сегодня в Магомета, а завтра будет верить в какого-нибудь Апанаса, прозревшего на ниве очередного запоя и поймавшего за хвост истину. А ведь истина — это всего лишь начало и конец. А всё, что между, — бесконечные и бесцельные пробы осмысливания самой истины.

— А если нет ни начала, ни конца?

— Для тех, кто смертен, есть! Там, где бессмертие, там и истина, и она касается нас только в момент рождения и смерти. И этот момент удержать не в наших силах.

— Но если хотя бы поверить в бессмертие, есть шанс познать истину за порогом материального бытия.

— Блаженны верующие... Прости за повторение — не я сказал.

— А что же тогда делать неверующим?

— Мучиться! Так же, как мучаюсь я, — сознательно и бесцеремонно. Все наши беды в этой жизни оттого, что мы не умеем правильно думать. А не от того, верим мы или нет.

— А что значит правильно? — спросил я в полном недоумении.

— Абсолютно правильно — это когда мысль одна и она проста, как валенок. А ещё лучше, когда и её нет. Правильно думать — это внемыслие. Для этого надо всё время опрощаться, говорить односложными предложениями, не думать о многосложности мира, не задаваться вопросами «где», «как», «почему» и «откуда». Иначе могут произойти необратимые изменения в нейрорегуляции, что в итоге приведёт к нарушению нейротрансмиттерной функции глутаматергических нейронов и развитию эксайтотоксического эффекта.

— Наливай, — сказал я, отставив в сторону стакан с чаем, — а то я начинаю позиционировать себя со школяром, попавшим на защиту диссертации на тему «Инактивация супероксиддисмутазы и влияние её на блокировку ряда нейрональных рецепторов».

Белл-off понимающе улыбнулся, выплеснул остывающий чай на персидский коврик под ногами, и, придерживая правой рукой за основание бутылки, разлил самогон в опустевшие стаканы. Потом с пафосом произнёс:

— Ценю твоё тонкое искусство намёка.

— А я — твоё утончённое понимание.

— За что пьём?

— Не вопрос. Давай так, ни за что.

— Ни за что я пить не буду. А вот за простоту выпью.

— За простую, простецкую простоту!

— Если осилим эту бутылку, будем простыми до безобразия. И говорить мы будем на простом и понятном всем языке.

— Поехали!

И мы отправились в длинное пространное путешествие, которое можно смело приравнять к фантастическому блок-бастеру. Но это уже отдельный рассказ.



Вера ПАНЧЕНКО

/ Рига /

В КИРИЛЛОВОМ МОНАСТЫРЕ

Стрижи поселяются возле жилья,
Высокое небо над кровлями келий
Стригут целый день, и давно б надоели,
Терзая терпение, словно шлея,

Но братия служит об этой поре,
Молясь и молясь — допоздна спозарани.
Всё лето цветут луговые герани,
Сиротски ютятся в монастырском дворе...

Ступаю по камням истории днесь.
Стрижи и герани — вне лета Господня,
И крепок Кирилл преподобный сегодня,
Но я не паломник — сегодня и здесь.

Как странно — я странноприимный поэт,
Мне велено в храме следить за свечами,
О, сколько надежд восковыми плечами
Поддержит их слабо струющийся свет!

И за день расклад оказался не прост:
Всех более здравий несут к Николаю,
Поспешно огарки из гнезд вынимаю,
Как много их надо — спасительных гнезд.

Как долго горит дорогая свеча,
Грошковые гаснут — скажу по секрету:
В них качества нету, известна поэту
Цена дешевизны вещей и харча.

Но службу стою — не за хлеб, не за соль,
И нравится мне православный платочек,
Здесь корни лишаются всех оболочек,
Взрывая мою застарелую боль.

Отец Феодосий с глазами Христа,
Меня причастив, пошутил между делом —
Помог ли Кирилл моим рифмам несмелым?
Помог — погремушка моя не пуста.

Прощаюсь: что было неладно — винюсь,
И поясню мы поклонились друг другу,
Душа моя в древность вернулась по кругу,
И я превратилась в далекую Русь.

Я славное время, я племя славян,
Пронизана светом его неделимым
Так остро за то, что живу нелюдимом, —
Всегда он безмолвен, всегда безымян.

И мудрый отец Феодосий проник —
Количеством лет многократно чужбина,
И сердце для сердца хранится глубинно —
И смысл постигается вмиг.

2005, Вологда

* * *

Всё это было не со мной —
У лет пролетных за спиной,
И верст прогонных за стеной, —
И чувств ответных нет.

И много чести тем делам
Вновь вызывать в душе бедлам,
Я их не прячу по углам
И не зову на свет.

Я открестилась навсегда, —
Где пролилась моя руда,
Там не осталось ни следа,
Душа не лазарет.

В ней нынче холод ледяной —
Глядеть на прошлое спиной,
Всё это было не со мной,
В чужом раскладе лет.

ДУША ЗЕМЛИ

Цветы — душа земли.
Я говорю себе: пока не поздно,
Гляди, гляди — они еще цветут.
И странно, что за наше наслажденье
Они себе не просят ничего.
Цветы всегда, как мудрость, бескорыстны.

Но добровольно я плачу им грустью.
Прекрасное без грусти — невозможно.
Ведь время — необъезженный табун,
И у него безжалостны копыта.
А красота — хрупка и беззащитна.
Душа земли раскрылась в летний день,
Чтоб связь найти с душою человека.

АВГУСТ

Мокрый август — вид усталый,
Стали поздними рассветы,
И цветов осталось мало —
Пижма золотого цвета
И еще иван-да-марья.

В порыжелых жестких травах
Семена шуршат — их много.
И жируют птицы славно
Перед дальнею дорогой.

С огорода тянет прелью.
И телок не ищет вымя.
Небо серой акварелью
Осени выводит имя.

* * *

Не постелить себе соломки,
Как в знойный полдень косарю,
Жизнь превращается в обломки,
А я ее боготворю.

Я от себя самой скрываю —
Проговорилась лишь строка,
Какая тяжесть болевая
Легла на кончик языка.

И перед горечью бездонной
Мой щит трепещет у виска
Души, бесправной и бездомной,
Но не поверженной пока.

* * *

Что знаю о себе сама?
Наверное, не очень много.
Озарена свечой ума
Всего до первого порога.

За ним — запретная черта,
Но мне дознаться так охота —
Какою кровью налита
Моя подземная работа?

Там — счет запасов и затрат,
Я не вожу свои салазки
И не плачú за результат,
Живу нечаянно по-царски.

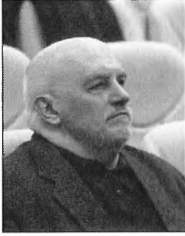
Там голый провод, плазма, суть.
А мне осталось лишь немного —
Ее трудов не обмануть
И этим не обидеть Бога.

* * *

Господи, прости меня
За усталость и обиду,
За тяжелую планиду —
Не удержит пятерня.

Нет ни правил, ни игры —
Всё всерьез и самотёком,
Бьет внезапно, словно током, —
Разберешься на махры.

Через два незрячих дня
Соберешься, — ну, да ладно.
Улыбнуться надо складно.
Господи, прости меня.



Виталий АСОВСКИЙ

/ Вильнюс /

НЕБО НЕБО

утром спускается по лестнице
 разворачивает дневные заботы
 перетягивает плащ в поясице
 нахлобучивает дневную готовность
 и вступает в движение пассажиропотока
 не вспоминая о том
 что над головою — небо

на остановке сходит сворачивает газету
 распускает пояс и ускоряется в лифте
 на ходу поправляя прическу
 а цветы в вестибюле пахнут
 инфляцией и лотереей
 которая и разу не приносила удачи
 ни машины ни скороварки
 хотя над всем городом небо

в ярком весеннем платье
 каблучками стучит по перрону
 уступая дорогу встречным
 и прикуривая в переходе
 ус накручивает на дубинку
 раздирая глазами транзитную сволоочь
 дым плывет к потолку кабинета
 над которым начальство и небо

стены блочных домов отсырели
 подолгу не вывозится мусор
 обнаглели во дворе пьянчуги
 скачет плата за газ и воду

но иначе и быть не может
ведь жена ушла по соседству
муж с похмелья, а дети — ну, дети! —
не несут яиц нашли себе гуру
и еще ведь сегодня вторник
а вверху простирается небо

если оба устали верить
не худо бы сесть на диету
но все реже слушаешь Баха
и поэтому завтра в 6.30
пожелтеют клены на гребнях
городского Нагорного парка
где они когда-то гуляли
целовались и даже трижды
он пытался занять ее сексом
но один раз из трех не вышло
потому что спугнуло небо
что же толку в ее капризах
в обещаньях в слезах и брани

но глаза у нее как ромашки
нет глаза незабудки ромашки щеки
у него тоже все на месте
мозг в глубокой резьбе извилин
с двумя пиявками Инь и Ян
присосались намертво суки
им плевать что заметит небо

а ведь было когда-то детство
(понимаю по виду не скажешь)
блеск глазенок и все остальное
карамельки щенята куклы
чистота сердечность невинность
нет нет нет да конечно ну же
лабиринты, поиск ответов,
и открытия, и догадки,
и одно-то всего утешенье
а какое кто знает небо

сказавши «а» по волосам не плачут
гусь свинье как известно
и то что подобает быку
юпитер не дозволит волу
если ищешь где глубже
не мечи бисер ведь скорее всего

руки схватят помет синицы
с ним не протиснешься в игольные воротца
замешкаешься лет на десяток
и увидишь, что все как было
в этом живомирании
под неблагоприятном

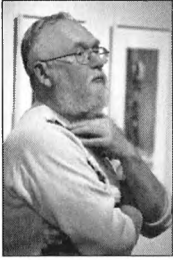
небо слушает всех все знает
но не произносит ни слова
ни огненными письменами
не начертывает подсказки
не желает открыть секрета
как же жить в замешенном круто
мире пламени слез и крови
мук животных людей растений
а ведь может и камню больно
может, плачут песком пустыни
над которыми тоже небо

говорят что когда-то кто-то
попытался исправить дело
и наставить добрым примером
мудрым словом истинной верой
говорят он был кем-то послан
он творил необычные штуки
исцелял больных (я не видел)
дал десяток дельных советов
только следовать им не стали
ну и что изменилось то-то
и его судьба не сложилась
говорят что он канул в небо

у неба свои причуды
развлечения и шарады
и любимые части тела
языки сполохов хобот смерча
рваные щеки бури шлейф кометы
наспех приметанный к туче
и еще от Чернобыля дождик
смыл Лиссабон и Мессину
громыхнул смешок в отдаленье
и небо схлестнулось с Балтфлотом

и поэтому каждое утро
выходя из дому каждый
перетягивает плащ в пояснице
каблучками стучит по перрону

ус подкручивает машинально
покупает сок или йогурт
спотыкается и смеется
вопрошает боясь ответов
и из камня каплют песчинки
и все выше возносится в лифте
отвечает у школьной парты
и над стриженными головами
над ромашковыми полями
над кастрюлями над облаками
над метеоритными поясами
над галактиками и мирами —
небо
небо



Борис БАРТФЕЛЬД

/ Калининград /

АНГЕЛЫ НЕ ОБЪЯСНЯЮТСЯ

Ангелы не объясняются матом,
они не объявляют войн,
в братьев наших лохматых,
бедных, а может, богатых,
размахивая автоматом,
не разрезают обойм.
Они берут грешников за руки
и, нежно глядя в глаза,
читают молитвы Радонежского
и вирши Ивана Франка.
Они говорят: «Братишки,
пошлите к чёрту вождей,
разлейте в стаканы горилки
и рюмки налейте полней.
Попарно возьмёмся за руки
и двинем в ближайший кабак...
Но косо глядят украинцы,
и русские глухо молчат.
И ширится заваруха,
и некому слово сказать,
а православные ангелы
в канавах дорожных лежат.

ТОГО КТО ВСЕХ ПРОСТИЛ

Того кто всех простил,
Но сам был не прощен,
Не называй по имени, молчи.
Пусть робкие лучи
Ночных светил

Сперва ресниц коснутся.
Я нежностью её смущен,
Боюсь очнуться
В темноте один,
Среди руин,
Чьи кирпичи
Разбросаны повсюду,
Как отыскать ключи
От тех дверей, где чудо
Рождается в крови рябин.

* * *

Иго страсти пало
осада снята
с непроступного тела
сброшено одеяло
сарацинского лета
вырвано жало
ты спала
когда я —
одинокий воин покидал
опаленные негой поля
нелюбви
увы, после жатвы стерня
колит сердце и ноги
нет, я не предал тебя
просто для такой любви
не хватило
воздуха в легких
одинокий наводит печаль
на ночное светило и небо
только время допьет их
печали до дна
тасуя как шулер
зимы и лета
но где там
снова грядет весна

* * *

В затишке на балтийском берегу,
что в прошлом веке называли сковородкой
курсанты КВИМУ и студенты КГУ,
я кутаюсь от ветра, берегу
тепла остатки, согреваюсь водкой,
но что с собой поделывать не пойму.

Полвека жизни проскрипело по песку,
так незаметно, как крадётся море
к заснувшему под жарким солнцем льву
и, кажется, что держит на плаву
вода в плену посёлки взятые измором
пока поэты пьют и ближнему поют хвалу.

Сегодня зябко мне, лишь памяти следы
на выглаженной ветром дюне
свидетельством любви или вражды,
что здесь случилась с нами в том июне.
Всё исчезает, времени потоки, подъём воды,
крушащий всё в итоге, и онемевшие от холода дрозды.

Но не сдаётся море ноябрю, в его глубинах живёт тепло,
поутру, волна ещё несёт янтарь на сушу,
порой мне кажется, твоей туники белое крыло
воды касается, прибой всё глуше, глуше,
туман над берегом, твоё в нём узнаю лицо,
к тебе протягиваю руки, но понимаю — время истекло.

ФЕВРАЛЬ

Нынче робка, как дева зима,
то пришла, то ушла. Сиротливы дома
без пушистого снега,
но проклюнется скоро
на вербе листва и в струях дождя
будет долго тянуться весна,
как бродяга вдоль озёрного берега.

Что поделать. Хоть жизнь коротка,
переждём, пережжём, как сухие дрова
эти месяцы грусти,
как ни медлит река,
но кораблики детства сбиваются в устье
и эскадрами канут в века
салютуют гудками и пеньем волчка.
Сядь поближе. Попробуй сберечь,
хоть немного тепла, хоть немного. Печь
остынет за долгую ночь,
и спасеньем для зябнущих плеч
лишь объятья останутся, впрочем, прочь
уходит зима, птичья ранняя речь
за окном, обещаьем счастливых встреч.

Любовь САЛИМОВА

/ Вильнюс /



ЛИМЕРИКИ

* * *

Один господин в Амстердаме
Всю жизнь слал цветы юной даме.
Как он удивился,
Когда убедился,
Что дама увяла с годами.

* * *

Одна пани из города Кракова
Звала в гости любого и всякого.
У дверей их встречала
И вином угощала.
И любила их всех одинаково.

* * *

Месье молодой жил в Марселе.
Он танцы любил и веселье.
Было б все ничего,
Но женила его
На себе одна мадемуазеля.

* * *

Жил один старичок в Алабаме.
По субботам ходил за грибами.
Но когда на полянке
Находил лишь поганки,
Скрежетал в испугу зубами.

* * *

Со звезды под названием Алголь
К нам прибыл с визитом король.
Хоть он был невелик,
Словно гриб-боровик,
Но цистернами жрал алкоголь.

* * *

Один бизнесмен свой товар
Повез на звезду Акамар.
Но напрасно Земля
Ждет его корабля.
Ядовит акамарский комар...

* * *

Пришелец с планеты Сирана
На Земле полюбил макароны.
Купил целый воз
И с собою увез.
Будут сыты народы Сироны.

Елена МОРДОВИНА

/ Киев /



ЛОШАДИ ПОРОДЫ ЖЕМАЙЧЮ

Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае,
как на луг, по которому ходят женщины и кони.

Исаак Бабель. «История одной лошади»

Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов.

Александр Грин. «Бегущая по волнам»

Павел вышел из самолета и словно попал в парную. Жара и влажность — дикая влажность, которую он, казалось, впитывал легкими и всей кожей — таким было его первое впечатление от Австралии. Когда он вылетал, в Москве шел снег.

Вместе с влагой он жадно впитывал запахи — запах дышащей земли, бензина, эвкалиптов, стриженных газонов.

Инженер Залман Шейнин оказался очень деятельным и суетливым. Он сразу начал рассказывать ему об Австралии и тут же потянул за рукав через дорогу, не обращая внимания на движущийся транспорт. На травяном островке стояли два деревянных идола — джентльмен и дама в широкополой шляпе.

— Обратите внимание, Павел — это наши первые переселенцы. Нужно запечатлеть. Становитесь тут, — Залман направлял его с проворностью пляжного фотографа.

Павел встал возле остроносой женщины и постарался как можно непринужденнее взять ее за деревянную руку.

— Я уже взял билеты в «Коала-парк» и на балет, а вы должны мне сказать, куда бы еще хотели поехать.

Он задумался.

Австралия жила какой-то своей тайной жизнью. Он не помнил, проводились ли здесь какие-нибудь известные дерби или гладкие

скачки. Сюда наверняка не завозили потомков Мэнвара и Норзерн Дансера. Что здесь было? Австралии не существовало на его внутренней карте. Карта эта вообще давно отсутствовала в памяти. И вот неожиданно проявилась.

— На ипподром, — ответил Павел и взялся за ручку автомобильной дверцы.

— Хотите вести машину? — Залман смотрел на него с хитрой усмешкой и ждал.

— Извините, я не сразу сообразил.

Он обошел машину и сел на левое переднее сиденье.

Странно было ехать по встречной и видеть водителя справа.

Залман Шейнин был талантливым инженером, еще в советское время получившим несколько патентов в той области, которая интересовала Павла. Взяв за основу запатентованную Шейниным технологию, компания, на которую он работал, могла бы сооружать насосные станции, монтируя их из насосов ведущих зарубежных компаний.

Они быстро ехали по ночному Мельбурну. На фоне сияющих огнями небоскребов пламенело гигантское колесо обозрения — впечатление было такое, будто оно только что оторвалось от пролетевшей здесь Колесницы Богов.

— Невероятно! Надо будет прокатиться. Составите мне компанию?

— А, ерунда, детская забава. Ехать ради этого в Доклендс? Впрочем, если желаете. Угробили кучу денег на строительство, чуть ли не сто миллионов, а одной зимой жара была страшная — пожары тогда начались, так его повело — потом два года ремонтировали.

Откуда, откуда она взялась? Расплылась пятнами — замигали вдруг звездочки и строчки географических названий.

Первыми почему-то вспомнились лошади породы жемайчю. Однажды он был в Литве — и даже мысли не промелькнуло о них. А тут вдруг в Австралии.

В двадцатых числах каждого месяца он начинал по три раза в день спускаться к почтовому ящику в надежде увидеть там журнал — свежий, пахнущий типографской краской. В книжном ждал новых альбомов и открыток, на почте — марок.

Тогда и появился этот мир. Он собирал его, как пазл. Точнее — обнаружил себя в этом мире — как перед большой картой, где ипподром в Венсенском лесу обозначал Францию, а Кентуккийское дерби стало символом одного из штатов США. Ссылный конюх в амуниционной читал им вслух стихи Языкова. Мир двигался, дышал, как грива его коня под дуновением ветра, разлетался, как весенняя грязь из под копыт, казался бесконечным...

В окрасе двух собак, вертевшихся у въехавшей во двор машины, отчетливо выделялись черные седла на коричневых пополах — это были взрослые упитанные бигли.

— Теперь у нас мода пошла заводить по две собаки — мол, одной скучно, она впадает в депрессию. Вот этого я раньше взял, а ты пожалел — хозяева не могли больше держать, и я подумал, что ему будет компания.

Собак что-то отвлекло — они с лаем бросились на задний двор.

— Опоссумов гоняют. Ночью не уснешь от их лая, если не запересть. Вон, гляди — по забору поскакал, — он явно привык к тому, что интересуется гостей с большой земли, поэтому даже не стал дожидаться просьбы. — Завтра покажу. Правда, днем они спят, но мы разбудим.

Гостиная была обставлена в австралийском стиле — грубое дерево и кожа, маски, расчерченные пунктиром австралийских узоров, подставки для мелочей, заваленные книгами и сувенирами полки.

Залман вынул из холодильника ветчину, упаковку камамбера, оливки и бутылку вина.

— Оливки сам мариную, между прочим. Только не думай, что так по-холостячки. Мы закусим, пока я плов разогрею.

Прежде чем свернуть дорожное пальто, Павел нащупал в кармане меню из самолета, которое хотел сохранить для жены, чтобы не забыть, как называлась рыба. Сейчас он еще помнил. Кус-кус и рыба дори. Но потом забудет.

Он аккуратно сложил пальто в чемодан.

Может, что-то сдвинулось в нем после длительного перелета, и только забравшись на такую высоту, он смог вдруг увидеть карту, которую когда-то потерял. Он откинулся в кресле, поглощенный воспоминаниями.

Картинка с обложки.

Скромная прибалтийская девушка, расчесывающая гриву лохматого коня.

Он перечитывал репортажи с соревнований братских республик, составлял родословную Андорры, аккуратно рисуя ответвления от ее матери Альфы, дочери дербиста Фактотума, и отца, происходившего от Гранита II, к более далеким предкам. Веточки разползались, как кровеносные сосуды. Делал он это торжественно, с трепетом, словно составлял родословные патриархов из Ветхого Завета.

Отслеживал с карандашом в руках развитие линии Нейтив Дансера, выяснял, как проявили себя в России потомки Галти Мора, привезенного сюда в конце прошлого века, и чем может проявить себя купленный в этом году стандартбредный Регби'с Стар. Осваи-

вал диагностику плечевой хромоты и системы естественной вентиляции конюшен, пытался разобраться в значении инбридинга в чистокровном коннозаводстве.

Составлял списки чемпионов пород, заведя для каждой породы отдельную страницу, таблицы бегов далеких от него ипподромов, анализировал итоги скакового сезона и помнил наизусть цитаты знаменитых коннозаводчиков и тренеров. «Если от Пролива и Керамики родится жеребчик — быть ему знаменитым рысаком и производителем». Он помнил это даже сейчас, как некоторые помнят псалмы Давида: «Если от Пролива и Керамики...». «От Пролива и Керамики...» — рокотали камешки у него на языке, как в горном потоке.

— Скажи, Паша, а ты баню любишь? Я тут часто захоживаю.

Залман нависал над ним и многозначительно глядел, как будто ожидал какого-то особого ответа.

— Как тебе сказать? В общем, не увлекаюсь. А зачем здесь баня? И так жарко.

Теплый февральский вечер, напоенный влагой. Шум эвкалипта за окном, лай собак, гоняющих проснувшихся к ночи опоссумов.

— Тогда завтра тебя в гостиницу отвезу, а сегодня посидим, угощу тебя нашим австралийским вином.

Павел постепенно хмелел. Ему вдруг показалось, будто он остановился у таможенника Руссо. Необычные узоры из веток и листьев проступали на темном южном небе.

Где-то там, над обрывами грузинских гор, цепочкой брели тушинские лошади. Англия постепенно превращалась из страны Шерлока Холмса в страну Эпсомского дерби, трассу которого он мог нарисовать даже с закрытыми глазами. Хотя, зачем ему это было нужно? Отставной кавалерийский полковник, щелкая каблуками, приветствовал его в Швеции, а Москва была уж не Кремлем с зубчатой стенкой — так они рисовали его в начальных классах — а Тимирязевской академией, ЦМИ, Битцей и Музеем коневодства, по которому его водил сам Гуревич.

Спортсменка Иветта в черно-белом костюме ехала ему навстречу по берегу Даугавы на жеребце латвийской породы. Чопорная Прибалтика переставала вдруг быть чопорной, когда на его внутреннем мониторе появилась девушка с белыми ресницами, расчесывающая гриву неказистой лошадки породы жемайчю. И ему очень, очень хотелось именно в эту Прибалтику, там, где утро, девушка с белыми ресницами, роса на траве и лошади.

Ипподром был совсем не таким, каким он его себе представлял. Он, скорее, напоминал большой аэровокзал, с регистрационными стойками, кафе, ресторанами. Застекленные трибуны были так да-

леко от скаковых дорожек, что лошади на них казались далекими-далекими. Все следили за ходом заездов, глядя на огромные мониторы, которые были здесь повсюду.

Они устроились за небольшим столиком. Залман вспоминал, как с помощью огромной микроволновой установки делал изоляцию толстого провода. Он все говорил и говорил — и Павлу казалось, что Шейнин просто провожает его в аэропорту, а лошади где-то далеко, совсем не здесь, и не имеют к этому месту никакого отношения.

— Все разбежались, осталась только одна женщина, — Павел едва улавливал отдельные фразы из его рассказа.

Он смотрел через стекло, как вдалеке скачут лошади.

Через Алтай и Карачаево-Черкессию пролегли конные маршруты, навсегда привязывая Кавказ к Азии. Он теперь хорошо отличал друг от друга республики, которые раньше путал. Туркмения была вотчиной ахалтекинцев, а в Таджикистане разводили курчавых локайских лошадей.

Европа тоже теперь находилась совсем рядом. В Чехии шумел Большой Пардубицкий стипль-чез. Дворцовые лошади Копенгагена выстраивались на плацу для парадного выезда королевской семьи. Он следил, как разыгрывали Приз Триумфальной Арки на Лоншанском ипподроме, как проходили итальянское Дерби в Риме и гладкие скачки в Ирландии.

А вот Австралия... Австралия жила своей отдельной жизнью. И он вдруг отчетливо понял, что никогда ее уже не узнает. А карта, всплывшая так неожиданно, навсегда скроется в памяти.

— А, ерунда, детская забава! Давай уже, сделаем ставку и идем отсюда.

Он, может быть, и хотел что-нибудь возразить, но у него уже не было желания спорить. В конце концов, Залман был единственным человеком, с помощью которого они могли воплотить в жизнь идею создания сверхмощных насосных станций. Насосные станции будут получаться у них, как ни у кого.

Сияющий мир покидал его, выцветал в отражении стекла. Последней исчезла девушка, расчесывающая гриву низкорослого лохматого коня с широкими копытами.



Борис ХЕРСОНСКИЙ

/ Одесса /

* * *

Растопим камин. Пляшет огонь на поленьях.
Смиренная кошка, мурлыча, лежит на моих коленях.
Дождь от нечего делать стучит в окно.
Пусть стучит сколько угодно — ему не откроют.
Летнюю пыль дожди монотонные смют.
Тоска в человеке красна, как в бокале вино.

Так, заперта дверь. Листва — для ветра добыча.
Что думает зверь, на коленях хозяйских мурлыча,
что чувствуют эти поленья, сгорая в огне?
Вспоминают ли сказку о Карло и Буратино?
Что думает осень? Что лето слишком картинно,
что молодо-зелено, дождик мелькает в окне.

Пылай мой камин, как Пушкин писал, согревая келью.
Вечер, словно любовь, завершится постелью,
сном тяжелым, как одеяло. Укрывшийся с головой
человек естественен, как кошка или поленья,
мурлычет, сопит, все теряет без сожаленья,
не ждет пробуждения, вровень с опавшей листвою.

* * *

В атласных лентах и позументах со звездами и крестами
почетными грамотами и наградными листами
со стаканами самогона в крепких надежных руках
мужчины навеселе дамы на каблуках

пахнет русским духом как говаривала яга крепким чиновным
не кодексом чести но кодексом уголовным
в котором нарушены или обойдены все статьи
пахнет духом росного ладана и погребальной кутьи

пахнет сауной с добавлением мяты и девок платных
пахнет сжигаемым списком потерь безвозвратных
снесенных кладбищ разрушенных особняков
пахнет бригадным братством отныне во веки веков

и никто не скажет ни слова никто не предъявит иска
предъявляют лишь паспорта дата рождения прописка
предъявляют прошлое дед всегда воевал
предъявляют картину на стенке айвазовский девятый вал

предъявляют коллекцию уникальных часов швейцарских
предъявляют собрание пятерок заодно и страданий царских
предъявляют счета нам всем платить по счетам
предъявляют вороны шубы о которых писал мандельштам

и прямое согнулось и вино прокисло и масло прогоркло
и ненависть подымается и подступает под горло
и мы умрем бородатые согбенные старики
ни целуя ни барских сапог ни барской руки

* * *

малыш бежит к огромной женщине с плачем
но с каждым шагом его она все дальше и ниже
а мы не плачем мы в классики весело скачем
и гипсовый бюст тирана улыбается в каждой нише

и пионерский костер во тьме горит не сгорает
и помнит ребенок в песне только первую строчку
мы твердо знаем что мама не умирает
но сжимается отдаляется и превращается в точку

* * *

юность моя время строгих красавиц девичья честь
косметика на нуле очки в дешевой оправе
прически как у старушек вышедших строить и мечь
как там в школьной программе в советской отраве

ты на подвиг зовешь комсомол через несколько лет
этот зов станет тише и глуше и где ваши юные души
контролеры в трамвае компостер счастливый билет
ядовитый шампунь и обмылок на полочке в душе

и конечно семья три аборта подряд наконец
появляется в мир нежеланный спеленутый крепко
продолжатель традиции слабый но все же жилец
вот и сказочка гад-колобок огород и огромная репка

мышка в норку бежит растекаясь яичный желток
золотой исчезает рыдания старческой пары
и кудахтанье курицы партия испытательный срок
магазины базары в подвалах прием стеклотары

время строгих красавиц институт благородных девиц
в гимназических белых передниках и коричневых платьях
иногда вспоминаю черты ваших девственных лиц
и не верю что кто-то когда-то сжимал вас в объятьях

что рукой похотливою кто-то под юбку суконную лез
добираясь до мягких резинок и теплой фланели
вы рожали детей но все это было партеногенез
как у бабочек впрочем бабочки улетели

* * *

на базарах еще продают виноград
но все больше солений
в темном небе мычание облачных стад
среди небесных селений
можно видеть насквозь облетающий сад
и не знать сожалений

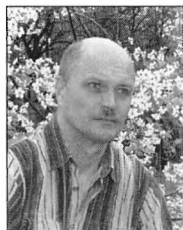
где-то рядом мерзавцы снесли особняк
будут строить высотки
но цепляется память за каждый пустяк
вот гуляют красотки
в чашке маленькой кофе и в рюмке коньяк
лучше чая и водки

что ж ты друг замолчал говори говори
звук не может прерваться
от строки до строки от зари до зари
до судьбы может статься
слепнут наши исконные поводыри
всем пора собираться

я как Осип не знаю зачем я живу
на подножке трамвая
золотую с багровой прожилкой листву
в чемодан собирая
нужно мысли прибрать словно дом к Рождеству
в жизнь от края до края

Анатолий ЦВЕТКОВ

/ Елгава /



СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА

Первый раз я увидел аиста в дикой природе в 1980 году, когда путешествовал с друзьями на мотоциклах по Прибалтике. Птица эта своеобразна — гнездится всегда рядом с человеком, а помощи от человека не ждёт, разве что тот установит на макушке разлапистого дерева или какого-нибудь столба каркас для гнезда. И всё! А так все заботы аист решает сам, словом, прибалтийская птица. Тогда, в 80-м году, мы, впервые увидев семью аистов, долго смотрели на их самоотверженный труд по постройке гнезда: в дело у них шло практически всё — огромные ветки, старый камыш, куски мягкого дёрна, солома... И вся эта конструкция, огромной шапкой, красовалась на старом дубе, побитом когда-то молнией. Впечатляет...

Потом уже, живя здесь, я стал приглядываться к этой птице, и всегда отмечал её независимый характер, с грациозным вышагиванием по полю в поисках лягушек и мелких грызунов. Никогда я не видел, чтобы аист в поле от человека принимал корм — ходит рядом, а как только к нему приблизишься — взлетает.

Нередко слышал, что уж больно грязь и шума много от соседства с аистами, а потом убедился и сам, когда завёл сельский дом. Тогда пара, вот-вот ждала появления аистят, и было пока тихо и забавно. Но вот появились птенцы, и тут началось... Полёты не прекращались до сумерек, а восседая на гнезде, аисты издавали щёлкающие звуки, разносящиеся далеко по округе.

Прошли недели, и из гнезда стали появляться две светлые пушистые головки птенцов. Они громко пищали принуждая родителей всё чаще и чаще совершать вылеты за кормом. А в один из дней я проходил мимо и заметил, что из гнезда бойко выглядывает только одна голова. Этот птенец довольно уверенно перемещался по гнезду и явно был полон сил. Под деревом вдруг зашевелилась трава, я подошёл и увидел того, второго птенца. Был он раза в два меньше

первого и лежал на боку. Я поднял его и решил залезть на дерево и положить в гнездо. Аисты слетели с гнезда, и я положил «парашютиста» туда.

На второй день, проходя мимо, я вижу под деревом того бедолагу и кладу его опять в гнездо. Вечером этого же дня я снова его вижу в траве, но уже совсем обессилившего. Я поднял его и пошёл к мелиоративной канаве с водой, избавить страдальца от мучений...

Только потом я узнал от местных жителей, что если прокорма в сезон не хватает, то аисты выкидывают из гнезда «лишний рот», которым оказывается всегда слабый. Подумалось: «Чего ж я тогда глупостью занимался, должен был сам как-то сообразить».

В выходной день собрался на речку и проезжая мимо одного хутора, заметил, как два подростка лет девяти-десяти пытаются лезть на дерево к гнезду аистов. Один из них вот-вот дотянется до гнезда. Пара аистов гнездо не покидала, а наблюдала, подавая знаки тревоги. Я остановился и попросил ребят слезть с дерева и не мешать аистам. Ребята подчинились, а приблизившись ко мне стали показывать мне маленького аистёнка, сообщив, что тот выпал из гнезда и они хотят только положить его обратно в гнездо. Птенец был явно измучен голодом, голова его свисала, глаза закрыты...

— Ребята, давайте сделаем так: я возьму этого птенца к себе, потому что у меня дома есть аисты, да и до гнезда там добираться лучше, а?

— Хорошо, только вы обязательно его покормите и положите в гнездо, — в один голос просили ребята.

Я поднял голову и заметил две торчащие крупные головы птенцов.

— Так и поступлю, — заверил я их, положив птенца на коврик пола в машине.

Я подъехал к речке и взглянул на птенца — силы его были на исходе... Домой я вернулся один, а посмотрев на гнездо своих аистов, был рад за них, что жизнь здесь продолжается.

...С тех пор прошло 25 лет. И вот однажды зимой в сильные морозы я проезжал внутри городского квартала нашего города и, вдруг, с боку к машине подбегает мужчина и просит остановиться. Я остановился, приоткрыл дверь.

— Ой, это вы... помогите завести машину — возьмите на буксир джипом...

— Хорошо, но по такому глубокому снегу будет трудно, — отвечаю я. — Давай, лучше «прикурим», у меня всё есть.

Устанавливаю провода, а сам всё думаю: «Почему я его не узнаю, кто это?» Машина завелась и мужчина подаёт мне провода:

— Помните, давно-давно, вы проезжали мимо хутора у речки, и отругали нас за то, что мы тревожили гнездо аистов, а мы вам потом отдали одного аистёнка.

— Точно... как похож на того бойкого мальчика, — удивлённо говорю я. — Только я тогда вас обманул, я сразу знал, что тот аистёнок обречён, а чтобы вы его не мучили, да и сами шею себе не сломали, предложил вариант.

— А мы пришли тогда домой, сообщили, что нашёлся спаситель, а в ответ услышали: «Взрослый, а бестолковый ваш дядя...» Я в городе с Вами несколько раз здоровался за эти годы, но вижу Вы меня не узнаёте, а подойти как-то не решился... — всё это мне высказал на восторженной ноте этот человек.

— А как тебя звать? — протягивая руку, говорю я.

— Карлис я. Год назад из города переехали в Мадону, точнее в район.

— Меня? — Анатолий, — ответил я. — Не сердись, если что не так...

— Да нет, я наоборот, почему-то со светлыми мыслями вспоминаю ту нашу случайную встречу. В Мадоне живёт теперь моя мать с моим сыном, а я с женой второй год в Англии.

— Ну и как, останетесь там?

— Жена хочет туда, а я деревенский, думаю, что и тут всё наладится, поэтому чуть подзаработаем и вернёмся... Вот так, как-то... Прошлой весной в роли спасителя мне уже перед сыном пришлось выступить, мать всё успокаивала его: «Отнесёт, отнесёт папа аистёнка в гнездо». А чего носить-то, по сравнению с остальными он в два раза меньше...

— Да... жестокая штука — жизнь, — заявляю я.

— Я рад, что вот так всё случилось, как с души отлегло, словно ждал чего-то столько лет, — переминаясь с ноги на ногу, с горящими глазами, говорил мой собеседник.

— Говорят ведь: мысль — материальна!

— Я Вас долго задержал, — засуетился Карлис, — да и машина прогрелась. Летом у меня будут кое-какие дела в вашем городе, ещё может встретимся Бог даст...

Я дал номер телефона своему новому-старому знакомому.

Бывает же так в жизни...

ИСТОПИТЕ МНЕ БАНЬКУ ПО-ЧЁРНОМУ

В середине восьмидесятых хутора в Латвии, старенький дом с землёй в пять гектаров, можно было купить рублей за пятьсот, если дом похуже, то и того дешевле, Николай Иванович купил за полторы тысячи — дом оказался добротный, на высоком бутовом фундаменте. Стены того дома, в три комнаты с кухонькой, из крупного бруса обитого шпунтованной доской-тридцаткой, меж которых проложена толь, зажатая дюймовыми рейками. Изнутри на дранку нанесена известковая штукатурка через галтели переходящая на потолок. Дом

был тёплый, этому способствовала и печь-плита со щитом из крупных глиняных кирпичей. Она была довольно ровно оштукатурена и побелена, лишь чугунная верхняя часть выделялась тёмным пятном.

Дом был в полтора этажа, верхнее помещение которого использовалось для ненужных вещей и сушки белья. Рядом, метрах в пятнадцати, стоял хлев, стены которого, видать, строились одновременно с домом, так как брус выдавал это, а крыши у обоих изначально были крыты щепой, но потом на доме прямо по щепе пустили волнистый шифер...

Ещё чуть в стороне стояла дощатая постройка из необрезных досок прибитых вертикально и внахлёт. Крыша односкатая под толем, на южную сторону выходило маленькое оконце и лёгкая дощатая входная дверь. Прежний хозяин использовал это строение как баню и топил её по-чёрному, оттого на крыше и нет дымовой трубы.

Новый хозяин легко распахивает дверцу и заходим в предбанник. На стене справа торчат деревянные крючья для одежды, а слева вторая дощатая дверь в помывочную, хозяин потянул её на себя и, мы шагнули в полутьму.

Стоим, осматриваемся: в правом углу вижу завал из полевого булыжника, на вершине которого восседает большой чугунный котёл с деревянной крышкой, под ним углубление для топки в виде согнутого аркой листа железа. Сквозь закопченное стекло окошка пробивается луч солнца, и сразу стал заметен густой слой сажи на стенах и потолке.

— Чуть коснёшься — беда! Осторожно, не прислонись. А запах каков, чуешь... — восторженно пояснял хозяин, подняв руку с указательным пальцем.

Выходим по зыбкому дощатому полу лежащему прямо на земле, свежий осенний морозец щиплет уши, встали спиной к солнцу, смотрим на только что покинутое помещение.

— Ну, моемся, иль в таких условиях не привык? — слышу вопрос.

— Условия, что называется, спартанские, но это ж экзотика! — бойко отвечаю.

— Сейчас дров в топку, всё поджигаем и ждём, вот такой расклад, брат. Помыться двух закладок хватает... — уверенно рассказал Николай Иванович.

И вот заложили, подожгли. Сидим под деревом в саду на массивной скамье, отдыхаем, а сквозь многочисленные щели баньки густо клубится сизый дым, вид, словно мы организовали контролируемый пожар. Впечатляет...

— Что, первый раз видишь?

— Первый... — улыбаясь, отвечаю я.

— Схожу дров подброшу... — и хозяин удалился.

Вижу как он открыл входную дверь и, дым опахнул его всего, с ног до головы, но он, согнувшись, быстро юркнул внутрь, а через минуту появился с пустыми вёдрами.

— Принимай вёдра, воду из колодца носи сюда, в соседний котёл лей, — слышу голос из клубов дыма.

Наносили воды, раскрыли обе двери бани, проветриваем её, получается.

— Ну что, смелей раздевайся, — подбадривает хозяин, — а я сейчас сенца под ноги брошу, — и он удалился.

Стою голый на дощатом полу, жду хозяина. От раскалённых камней исходит плотный жар, оглядываюсь на закопчённые стены — другой мир, другая планета...

С огромной охапкой сена вваливается хозяин, бросает его под ноги.

— Вон тазики, ковшом бери горячую, а там холодную, садись на лавку, я её сейчас мокрым сенцом протру, — деловито распорядился напарник.

Плещемся-моемся с мылом и мочалкой, под ногами мягкое сено издаёт душистый запах лета. Сквозь закопчённое стекло и щели южной стороны бани пробиваются яркие лучи солнца, ковшом плещем на горячие камни холодную воду и, сразу воздух становится насыщенным и более горячим. Эх, хорошо!

— Ну что, выходим? — слышу вопрошающий голос хозяина.

— Выхо-о-дим... — протягиваю я, ловко выбираясь из подножного сена.

— Не перемазался... понравилось, а? — продолжает он, оставляя настежь обе двери открытыми вот такой своеобразной бани.

— Да, впечатляет... это у меня впервые, — бодро отзываюсь я.

— А теперь в дом, к жаркой печке! — торопит новый хозяин.

ДОНАТ

До литовского города Шауляй сто километров. Живёт там Донатас — старый друг ещё по советской воинской службе — прапорщик, старшина роты. Кличка у него тогда была — «Банионис», наверно, в честь знаменитого литовского киноартиста её дали за долго до нашего ещё призыва в часть.

По хорошему шоссе ехали и, каждый думал о своём... Донатас чем-то схож с настоящим Донатасом Банионисом — такой же покладистый, рассудительный, да и комплекцией они не отличались. Отличались они возрастом — нашему всего шестьдесят восемь...

Часа хватило и мы сквозь помутневшее от времени боковое левое стекло авто видим чуть вдали большой холм весь в церковных крестах, значит через пять минут въедем в город и сразу направо. Потом проехать придётся ещё грунтовой дорогой с километр и уви-

дим огромные дубы на ровных полях — этим владеет теперь наш Донат, тогда его так звали на русский манер. Он не обижался...

К нашей легковушке с громким лаем подбежала беспородная дворняга, встала и смотрит, будем ли мы выходить. Мы конечно ждём...

На пороге появился хозяин.

— Вот молодцы, вот молодцы, — убирая на привязь дворнягу, бормочет он.

Мы смело выходим.

— Ну, здорово, Донат! — обнимаем мы друга, — и бодро добавляем: — Живой?

Он тоже входит в роль, и в ответ:

— Никто не хотел умирать!

— В кино тебе надо было сниматься, а ты в «прапорах» остался, — шутим мы.

— Нет, не жалею. Кино, оно каждый день, а служба раз в жизни... Давай в мои хоромы, — и хозяин толкнул добротную, старой выделки, входную дверь дома.

— Мы, извини, без звонка, но со своей... — высоко поднимая над столом прозрачного стекла продукт с названием «Московская», — но ты, как всегда, предложишь своей выделки. Делаешь ли ещё, ведь, три года не виделись?

— Куда я денусь... делаю, делаю, — выставя на стол рюмочки-тарелочки отзывается Донат. — За эти три года, что не виделись, я здесь столько нового изобрёл, что только удивляться будете... И по-русски хоть поговорю.

Хозяин суетился у стола, выставя закуски-напитки, а мы сидели по стенам на массивных дубовых лавках со спинками, разглядывая хуторской дом нашего друга, по наследству доставшемуся ему от родителей. Дом этот деревянный, полуторазтажный, старый фундамент из массивных колотых валунов, швы выполнены под выпуклую расшивку — свежие. Заметили изменения с окнами, они современные — деревянные стеклопакеты.

— Донат... я уж тебя как раньше, не против... — Донатас промолчал. — Донат, а чего окна поменял?

— Я вам так скажу, — разливая хуторскую настойку по стаканам начал Донатас, — старина конечно хорошо, но и здравый смысл должен тоже быть. Если в окна дует, что на такую старину смотреть... Я и на крыше по-своему чуть переделал, если за шиворот течёт. Чего теперь... жизнь-то идёт вперёд. Вот так как-то... Я правильно выражаюсь, иль уж русский забывать стал? Не поверите, три года уж по-русски не говорил, да... три года, вы последние мои русские тогда были.

Все дружно ударили наполненными гранёными с ободком стаканами, приступили к закускам.

— Донат, а стаканы-то у тебя русские...

— Ха, стаканы, — кряхтя произносит Донатас, — я даже помню как их точное название по-русски — «губастые», с ободком значит. Замполит тогда из каптёрки взял на память портрет Ленина, а я десяток стаканов...

— Хорошо что не наоборот, Донат: дверь открываем, а ты здесь с Лениным. Послушай, говорю и вспоминаю, в прошлый раз ты говорил, что не один будешь... какая-то в огороде крутилась у тебя... Как сложилось?

— Да, Даяля звали её, уехала на заработки, она помоложе правда, дети не пристроены были, в общем, маханула... Где теперь — не знаю. Мне-то одному чего надо... своё всё есть, военная пенсия, правда, не подарок, но хорошо, что к стенке тогда не поставили... Давай наливай и, по саду-огороду повожу вас.

Выходили, покачиваясь — крепка настойка!

— Я понял, вы с ночёвкой приехали, — выйдя на яркий свет начал Донатас.

— Нет, Донат, без неё...

— В прошлый раз не пригубляли, а в этот нормально сидим, — заключил хозяин.

— В прошлый раз, Донат, мы поздно приехали, а в этот, считай, с утра.

— Ну вот и отлично! А то всё, как у вас русских говорят, напобегушках. Вроде так я сказал, — и Донатас счастливо заулыбался.

Встали на газончике под разлапистым дубом, балагурили, рядом бегала та собака, теперь уже мирно поглядывая на нас. Гуси подошли, пошипели, и вразвалку поспешили к водоёму, пёстрый петух недовольно переминал ногами, готовый броситься на пришельцев.

— Куда идём, Донат?

— Думаю, идём к пруду... пойдём, — и мы двинулись.

А вот и пруд пускает нам в глаза солнечные зайчики. На берегу растёт дуб, ветви которого могучей силой тянутся горизонтально. Через один такой сук над гладью пруда перекинута верёвка.

— Кого вешать собрался? — смеёмся мы.

— Цирк посмотреть хотите? Сейчас сделаю... — и Донат пошёл к старенькому трактору «Беларусь», быстро завёл мотор и подъезжает под дуб, проворно цепляет за передок свисающий конец той верёвки и даёт задний ход. Через минуту над гладью пруда появилась огромная сетка-сачок, внутри которой что-то сверкая на солнце билось. Оставив сеть в метре от воды, видим, Донатас спускает на воду видавшую виды лодку и машет нам.

Трое в такой лодке — перегруз! Она, бедная, трещит, но настойчиво плывёт под широкими взмахами вёсел Донатаса. Под сеткой мы сидим, крепко держась за борта, а Донатас стоит во весь рост и сачком выуживает огромных рыб. Те неистово сопротивляются, но человек сильнее, и на дне лодки оказываются пять гигантских

серебристых карпа. Лодка стала протекать — гребём уже все, помогая голыми руками. Сами успели выйти на берег, а рыба оказалась в полузатопленной лодке. Все дружно тянем её за нос. И вот она уже на травянистом берегу, сквозь щели испуская воду, не оставляя карпам никакой надежды...

— Ну что, ещё заход? — весело спрашивает Донатас.

— Нет, Донат, лодки ж нет...

— Лодку найдём, было б желание рыбачить, а этих повезёте в Латвию, — говорит он, кивая на улов.

Несём к дому карпов, собака сквозь сеть мордой цапает ещё живых рыб. Решили на обед сделать уху. Двух рыбин хватило и ещё осталось. Донатас посолил оставшийся кусок, продел сквозь него проволоку и подвесил в дымоход летней садовой печи. Потом поджёл пучок вишнёвых веток и, придавив сухой корягой, сказал:

— Перед отъездом будет добрая закуска... А пока вода в котле не закипела, идём в сад, но только через дом! — и повёл нас к столу.

Вышли. Рядом скулит собака, Донатас шуганул её, и мы пошли.

В огороде ровные грядки с луком, морковью, редиской, капустой и прочей зеленью, чуть в стороне яблони, груши, сливы, какие-то экзотические деревца.

Долго бродили, срывая понравившуюся зелень, ягоды — а фрукты ещё спеют...

— Сейчас я вам покажу, как у меня кролики живут, — и хозяин повёл нас в чистое поле...

Идём, а впереди ничего нет.

— Донат, долго ещё?

— Мы пришли, — резко остановившись, говорит он.

Смотрим, а перед нами три ямы в рост человека диаметром три-четыре метра.

Опускаем глаза в одну из ям, видим в стенках сухого песчаника норы и снующие туда-сюда взрослые и маленькие серые кролики. Подошли к другим ямам — везде полно этих смешных лопуухих зверьков, и первый наш вопрос:

— Сколько ж их здесь?

— Да их разве сосчитаешь... думаю с пару сотен. Регулирую кормёжкой, вот первую зиму закормил, так их тьма развелась, а сейчас чуть притормозил. Зверь всё чует...

— А собаки, лисы... а как убегут? — задаём мы вопросы.

— Хм... Попробовала одна лиса тут, так в яме день просидела. Подхожу, а она скулит бедная, пожалел я её и трап подал, беги мол, расскажи своим... С тех пор ни лисы рядом нет, может ещё от того, что сосед с ружьишкой иногда прохаживается, это тоже помогает.

— Донат, а зимой как?

— С осени я на две трети ямы жерди набрасываю, а на них сено копной. Зимой навильник сена стряхнул, морковки бросил, и поря-

док, я ж в зиму штук десять в каждой яме всего оставляю. Эти сачочки с ранней весны плодятся и до холодов, в ноябре-декабре основной забой. Сразу сдаю оптом, шкурки тоже принимают, но как-то они особо не ценятся.

— А как ты их ловишь?

— Спускаю лестницу и сачком, как бабочек... Сачком этим и мусор поднимаю.

Хлопот минимально, а то попробуй на двести голов клеток написать...

— Донат, а как им пить?

— Зимой контролирую, чтобы снег был, а летом в бадейку подливаю... Ну что, за уши ловить? — вдруг обращается к нам Донатас.

— Не, не... не надо... там уха есть, — отнекиваемся мы.

— Точно, про уху-то забыли, а ведь её солить надо... Идём! — засуетился он.

Экскурсию закончили вовремя, чуть задержись и пришлось бы заново всё стряпать. А сейчас сидим за столом под дубом и деревянными ложками из глубоких мисок уплетаем наваристую уху. Съели весь котелок, запили уху настойкой и откинулись на спинки дубовых лавок...

Сидим в дрёме, а в голове мелькает увиденное здесь. Вопросов к хозяину много:

— Донат, а мы всё не поймём, где та земля из ям, ведь рядом всё ровно?

— Хороший вопрос, армейский, — прищурил глаз, отзывается он. — Весь грунт пошёл на засыпку вон тех бетонных гаражей. На окраине города кооперативные гаражи ломали, когда дорогу вели, а я подошёл, говорю, чем вам за десять километров их на свалку возить, ко мне — километр... Привезли, краном выставили, как я сказал — «рондо», лишь проход в три метра оставил. Я их битумом обработал, толем покрыл, а потом грунтом из тех ям засыпал. Ямы-то копал сосед, уж больно у него хороший экскаватор — и копает, и возит... За полдня управился.

— А что это за твоё такое «рондо», к чему тебе всё это? — интересуемся мы.

— Телевизор смотрите... а там, наверно, видите, как американцы к глобальным потрясениям готовятся. Я над ними только смеюсь... Ведь все лезут под землю. Я ж человек военный, соображаю... Да... будет наводнение, и всех их зальёт, как моих кроликов. Вода, конечно, спадёт через какое-то время, но в потёмках в сырой земле поди посиди... А я вам свой метод наземно-подземный, идём, покажу.

Мы грузно поднялись и как три богатыря направились опять в поле, но в другую сторону, чем прежде. Место здесь явно повыше, земля жёлтого песчаника. Подходим к земляному валу высотой метра в четыре. Вошли в проход и оказались в кольце тех гаражей,

зияющих глубокой пустотой. Семь бетонных каркасов стоят веером, примкнутые передней частью друг к другу, дверей нет, сверху слой дерновой земли в метр, растут кустистые берёзки.

— Донат, а вода если хлынет...

— А вот меж этих гаражей у меня шлюз имеется, — и он стал вкладывать в два швеллера толстые дубовые строганные доски. — Вот сюда вошёл, доски вложил, прижал, и всё. Шлюз мой в два метра воду выдержит. Швеллера забетонированы под герметик, доски от воды разбухнут, ну как у бочки, и полный порядок.

— Ты это где-то видел уже, или как?..

— Мужики, я ж военный человек... сам допёр, — невозмутимо говорит наш рассказчик.

— Ты патент бери, а то опередят тебя американцы, — смеёмся мы.

— Нет, они так и будут в землю лезть, уж больно ядерного нападения от русских ждут... А будет... перво-наперво наводнение, — понимающе заключил наш экскурсовод.

Мы вышли из круглого дворика и стали оглядывать его «рондо» со стороны.

Со стороны выглядит как покаты́й холм. Свободно забрались на него — хутор, как на ладони.

— Сколько тебе эта «музыка» обошлась? — потрясённые удивленным, спрашиваем мы.

— Десять кроликов соседу дал на развод, шлюз сам сделал из подручного материала, а толь и битум с тех гаражей собрал. Вот так как-то...

— Умные вы, литовцы!

Мы весело зашагали к дому. Донатас стал рассказывать, как к нему одна знакомая работающая гидом в турфирме, не то шведов, не то немцев привозила. Нам эта история показалась увлекательной, и мы остановились слушая.

— Ингеборга раньше-то медичкой работала, но денег нет, строения тоже, и она в тридцать лет уволилась. Стала этих туристов по городу водить. И как-то, со своим на его легковушке, ко мне приезжает, давай мол, прими этих шведов.

Ну я не знаю, говорю, а она давай, мол, давай, истопишь баню, сварить уху, покажешь как кроликов разделяешь, настойки нальёшь... Уговорила.

Появились эти шведы к обеду, человек десять. Ну я и баню, и уху, и то и сё... Сели за стол, один увидел в прихожей мою замызганную шинель, надел. Я-то в ней на тракторе иногда выезжаю — продай мол, и деньгь суёт... Я ему, нет мол и нет, а он не отстаёт чёрт, ну продай хоть шапку со звездой, говорит. Махнул я рукой, бери мол так, а он бумажки достал и к зеркалу положил, купил значит...

Долго они за настойкой гужевались, только я прохожу мимо погребца, а мой швед рылом в навозе спит в той шинели с погонями и петлицами. Думаю, продай тебе, и, будешь у себя на родине в советской шинели валяться...

— Ну и чем эта «музыка» закончилась?

— Чем... все перемазались, но уехали довольные. Ингеборга утром приехала со своим, чек привезли на покупку лодки, говорит, в любой момент из рыболовного магазина её забрать можешь.

— Донат, давай съездим, проверим, если правда — привезём, возьми только верёвку, — предлагаем мы. — Но только через туалет, — добавляем.

Подожли мы с другом к деревянной туалетной будке в саду, а дверь её гвоздём забита...

— Донат, в чём дело? — кричим ему из сада.

— За кустами смородины, крыжовника, лопаты имеются, — отзывается тот.

Возвращаемся из-за кустов и обращаемся с ухмылкой к Донатасу:

— У тебя что, и шведы так приучены?

— А куда они денутся... им даже весело. Они ж у себя там в городе без порток по газонам ходят, у нас на памятники мочатся, так что, считай привыкшие...

Я, как тепло, в туалете землёй присыпаю и до холодов он на гвозде у меня — экологию соблюдаю, чего мух плодить...

До магазина два километра. Заходим, спрашиваем. Да, можете грузить. Привязали к верхнему багажнику, привезли. Донатас счастлив, говорит:

— Надо испытать!

Пошли пробовать... Лодка супер! Держит троих уверенно.

— Завтра опять какие-то шведы будут, — вдруг заявляет хозяйин. — Ингеборга спрашивает, что тебе ещё надо? Говорю, хорошо бы камин чугунный со стеклом

Она: будет тебе и камин... Оставайтесь, посмотрите на этих шведов, а?

— Весёлая у тебя здесь жизнь, Донат.

— Это точно, после них вокруг дома бумажки собирал, деньги ихние. Вон у зеркала все сложил... Посмотрите, что там...

— Две тысячи — российские, это явно тебе за шапку заплатили, а эти грязные, в пересчёте на наши — бак трактора дизтопливом заполнишь... Колондаик здесь у тебя, что скажешь...

— Кто помоложе, валяя в погреб, бутыль справа стоит, сюда неси, сами выпьем и шведов завтра поить надо, — вот что скажу.

На летнем столе под дубом открыли бутыль, пригубили.

— На чём настояна она у тебя?

— Все настойки готовлю только из ягод смородины, малины и вишни — других не признаю... А сейчас закусывать будем копчёной рыбой, — и хозяин вынул из трубы золотистый кусок.

Быстро близился вечер — нам надо готовиться в обратный путь. Впечатлений море. Хозяин хутора явно рад не шведам, а русским, потому как заговорил:

— Чего в грязь лезут... Ингеборге говорю, а она мне отвечает: «Им эти каменные джунгли и у себя, и тут надоели, и все восторженные воспоминания только про сельский вариант». Вот и угадай человека... — задумчиво заключил Донатас.

Прошло десять месяцев...

— Ну молодцы! Давай в хату. Я сразу понял, что с утра приедете: Володя по телефону когда спросил про настойку. Думаю, правильно сделают.

Хозяин разговорами и широкими жестами рук зазывал нас в этот чудный дом

Сбивался с русского на литовский, потом вошёл в ритм и всё наладилось.

— А чего жён, детей не привезли? — сделав удивлённые широкие глаза, спросил хозяин.

— Ты чего, Донат, им уж за тридцать, а «круиз-контроль» нам не нужен. Ты здесь холостячишь и думаешь у других так...

— Точно, совсем башка старая. Но себя на сорокалетнего чую, не курю, не увлекаюсь спиртным, скотина мне спорт заменяет, вот и остался в молодости. Да и вы, если шапок не снимать, молодёжь.

Сидим в просторном зале старинного дома. От выпитой настойки лица раскраснелись, речь протяжна.

— Донат, а что это у тебя там под лавкой?

— А... Это я с чердака притащил в дом мемуары великих людей.

Донатас подошёл к книгам, сел на лавку и стал по одной вытягивать их из-под себя, читая при этом названия:

— «Н.С.Хрущёв», «Г.К.Жуков», «Де Голль», вот эта о Сталине, эта о Гитлере, эта о Антонеску, а эта о Муссолини. Этим итальянцем я зачитался. Путь его закончился на виселице подвешенным за ноги своими же соратниками, но жизнь вёл и праведную. В тридцатые годы по всей Италии понастроил, как бы теперь сказали, детсадииков и, как бы теперь сказали, пионерских лагерей, образовательных школ.

— Но он же диктатор, массовый убийца. Ты чего, Донат...

— Всё правильно ты говоришь. Но детсадики, лагеря, школы с полной обслугой и питанием, родителям не стоили ничего...

— Вот он промыл мозга этим, а потом использовал молодёжь как «пушечное мясо».

— Опять всё правильно ты говоришь, но я всё на наше время перевожу: ребята, понастройте бесплатных садов и школ, чтоб с полной обслугой и бесплатно... А мы с мозгами, и с «мозгами» сами разберёмся...

— Бр-р-р... — помотали мы головами. — Донат, без настойки нам не разобраться

Наливай!

— Муссолини тогда «завяз» на Балканах, обращается, мерзавец, к Гитлеру и честно говорит ему, помоги, мол... А тот хитрый подлец, отвечает: помогу — ты ж свой. И что характерно, пишет ему Гитлер доверительное письмо «о планах ликвидации России», учтите, за день до начала войны. Зачитаю лишь выдержку:

«Дуче!

Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда длившиеся месяцами тяжёлые раздумья, а также вечное нервное выжидание закончилось принятием самого трудного в моей жизни решения... Что касается борьбы на Востоке, дуче, то она определённо будет тяжёлой. Но я ни на секунду не сомневаюсь в крупном успехе. Прежде всего я надеюсь, что нам в результате удастся обеспечить на длительное время на Украине общую продовольственную базу. Что бы теперь ни случилось, дуче, наше положение от этого шага не ухудшится; оно может только улучшиться. Если бы я даже вынужден был к концу этого года оставить в России 60 или 70 дивизий, то всё же это будет только часть тех сил, которые я должен сейчас постоянно держать на восточной границе.

Я чувствую себя внутренне снова свободным после того, как пришёл к этому решению. Сотрудничество с Советским Союзом, при всём искреннем стремлении добиться окончательной разрядки, сильно тяготило меня. Ибо это казалось мне разрывом со всем моим прошлым, моим мировоззрением и моими прежними обязательствами. Я счастлив, что освободился от этого морального бремени.

21 июня 1941 года

Адольф Гитлер».

Донатас в тишине склонил голову. Настенные ходики начали отбивать время. Кукушка весело стала куковать, на что хозяин отреагировал, подняв голову:

— Вот тебе и «ку-ку»...

Образовалась молчаливая пауза. Мы, не шевелясь, ждали слов Донатаса, и он продолжил:

— Я все эти книги, считай, за зиму прочитал, — хозяин кивнул под лавку, — не дураки ведь писали, нет... Вот, к примеру, Хрущёв: чего на мужика набросились за кукурузу? Растили бы и растили у себя, а теперь их ГМО получаем. Это что, того нам надо было?

На минуту опять образовалась молчаливая пауза. Все притихли, тяжело вздохнули. Подошла собака, грустно посмотрела на хозяина, склонив голову, словно сопереживала ему.

— Вот, Донат, ты и собаку в транс ввёл... Расскажи лучше, чем мы в обед питаться у тебя будем.

— Вопрос армейский, хороший. Самое главное быть поближе к кухне. А кухня наша — печь в саду. На ней сегодня сварим уху, вон в тазу карп стынет, а на второе я вам подам печёную картошку с квашеной капустой. Идёт?

Мужчины дружно встали и занялись готовкой. Пока варилась уха, Донатас усадил гостей под дубом, принёс миску с куриными яйцами и заставил выпить по паре штук.

— В наше время, всю еду надо начинать с сырых яиц, либо с кусочка сливочного масла или с ложки подсолнечного, — поучительно начал хозяин, — а то в городе едите муру всякую... Запомните три вещи: жаренного не ешь; из сладкого только мёд, либо варенье; питание должно быть отдельным. Всё! Если зазубрите мои слова, то будете жить долго и выглядеть как я, — при этом Донатас хитро обвёл гостей взглядом.

Через час в саду все ели сытную уху. Хозяин в горячую золу печи положил десяток картофелин, и со словами: «Мигом дойдёт», взял в руки гармошку. Полилась незатейливая русская мелодия. Игрок частенько пропускал аккорды, оттого под эту музыку можно было вставлять любые слова других песен. Он чувствовал сумбур в своей игре и всячески пытался исправить положение, хотя бы шутивным перебором своих обутых в армейские сапоги ног.

— Ну как?.. — закончив игру, в запале произнёс Донатас. — Вы меня ещё в армии «Банионисом» звали... так вот, актёру Донатасу Банионису — 90 лет!

Ах, какие фильмы с его участием! Мой любимый — «Никто не хотел умирать».

Считайте, это я ему сыграл за его долголетие и прямую позицию по любому вопросу. Знаю, ругают его у нас, не всем его гражданская позиция нравится. За него!

Допита вкусная настойка. Вспомнили про картошку в печи. Хозяин деловито поднёс к дверце печи корзину плетёную проволокой и кочергой стал сбрасывать в неё картофелины. Потом выложил их в миску на столе и сходил в погреб за капустой. В неё густо порезал луковицу, полил подсолнечным маслом, и с гордым видом сказал: «Налетай!»

Да, вкус картошки изумительный — никакого сравнения с обычной варкой. К чаю Донатас подал малиновое варенье и миску с очень тёмными большими пирогами, уточнив при этом, что пироги «самодельные». Мы удивились...

— Муку я не покупаю, а делаю сам из смеси пшеницы и ржи. Вон в углу моя мельница, — и он указал рукой. — Смеётесь... А

мельницу я сделал сам. Эта уже, наверно, третья. Быстро снашиваются, ведь чураки деревянные и бичи из хрупкого чугуна...

Попив чаю, мы подошли посмотреть чудо-мельницу. Да, действительно, вся конструкция состоит из двух чураков диаметром сантиметров сорок зафиксированных один над другим через ось. В торцах соприкосновения их, радиально вбиты небольшие полоски чугуна, наверно, от какой-то ненужной чугунной вещи. Место соприкосновения чураков обтянуто стальной полосой с отверстием для выхода муки. В верхнем чураке выдолблено конусное углубление, куда надо подсыпать зерно. Ещё сверху имеется проушина, в которую вставлен кол с гвоздём на конце, а верхний его конец зафиксирован под потолком.

— Ну, садись, кто не боится, — весело шутит хозяин.

По-очереди покрутили за кол этот механизм. Понравилось. Рукой крутишь, а из щели между чураками струйкой бежит мука грубого помола.

— А если к тем трём вещам, что я вам сказал, добавите муку грубого помола, то и умирать не захотите, — опять шутит Донатас, и уже без шутки: — Мука всему голова!

— Донат, а как у тебя с той... Ингеборгой, ну... экскурсоводом?

— Как... Ранней весной приехала она ко мне, говорит, уезжаю, мол, к шведу.

Своего бросаю, всё уже решила...

— А чего со шведом, а не с англичанином в Англию? — изумились мы.

— Может и с англичанином, кто его знает, я всю эту публику «шведами» зову. Жалко бабу, какому-то пиволюбу такая красавица достанется. На деньги их позарилась, дурочка...

Образовалась длинная пауза. Потом хуторянин поднял взгляд, пристально посмотрел за горизонт, словно выискивая «дурочку», и с влажными глазами приглушённо произнёс:

— Прилетит... как пить прилетит, дура...

Быстро приближался вечер. Мы успели обойти всё большое хозяйство этого неугомонного человека, заглянули в соседний лес, откуда сосед Донатаса добирался на «перваче», прошлись по кромке засеянного поля, после чего Донатас с грустью заметил:

— Яровым капут... А у вас как?

— Да так же, наверно... — отвечаем.

Он опять с грустью замечает, словно в укор нам:

— Если нашему поколению «как будет, так будет», то молодёжи простительно

Это была наша последняя встреча с Донатасом: через месяц в городе на пешеходном переходе его и ещё двух человек сбила машина...

Ставя в церкви свечку за упокой друга, батюшка высказался:

— Всё суета наша... мечемся, бьемся, как рыба о лёд.

Потом мы узнали: в тот день Донатас в городе был у родственников той Ингеборги.

Да, действительно, суета наша...

КОЛОДЕЦ

В стране третий год шла Перестройка. Дед Леон на своём хуторе давно тоже хотел перестроиться, но не так чтобы основательно, а просто, хотя бы колодец обновить... Колодцу тому уже семь десятков, и помнит дед Леон, как его отец с соседом тогда, до войны, копали глинистую землю и всё старались закончить побыстрее — боялись обвала мокрых стен. Управились в три дня: один копал штыковой лопатой, другой куски глины поднимал ведром на толстой верёвке. Помнит дед Леон, что ту глину его отец и сосед Янис, пустили в дело. В это дело втянули они и десятилетнего Леона, дали в руки деревянную форму под кирпич размером 30х14х7 сантиметров и подросток формовал кирпич-сырец.

На четвёртый день с раннего утра мужчины приступили к облицовке стен осиновым полукругляком, а к вечеру уже управились, и довольные закурили по махорочке... Добрый получился колодец — глубиной в восемь метров, шириной в метр сорок. На дно, как и положено, засыпали щебёнки, чтобы вода не взмучивалась, а сверху соорудили навес со створкой.

На второй день дождалась первой чистой воды! Сколько радости-то было.

Как только поняли, что будут с чистой водой, то приступили формовать кирпич все вместе. Месяц, как стряпухи у стола стояли, но своего добились — всю глину в дело пустили. Добрый кирпич-сырец получился тогда, весь он пригодился отцу на постройку хлева.

... Семь десятков, это срок, для любого, а уж осине и подавно. Рушиться стала она, правая щепками на водной глади, вкус воды изменился, да и не живут уж так, перед соседями стало стыдно... А тут вот и Перестройка, значит всё, решено...

Каждую неделю дед Леон на своём велосипеде выбирался в город за хлебом и куревом, а по пути замечал, как огромные землеройные машины вздыбливают глинистую почву, как споро они укладывают огромные бетонные трубы в глубь той почвы, как легко у них всё получается, сравнивал с копателями того колодца, да только какое там сравнение... «Вот бы этой техникой на хуторе колодец обновить», — подумалось деду Леону.

В этот раз дед Леон не решился беспокоить строителей, так как издали присмотрелся к их работе: все были очень заняты, все

в фирменных строительных робах с надписями на литовском языке, чувствовалось — компания солидная.

В очередной раз дед Леон в город собрался раньше срока — уж больно хотелось со строителями поговорить, а то уедут и надежда рухнет... С раннего утра не стал курить свои дешёвые папиросы — вдруг чем отпугнёт тех рабочих, чисто побрился, даже одеколон «Кармен» применил, одел пиджак и незаменимую кепку, три раза перекрестился и, вывел на ровную дорожку свой велосипед.

Как и положено в солидной фирме — все были при деле. Робость одолела старика, но всё же решился подойти, выбрав одного рабочего в белой строительной каске. Объяснил суть своего прошения, и получил ответ:

— Мы заканчиваем объект, сегодня технику сворачиваем, завтра уже должны быть в Литве, так что время нет, а вот одна труба остаётся — оказалась лишняя, обратно её не повезём — для неё нет свободного места на трейлере, мы её дарим Вам, но с условием, чтобы до обеда следующего дня её забрать...

В этот же день дед Леон побывал в СМУ, знакомый прораб подействовал деду, провёл по всем нужным кабинетам, оплатили два часа работы полуприцепа КамАЗ и два часа работы автокрана «КрАЗ», а уже через час дед мягко восседал в кабине КамАЗа, а его велосипед «искал углы» в пустом полуприцепе.

Одинокую трубу загрузили быстро, подошедший прораб-литовец удивился проворности деда, и на прощание пожал тому руку.

На хуторе первым к колодцу подъехал автокран, следом задним ходом КамАЗ подал полуприцеп с застопорённой деревянными поддонами трубой. Трубу взяли в обхват тросом «на удавку» за раструб и высоко подняли. Крановщик медленно подвёл опасный груз над колодцем и стал плавно стравливать трос. Огромная труба, словно патрон в патронник, входила в шахту колодца... Последние пару метров из колодца с шумом вырывалась вода, образуя мелкую водяную пыль. Всё! Труба-колодец мёртво упёрлась в грунт.

Техника разъехалась, только дед Леон остался у колодца, осмысливая дальнейшую предстоящую работу. А сделать надо вот что... Во-первых, откачать всю воду, посадить трубу в грунт ещё на полметра, тем самым сровняв её с уровнем земли на поверхности, да и вода будет более чистой поступать снизу. Во-вторых, сверху раскопать вокруг трубы землю и вынуть старые осиновые балки. В-третьих, сверху надо установить одно бетонное кольцо. Но всё это теперь уже мелочи...

Качать воду с молодым соседом взялись в самые жаркие дни, мотопомпа надрылась, качая с глубины студёную воду прямо в гряды картофеля, а не просто в поле, чему была очень рада бабка

деда Леона. Управились за три часа, но, перекурив, заметили, что внутрь бетонной трубы вода будет поступать через низ от боков старого колодца, поэтому решили ночь подождать.

За ночь набралось пару метров чистой воды, ею заполнили все имеющиеся во дворе ёмкости — бочки, ванны, бидоны, предстояло ведь опять углубляться на полметра, а значит чистой воды пока не будет.

Молодой сосед по толстой верёвке спустился в колодец, прихватив с собой штыковую лопату с укороченным черенком. Перед глазами деда Леона всплыла та картина семидесятилетней давности, когда отец с ровесником-соседом дружно копали вот этот колодец на ровном месте. Как и тогда, глину поднимали ведром на верёвке — сосед копал, а дед по полведра поднимал, густо потев на полуденном солнце. «Как же тогда им было тяжело», — подумалось старику.

— Дед Леон, не опускай ведро, вроде снаряд или мина тут, — раздался встревоженный голос из глубины.

Стало тихо, тихо...

— Ты жив там, ай нет... что там? — тревожно спросил дед.

— Щупаю, вроде как снаряд... — так же тревожно ответил сосед.

— Давай вылезай... Рванёт, как Барон Мюнхгаузен вылетишь.

Глубина молчала...

— Ты слышишь меня, давай, давай... — торопил дед.

— Брось магнит какой... проверю, а то понять не могу, в жиже всё.

Старик пошёл в хлев. На стене из кирпича-сырца среди разного хлама висел круглый магнит на гвозде. Старик понёс его к колодцу.

— Лови, — и прислонив магнит к стенке бетонной трубы, отпустил его.

— Не магнитится... нет... — раздался приглушённый голос из глубины. — Подай ведро, продолжим.

«Бомбой» оказался гладкий продолговатый камень в слежавшейся за годы щёбёнке. Здесь же нашли и сильно изоржавевший ствол пистолета, патроны и гильзы, обручи, колючую проволоку... Копали молча. Труба заметно, сантиметр за сантиметром, под собственным весом, уверенно опускалась. Ну вот уж и встала вровень с землёй.

— Всё! Баста! Вылезай, — глядя в темноту трубы прокричал дед.

Через минуту на поверхности показалось перемазанное глиной лицо соседа.

— Я действительно боялся, что рванёт... но не бросишь же дело на полдороге, как вы без воды... — умываясь водой из бочки, всё пояснял сосед.

В новый колодец высыпали пять приготовленных вёдер со щебёнкой, дед перекрестил источник воды, что-то пошептал. Колодец временно накрыли листом фанеры и разошлись, договорившись вечером попить чайку с новой водицей.

И вот дед Леон, его бабка и сосед сидят за столом под разлапистым дубом и пьют чай из нового старого колодца, вспоминают родителей, те далёкие времена, трудности той жизни и хвалят колодец, вновь продолжающий давать чистую воду.



Илья КИТУП

/ Вильнюс — Берлин /

ВЕСТИ С РОДИНЫ (Czegoś nowego z kresów)

«Litwo, oj-oj-oj-czyzno moje»
Adam Mic-mic-mic-kiewicz

1. Профессор Собацкий

Профессор Доминик-Константы Собацкий,
Разработчик новейших вагонных колёс,
Весь недолгий свой век чрезвычайно старался
И великий новаторский вклад он таки привнёс

В свою узкую, специальную область, равных в которой
В этом мире было немного ему.
Предложил он в науке принципиально новый
Подход, досконально понятный лишь ему одному.

Почему ни при жизни, ни после не был оценен
Этот революционный новаторский труд,
Историки минимум уже трёх поколений
Как ни стараются, а всё никак не поймут.

2. Инженер Порецкий

Инженер Жан Порецкий,
Уроженец негромкой Сморгони,
Провёл свои детство
И юность под дырявым флагом Погони.

Выпускник инженерного факультета
Виленского университета 1932-го года,

Он устроился клерком в краковской фирме AUROS, и это
Была работёнка весьма скучноватого рода.

В 33-ем уволился, наполнил вещами баул
И перебрался в весёлый Париж, на левый берег Сены.
На автозаводе концерна MASTIF LE BANJOU
Возглавил отдел подшипников кривоколенных.

Во время войны был механиком в британских частях —
Ремонтировал грузовики и танки в Северной Африке.
В его обожжённых солнцем берцовых костях
Отразился весь век Музиля, Рильке и Кафки.

3. Шмулик Ковальский

Шмулик Ковальский — свистун и проныра —
Плескался в водице прозрачного мира,
Нырняя в виленские омуты браво,
Всплывая в зелёных предместьях Варшавы.

Коробку направо, а ящик — налево —
Сновал в коридорах житейского хлева,
И там ведь кому-то спроворивать нужно,
Чтоб корма себе обеспечить на ужин.

Но дело не в этом, и вовсе нет дела
Живущим до Шмулика. Бренное тело
Сгорело в концлагерной топке в то время,
Когда показалось, что кончилось время.

Оно и закончилось. Шмулик отныне
Не будет болтаться в осоке и тине.
Закончилось время, остыл крематорий,
Не будет шести миллионов историй.

Я вам попытался поведать одну,
Но вместе со Шмуликом канул ко дну,
На дно водоёма прозрачного мира,
Где глухнут немые — и муза, и лира.

4. Лойзик Фарбер

А Лойзик Фарбер — да красит ткани.
Пигменты в бочках, ах у него.
А эти краски не выцветают:
Он мастер дела — да своего.

Везёт повозка товар в Сувалки,
А пух июньский так лезет в нос.
Ой год богатый, тридцать девятый,
Доходу много ты нам принёс.

Дорога лесом — вдоль края поля.
Сквозь кроны — солнца корявый луч.
Купить пластинку просила Поля,
А Лёва — книжку и жёлтый мяч.

Что было дальше — ты знаешь лучше:
СС, концлагерь и злая печь.
Конец рассказа. Молчи и слушай,
Как меркнет солнце и глохнет речь.

Чернеет солнце — оно остыло.
Слова — свинцовый, чугунный лом.
Расплавь железки, зажги светило —
И мы станцуем, и мы споём.

5. Данута Кузборска

Данута Кузборска — молодая девица,
Неплохо знакома с виленской полицией:
Имеет не меньше десятка приводов
С Завальной, Антоколя и Доброй Рады
В канун светлой Пасхи и нового года.

Мужчинам желала дарить только радость.
Зачем ей, красотке, излишняя гордость?
А деньги? Она ни с кого не брала.
Да мыслимо ль взять у красавца-орла?
Нет, денег она ни с кого не брала.

Полиция дел завела вереницу.
Там сказано: дама хотела кормиться
Древнейшей профессией, да без лицензии.
А как без неё заработать на пенсию?
К гражданкам таким государство в претензии.

Данута прекрасна. Найдёшь ли красивее?
Я слышал, что в жизни её перемены.
Соседка сказала: Кузборска в Бразилии,
Гуляют там в белых штанах джентльмены,
И там не бывает, чтоб даму обидели.

Теперь я за пани Дануту спокоен.
Вздохнём облегчённо и книжку закроем.

Роман НОВАРРО

/ Рига /



ПАРУСА

Я помню — мальчишкой бегу по зелёному склону,
Вспоённый свободой, как будто Кастальским ключом,
Я помню про кудри, что я преподнёс Аполлону,
И помню, как двигал утёс над отцовым мечом;
Я помню, как мать на прощанье целует мне темя,
И как покидаю с тоскою родные леса,
Я помню, что бремя героя — тягчайшее бремя,
И помню, что надо, что надо менять паруса!

Я помню — сестрам по серьгам, а прокрустам — по ложу,
Я помню, как рвался Синид и как выл Перифет,
И помню, как думал Скирон, что он хитростью сможет
Отсрочить своё воздаянье на несколько лет:
Карающей дланью пройдя по дорогам Эллады,
Следил, чтоб уродство души побеждала краса,
Я чуял, я думал, я знал и я верил — так надо!
Надежду страх замещая, менял паруса!

Я помню коварство Медеи и гнев паллантидов,
Я помню, как яд миновал и как меч — миновал,
Как стал для Афин я надёжной и прочной эгидой,
И снова — Скирона, летящего в пенный провал...
Да, пена... Я помню, как волны рвут снасти у лодки,
Как блещут на солнце невольных гребцов телеса,
И как я кричу, не жалея просоленной глотки,
Что скоро, уж скоро, нам скоро менять паруса!

Я помню злорадство и дерзость царя-диогена,
Глаза Ариадны в последний, пронзительный миг,
Удушливый, гнилостный запах подземного плена
И мох на развилках, и каждый зловонный тупик;

Я помню, как вбил свой клинок под ребро людоеду,
Критянского принца вспоров, как докучного пса,
Как сердце рвалось из груди с криком: «Папа! Я еду!»...
Я что-то забыл... Я забыл поменять паруса!!!

ГОЛОС БОГА

Я услышу когда-нибудь голос Бога:
Богорокот его, богогогот;
Я узнаю, что нету во эмпиреях
Ни добрей Его, ни мудрее.

Он когда-то, склонившись над колыбелью,
Пел мне музыку внедецибеллю:
Я внимал Ему, трогал Его ладони,
Незаметные посторонним.

Он когда-то держал меня в поле зренья,
Моему пособляя добренью,
Он когда-то меня укрывал крылами
И сражался с моими злами.

А теперь я во власти земных мелодий —
И его во мне глас бесплоден,
А теперь мое сердце взрослее бьется —
Богу места не остается

И Творец отошел от моих взрослений,
Недоступный сверхсмысленный гений
Головою качает, кусает губы,
Недоволен твореньем грубым.

Я глотаю отраву, кидаюсь в йогу,
Чтоб обратно пробиться к Богу,
Чтобы вновь умываться его любовью,
Чтобы негу испить боговью.

Он — нет-нет — и на миг мне сверкнет кристаллом:
Вроде — тут, а уже и не стало
Он — нет-нет — где-то шаркнет, скользнет к двери и
Затаится на периферии.

Я услышу когда-нибудь голос Бога,
Что один, но как три и как много.
Возвращусь, развращенный, в его обитель,
Если примет меня родитель

И я буду с ним петь и вплетать свой голос
В хор небес, как в прическу волос.
И я буду качать колыбель с ребенком
И дышать на его ручонки...

SINCERIO

Когда вечер из воздуха вешнего выпьет тепло,
И подобен закат в чашу неба излитому грогу,
Вспомни имя моё — всем столетьям, заклатьям назло —
И меня призови к своему смолянному порогу.
Когда песню скупую свою запюют тростники,
И исполнятся сумерки запахом розы и мяты,
Вспомни имя моё — всем запретам, табу вопреки —
И впусти меня тенью в свои расписные палаты.
Призови меня охрой и солью, землёй и огнём,
Хоть немного ослабь заклинанья гнетущего путы,
На границе мужающей ночи с дряхлеющим днём
Дай в истоме застыть, упиваясь блаженной минутой.
Я вползу к тебе, кожей пятнистой по праху шурша,
Я примчусь к тебе свистом стрелы, разорвавшей туманы,
И — глазами в глаза — не моргая, без слов, не дыша,
И останусь с тобою, своим искуплением пьяный.
Но, как только с небес изольётся на ставни окон
Жгучий мёд первозданного, вечно немного светила,
Я обязан уйти — ты сама начертала закон
На скрижалях времён — и сама нарушать запретила.
Я безмолвен и гол стану снова, в росе растворюсь,
Снова буду страдать, изъязвляемый солнечным богом,
Пока вечер под брюхом моим раскалённую грязь
Не остудит, и снова закат не расплещется громом...

ПУСТЫНЯ

Глотая колючую пыль и позор,
Потупив к булыжникам взор,
Из Города Камня в изгнание шли —
Навек из родимой земли
Вдвоем под огульные свисты толпы,
Очей не подняв от тропы.
Один из них был — воплощенный порок,
Второй же — блаженный пророк.
Пустыни простор перед ними лежал,
Ощерившись тысячей жал,
И дыбил бархан за барханом горбы,

Суля однозначность судьбы.
И двинулись в путь — хоть не знали пути —
Куда не могли не идти:
Ходячий порок и бродячий пророк,
И третьим — меж ними — Бог.

И были удары палящих лучей
Страшнее шипастых бичей,
И солнца взъяренный огнистый алмаз
Им донья выскабливал глаз,
И бились с десятками бурых гиен
И с жаром десятков геенн
Бездонный порок, осененный пророк,
И бился меж ними Бог.
И ночь не сулила приятных прохлад —
Морозными звездами жгла,
И не было отдыха от духоты,
Но дух вместе с мышцами стыл:
Пытаясь согреться, спиной к спине,
Кривляясь в безвыходном сне,
Два бреда делили порок и пророк
А рядом метался Бог.

И иглистый, жесткий песок как резцом
Над их поработал лицом,
И солнце вожгло в их зеницы клеймо,
Оставив слепое бельмо.
И если поставить тебя и спросить,
Кто — послушник тут, кто — бандит,
И — самое важное — в ком из них Бог,
Ответить бы ты не смог.

...Пустыней отпущены — оба? Один? —
Оставив за черной спиной
Ночное сияние безжалостных льдин
И белый полуденный зной,
Остатки души и сердец черепки
К родным возвращались местам.
А сзади ревели и плыли пески...
...И бог их остался там.

Игорь БЕЛОВ

/ Калининград /



ДРЕДНОУТЫ

в баре «Дредноут» ночью мне снится свинцовый дым
кошмар на улице Генделя становится вдруг родным
пену морскую с кружек ветер уносит вдаль
а черным дырам колонок вообще никого не жаль

за стойкой меняют пластинку так долго ищут ее
будто меняют родину — ну или там белье
в меню полыхает надпись — одевайся и уходи
все правильно ставят группу по имени «Бигуди»

я вслушиваюсь как реки прочь от себя бегут
злодей вытирает лезвие о майку Johnny Be Good
любовь моя говорит во сне за ледяной стеной
и море шумит в заблеванной раковине жестяной

на деле же все не так и в этот сплошной отстой
с безалкогольной музыкой приправленной кислотой
приходит местное время с улыбкой но без лица
и разводит на жалость голосом Гришковца

вот мы сидим гадаем сколько нам ждать зари
если уже бледнеют ржавые фонари
на какие еще глубины опустится не дыша
наша с тобой бессмертная силиконовая душа

разве что просигналит в память о прежних днях
тонущий супермаркет весь в бортовых огнях
и проплывут над нами спутавшиеся уже
чьи-то тела из пластика или папье-маше

только бы взять тебя когда подойдет волна
на руки словно куклу выпавшую из окна
чтоб уловить в подъезде обнимаясь с тобой
искусственное дыхание ровное как прибор

ДИВИЗИЯ РАДОСТИ

Мы были раной сквозной, мы были улыбкой хмурой,
мы приезжали домой ради подруг белокурых,
но встретив тебя, я заметил — вот уж который день
стучит в моем сердце пепел сожженных мной деревень.

Я из последних сил звал тебя — ахтунг, бэби.
Голос твой сладкий плыл в расово чистом небе,
и обреченно, что ли, проваливалась земля
в глубокие, словно штольни, ночи из хрусталя.

Кто знает, в каком вообще салоне была набита
на смуглом твоём плече эта звезда давида,
днем ли, вечером тусклым, утром ли золотым
ты стала немецкой музыкой и превратилась в дым?

Мелодию улови, чтоб в недешевых клубах
взрывная волна любви нас била о стенки, глупых,
чтоб ночью, жонглируя эхом цепей, диктатур, систем,
Dj Stalingrad подъехал — и развезло б совсем.

У городских ворот, где снег до сих пор обоссан,
будет лежать мой взвод в мундирах от хьюгобосса,
будет закат огромен, холод неповторим,
но море разбавят кровью, и оживет гольфстрим.

Слушая хриплый вой лучших радиостанций,
поговорим с тобой — лишь бы не потеряться
там, где не плачет ветер о перемене мест.
Где никому не светит южный железный крест.

* * *

По улице немецкой узкой
пройди с мелодией внутри.
Воздушного налета музыка
над сновидением парит.

Тебе приснился этот город.
Перелицованный войной,
он вроде ордена приколот
к сюжетной ткани бытовой.

Ну, здравствуй, просыпайся, что ли,
ведь города такого нет,
есть привкус объяснимой боли
у контрабандных сигарет.

А ты — проездом, и с вокзала
к руинам памяти чужой
спешит, сияя краской алой,
автобус с пламенной душой.

И под восточно-прусским небом,
все понимая наперед,
держа равнение налево,
неподражаемо пройдет

любовь, как новость рядовая,
и нам останется одна
развязанная мировая
неслыханная тишина.

* * *

Горячий воздух, ордена, букеты,
хмельной закат, прожжённый сигаретой,
сирень. Уехать к морю в День Победы,
ни сна, ни яви не отдать врагу.
Плывет паром, и видно близко-близко
обветренные лица обелисков,
точёный профиль города Балтийска,
поддатого меня на берегу.

На берегу, где облако и птицы.
Из жизни глупой вырвана страница
очередная. Надо было становиться
убитым службой прапором, а не
пьянчугой в чёрной вылинявшей майке,
корабликом из жёваной бумаги.
Стать памятью о роковой атаке.
Стать кораблём, скучающим на дне.

На всём стоит войны упрямый росчерк,
и эта жизнь становится короче.
Красавица, а ну, лицо попроще,
всё начинаем с чистого листа.
Побудь со мной, пока это возможно,
пока весна вот так неосторожно
слова любви диктует пересохшим
от горькой жажды подвига устам.

Да будет — мир всем нам без исключения,
беседа в романтическом ключе и
на небе невъебенное свечение,
когда, вздохнув над мутною волной,
меня, заснувшего у самого причала,
разбудит голосом прохожего случайного
судьба моя, такая беспечальная:
«Бери шинель, братан, пошли домой».

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Мы убиваем время в кварталах, глухих и диких,
там, где кольцо трамвая и неземной рассвет,
там, где мятая скатерть цветёт пятнами от клубники
и о жизни в розовом свете поёт кларнет.

Шляется по квартирам в моей дорогой провинции
музыка, из-за которой во двор забредает дождь.
Что же он все плетёт разные небылицы,
исцарапанный голос прошлого, мол, прошлого не вернёшь?

Ангел мой, расскажи, почему это так очевидно,
что, когда опустеют скверы, перепачканные листвой,
лето кончится, и, как следствие, обломается «дольче вита»,
и в лицо дохнёт перегаром город наш золотой.

Буду с грустью смотреть, шатаясь во время оно
по усопшему этому городу, забуревшему от тоски,
как на улице на Воздушной своего компаньона
бьют ногами в лицо черножопые «челноки».

Вечер кажет кулак сквозь завесу табачного дыма,
но разбитые губы шепчут бережно, будто во сне:
«Я люблю тебя, жизнь. Я уверен, что это взаимно»,
и играет пластинка в распахнутом настезь окне.

Лариса ЙООНАС

/ Кохтла-Ярве, Эстония /



САМЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

перебеги дорогу белый свет
под шорох шин и наледи скрипенье
под вечный шепот в обмершей листве
не облетевшей вовремя сирени

ты спой мне спой неловко на бегу
на полувздохе быстрого полета
твой чистый звук как белый снег как нота
как та капля что дышит на снегу

бездонный свет я лишь тобой согрет
мне хочется свободы и покоя
нашаривать обветренной рукою
в пустом кармане пачку сигарет

пускай на перекрестках ничего
не обозначит предуведомления
на этот час свободен будет пленник
от времени и места своего

в котором нет сомнений и примет
пусть даже в нем и саван есть и заступ
но ничего тебя уже не застит
мой белый свет мой самый белый свет

КАДР №6

Опять разметила зима
По крышам белые закладки.
Стоят озябшие дома
В урбанистическом порядке.

Ах птичка, вечно вдалеке
То мысль твоя, то взор туманный.
Что за неведомые страны,
Где ты с судьбой накоротке?

Нам город — домом, снег — плащом,
Свои заучиваем роли.
Давай опять заправим ролик
И щелкать заново начнем!

И в этом городе твоём,
На полотне старинных зданий
Мы как всегда, обнявшись, встанем,
И кто-то снимет нас вдвоем.

Портрет поставим на столе —
И будем видеть ежедневно:
Вот это мы, а это — небо
На мачтах белых кораблей.

* * *

Наша речь запечатана эхом,
птицекрылые братья мои.
Что ж вам в гулкое гладкое ухо
оловянные льют соловьи?

Боль минутна, пройдет, не изменит,
глухотой обнадежен и цел
ты отныне для всех соплеменник
миллионом трудящихся тел.

Муравьиное семя густое,
рельсы ровные, дом обжитой,
воздух сладкий на вере настоян,
не страшит огневой пустотой.

Как настроено наше дыхание
на прием чужеродного сна,
что-то плещет в небесном стакане,
но копейка не светит у дна.

Кто отец ваш, кто мать, кто наследник?
не познавшие вволю родства,
вы без первых теперь и последних.
И чужие у горла слова.

ЭПИЛОГ

Мы снова таем в отраженьях
Там, наверху. И под ногами —
Едва приметное движенье
Домов, окутанных снегами.

Мы все летим в прозрачном лифте.
Наш город спит — почти в полете.
Не слышен звон опавших листьев,
Заснул палач на эшафоте.

Он видит сладкие картины
Лужаек, свежих и зеленых,
Стоят в тумане паутинном
Полуразбуженные клены.

И ветерок над ним качает
Не труп на виселице синий,
А зацепившийся случайно
Платок на дереве бузинном.

И все оставлено до завтра —
Портной заснул над черным платьем.
Еще царит над миром запах
Незавершенного объятья.

Спит клерк, почти одушевленный,
Среди гроссбухов и закладок.
Спит свет неоновозеленый
В витринах узких и прохладных.

Качает створки расписные
Недоуменный март несмело.
Вороны съежились, босые,
Дыша в карниз обледенелый.

Летит земля, себя пугая,
Пытаясь вырваться из плена,
Пока горит звезда другая
Алмазным гвоздиком вселенной.

Еще мне кажется обычным
Твое неровное дыхание.
В полете плещется ритмично
Вода в опаловом стакане.

И я под мертвый звон трамвайный
С улыбкой сонной и несмелой
Еще привычно обнимаю
Твое исчезнувшее тело.

* * *

Три слова легкие о мелком,
дыханье тонкое, и тень
под опрокинутой тарелкой
и натюрмортом набекрень.

А вот и полдень за калиткой:
бурьян и небо — все в огне.
Тропинка вымощена плиткой,
не торопящейся ко мне.

Как я скучаю, как тоскую,
но этих мест не знает свет.
Где родину возьмешь такую,
ведь родины на свете нет.

Ее придумали для бедных,
чтоб сердце сжалось, как в дыму,
когда в видениях последних
я окажусь в родном дому.

И что-то в форточке задышит,
и занавеску отогнет,
и тихо скатится по крыше,
и в эту землю упадет.

* * *

ночью вдруг поняла
что давно не интересовалась папиной жизнью
ничего о нем не знаю
что у него за дела
как он там

от горечи проснулась и вспомнила
что папа умер много лет назад

лучше вечно быть неблагодарной
чем заново проснуться сиротой

Милена МАКАРОВА

/ Рига /



РИГА

В доме начала века живут профессор, тихая старушка полька, маленькая девочка с необычайно прозрачными глазами, худенькая девчушка, хранящая, словно мечту о будущем, узкие белые пуанты, роскошный ангорский кот, большая собака... Пройдут годы... На ступенях старого дома будет таять принесенный с собой декабрьский снег, высыхать пролитое молоко, сверкать комочки серебристой фольги, стыдливо темнеть обертки от конфет «Чио-Чио-сан» и рассыпаться лепестки жасмина... Потускнеют ромбы на маленьких оконных витражах. В доме проведут центральное отопление. У кого-то из соседей украдут звонок в виде львиной головы. Прибавится выбоин от детских колясок и царапин от старческих тростей. С теми, кто жил в этом доме будет случаться предначертанное.

Задумчивый профессор выбросится из окна, правда, другого дома. Девушка с пуантами будет танцевать за океаном и изящество состоявшейся балерины отнюдь не умерит природной живости. Старушка-полька навсегда покинет свою увешанную иконами комнатную, как впрочем, и все другие комнаты этого мира. Ангорский кот в последний раз оставит свою белую шерсть на широком подоконнике второго этажа, прежде чем тоже покинуть гостеприимную поверхность этой земли. Что стало с собакой — неизвестно...

Маленькая девочка с прозрачными глазами — вырастет, и хотя ее глаза к тому времени успеют уже наполовину ослепнуть, научится писать даже в ночной темноте, не говоря уже о размытых солнечных днях. Она станет писать о своем городе, который будет меняться, словно недавно открытая планета.

* * *

На входе в Город торгуют глинтвейном и шоколадом, маленький экипаж с запряженной лошастью ждет романтиков, желающих прокатиться по сияющим зимним улочкам.

Монетная улица, улица Дев, епископская улица... Имена из параллельного заснеженного средневековья. Ломко и светло звучит флейта, в салоне напротив можно купить игрушечных крыс... На картинах уличных художников расцветают одуванчики и разбиваются корабли.

В кафе «Белая Роза» празднуют седьмой день нового года. Белая роза, белый город, белое время... В одном из окон глубоко заснувшего дома ярко горит витражик в виде свечи, а вот еще один, в виде циркового акробата, стоящего на своих стеклянных руках. Струится сладкий запах горячих вафель, разбавляя жесткий поднебесный воздух.

Что еще. В чайном салоне кончился «серебряный чай». Нищий в черном отрешенно протягивает ладонь с горстью медового цвета монет. Бездомная собака, в радужной оболочке глаз которой сконцентрировался голод, заходит в подворотню. На Домской площади в очередной раз бьют старинные часы.

Перстень «Намейса» светлеет на импровизированном уличном прилавке. Кто-то осторожно освободив руку из замшевой перчатки, примеряет кольцо с аметистом.

Холодно.

Город полон образов. Человек с мобильником, идущий по несуществующей Уолл-стрит, инопланетянин, что-то спрашивающий по-английски у прохожего, богемная принцесса с серебряными «каплями» в проколотых надбровных дугах, дама с макияжем, достойным матрон Феллини, «вечный студент», задумчивая старушка с половиной белого батона в руке, счастливый ребенок, торжественно восседающий на меланхоличного вида пони... А вот и он — средний человек, с каждым днем теряющий свою медиану. Образы усложняются, становясь то ли страшнее, то ли привлекательнее.

На театральной афише «Недосягаемая» уже давно сменилась «Интимной комедией», а «Лошадь» все продолжает «терять сознание»¹.

Наступает вечер. На малой сцене жизни начинается снегопад.

* * *

Детство. Нежно-зеленые каштаны в шумящей бронзе осеннего парка. Липовые аллеи, сияющие январской белизной. Июльская радуга над большим серым фонтаном, окруженным, смеющимися водой, каменными лягушками.

Белый хлеб, перламутровые шеи птиц... «Повелительница серых голубей» — чем не титул от Рэя Брэдбери? Воркующая орда, плавно продвигающаяся вперед по аллее — дает какую-то странную радость обладания. Обладания свободными существами? Пока остается последняя белая крошка, они будут идти за тобой...

¹ Названия спектаклей Рижского русского театра им. М.Чехова.

Запах мокрого песка около качелей, на которых кто-то однажды неудачно сделал «солнце», не удержавшись на полном обороте. Запах шоколада с шоколадной фабрики, разбавляющий воздушное пространство близлежащих улиц. Запах краски на зеленой двери в часовую мастерскую и жасмина на удивительно тихой улице с военным названием. Запах бензина и свежескошенной травы, снега на зимней одежде и дождя в день Рожденья. В день Дожденья. В день ожидания.

Запах первых, вторых и так далее, стремящихся к бесконечности игрушек, глаза большого, нереально-розового кота, окончившего свою розовую жизнь в холодном темном подвале старинного дома, подобно другим, внезапно оставленным вещам.

Запах дров и огня в блестящей белой печи угловой комнаты, с веселым потрескиванием превращающихся в тепло и пепел. Колеблющееся отражение решетки на потолке, нежные слова колыбельной. «Спи, моя радость, усни...

Да, эта радость уснет, но только, много позже.

Сказка про «Ангела и Каменотеса», неожиданно взрослая для пятилетнего ребенка, уже прочтена. Книга сказок из прошлого века, доставшаяся по наследству. Нищий каменотесь, ставший падишахом. Нищий каменотесь, ставший облаком. Нищий каменотесь, ставший солнцем. Последнее, что он попросил у Ангела — это вернуть его к своей скале, к своему каторжному счастью, которое, он, наконец, обрел...

* * *

Я знаю. Я помню. Каждая деталь требует пристальности. Итак — Рига.

Начало тысячелетия. Летняя улица, так называемого, аристократического района. Полуразрушенный дом с сумрачными печальными кариаидами у входа. Дом-призрак, говорю я себе. Кажется, что ему тысяча лет, хотя на самом деле... Впрочем, какая разница... Мне нравятся такие тайны и такие дома. Напротив, уже совсем другой дом, тоже старинный, но на редкость ловко отреставрированный, будто феникс, восставший из пепла, с консьержем, зеркальным лифтом и великолепными мансардами. Какое-то время я живу в одной из них. Дом-феникс. Кстати о птичках. Часть потолка в моей мансарде стеклянная, когда я лежу в постели и поднимаю голову, я вижу небо и пролетающих птиц. Еще я слышу, как по крыше громко вышагивают гигантские чайки. Как их там — бакланы? В это лето они облюбовали центр, городские крыши, дворы и помойки, время от времени такая птичка пролетает мимо бокового окна мансарды. Моя кошка Манефка бросается к окну, взмывает на подоконник, (охотничек, твою мать!), и грустно провожает взглядом крылатое чудовище. Одного удара клювом такой птички достаточно, чтобы отправить в глубокий нокаут самого упитанного мэйнкуна.

Манефа, ты что себе думаешь?

И снова улица с угловым домом, где когда-то жила женщина — прототип булгаковской Маргариты. Дом Елены Булгаковой, большой словно замок, но несмотря на свою великолепную историю и inferнальную подоплеку, на весь свой, с позволения сказать, провенанс, не производит впечатление тайны. Никакой булгаковщины. Ладно, хватит и того, что на Виландес я переселяюсь ровнехонько в канун Хэллоуина.

И дальше, дальше... — французская школа имени Жюль Верна (почему не Эмиля Золя? — как-то иронизирует один мой приятель). Петровский парк, уютная гладь водоема, почти у самой воды — изумительная маленькая плантация лиловых ирисов. В другое время здесь цветут оранжевые лилии. Ботаника в стиле ар-нуво... Большие скульптуры в виде каменных львов... теннисные корты... супермаркет, около которого в любое время года сидит человек, играющий на аккордеоне. Когда у меня плохое настроение, я выбираюсь в этот маркет за хлебом, кофе, фруктами, или бог его знает чем еще, слушаю, как дядечка на аккордеоне играет парижский вальс и... меня отпускает.

Дома... дома... крохотная галерея «Пегас» с трогательной металлической крылатой лошадкой у входа. Ресторан «Винсент». Ресторан «Сократ»... Дом в стиле русского модерна. Стили, эпохи, названия перемешаны как в огромном ледяном коктейле.

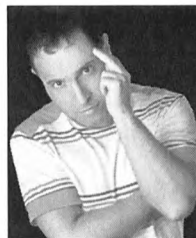
По другую сторону улицы — Центр международной Торговли, одно посольство сменяется другим, район «амбассад», что ни говори, на его перекрестках в летнее время иногда любят торговать свежей клубникой. Клубника PANDORA, как-то читаю я на деревянном ящике... Такой сорт, невозмутимо говорит продавщица... я провожу рукой по лбу — это ж какому «небесному Гофману» такое привиделось? Еще дальше парк Кронвальда, а где-то в зазоре — дуэт из двух монументов. Слишком неожиданно — обнаружить здесь, в этом пространстве, овеянном атлантами и кариатидами — кусок Берлинской стены. Совершенно реальный. Привезенный сюда «в те самые годы». Рядом фрагмент рижских баррикад. Билингвальная надпись, и на редкость корявый перевод с государственного... Переводчику и редактору, няняному для этого благородного дела, надо дать такого подзатыльника, чтобы звезды из глаз...

Парк Кронвальда... аллеи, аллеи, Дом Конгрессов, и светящийся в ночное время разноцветный фонтан, эдакий карманный фонтан Треви, только вместо бессмертных творений Бернини — забирающиеся на ступени фонтанчика визжащие дети и трепетно стоящие у парапета взрослые со своими вечными селфи, со своей застывшей для вечности позой — «вот-я-на-фоне-этого-фонтана»...

Ледяные струи вспыхивают то пронзительно красным, то синим, то золотым, верхушка фонтана будто вскипает ледяной водой, пенится, струится, напоминая отчего-то открытую бутылку шампанского...

ЭД ПОБУЖАНСКИЙ

/ Москва /



СКРИПАЧ

Кругом враги. Нас окружает НАТО.
Окапывайся. Бди и не пиликай!
Но скрипка не сапёрная лопата,
Сухой суглинок — не Алябьев с Глинкой.

Не площадь — плац, разбитый сапогами,
И солнца нет за тучею багровой,
Но чтоб не оказаться в смрадной яме,
Играй, скрипач, из ямы оркестровой!

БИОГРАФИЯ

Я родился в Украине,
вырос в Молдове,
живу в России.
Я, словно иголка
с погнутым ушком,
стараюсь
серебряной ниткой поэзии
из лоскутов
былой дружбы
сшить парус
последней надежды...

ДУБЛЬ

И тут пробел, и там изъян,
И память — решето.
И столько мне сейчас нельзя,
Что всё разрешено.

Не ком, не пом, не зав, не зам —
Двустопный ямб в пальто,
Молчал не так и был не за,
И пил, и пел не то.

Я не стихи писал — словам
Значенья придавал,
Не лез вперед по головам,
Друзей не предавал.

Хоть я лажаю больше всех
И стою — медью рубль,
А всё ж кричу туда, вверх:
Позволь хотя бы дубль!

РАССТАВАНИЕ

Так бывает:
вы ещё вместе,
утром
ты выпиваешь остывший кофе
и доедаешь омлет с беконом
(он, кстати, опять пересолен),
но уже
где-то в спальне,
на антресолях,
синий пустой чемодан
нетерпеливо
щёлкнул замком...

СВОДКИ

Чтоб не было больно тебе и Отчизне —
Сиди и молчи, и мозги не криви!
А с кем поделиться мне сводками жизни —
Одышкой, отрыжкой, глюкозой в крови?

Мой доктор, вы мне по-домашнему рады,
Я всё расскажу, только глубже вдохну,
Про детские травмы, про личные драмы,
Про сухость во рту и про грыжу в паху.

Мой доктор, суровая ваша кушетка
Мне стала милей, чем родная кровать...
А впрочем, я дома бываю так редко,
Что впору в квартире музей открывать.

СЛОВА

Космонавт сказал: «Поехали!»
Режиссёр сказал: «Начали!»
Строитель сказал: «Майна!»
Полицейский сказал: «Пройдёмте!»
Она спросила: «Ты кончил?»
Френд написал: «RIP»
Священник сказал: «Аминь!»
...
Акушерка сказала: «Мальчик!»

СМАРТФОН

Ты помнишь все слова и все ужимки,
И селфи делаешь касанием одним,
Но почему тогда ты в обе симки
Так пристально молчишь по выходным?..

Неновый мой леново, мне в отместку
Ты словно умер. В пятницу. С восьми.
Поймай хотя бы дуру-эсэмэску
И завибрируй, чёрт тебя возьми!

ВЕРА

Знаю, воздастся и мне сторицей
За то, что вера моя слаба.
Я снова пытаюсь перекреститься —
Но только пот вытираю со лба.

Молитву шепчу — и немею от боли:
Искрят от неискренности слова...
Сердце моё — поле вечного боя¹,
И павших не счесть...
И лишь вера — жива.

¹ Фёдор Достоевский «Братья Карамазовы»: «...поле битвы — сердца людей...» Иосиф Бродский: «Да будет могуч и прекрасен бой, гремящий в твоей груди...»



Нина КОСМАН

/ Нью-Йорк /

МЁД

Я расскажу тебе, как это случилось, но, пожалуйста, не перебивай меня. Я тебя очень прошу. Обещай, что не будешь перебивать! Если будешь перебивать, я потеряю нить повествования! И всё развалится, разобьется, разлетится... Всё. Весь мой рассказ, вся жизнь. И ты ничего не узнаешь. Ничего! Обещаешь? Тогда я начну. Начну с молодой женщины. Она сидит на одном из своих любимых кресел на кухне, а может быть лежит на диване в гостиной, или все еще нежится в постели. Молодая женщина с бледным лицом и влажным полотенцем. Полотенце закрывает ее лоб. Зовут её Юлия. У нее прекрасная квартира, прекрасный муж и непрекращающаяся головная боль. Юлии опять нездоровиться, говорит муж друзьям, с которыми проводит редко выпадающие свободные выходные. И поясняет, извиняясь, отсутствие в их компании жены: «Мигрень замучила!»

В будние дни муж встает, когда Юлия еще спит. Быстро одевается, готовит на скорую руку завтрак, так же быстро поглощает его. И, когда он почти у двери, Юлия открывает глаза. Она тяжело вздыхает. И этот вздох, похожий на стон, напоминает мужу, что он должен подойти к ней и поцеловать. Если ее лоб покрыт полотенцем, он целует ее в нос или в правую щеку. После этого она снова закрывает глаза. А он бежит к двери. Ему надо успеть на семичасовый поезд.

Она открывает глаза, несколько минут задумчиво смотрит в потолок. Потом снимает полотенце со лба. Встает, одевается, моется. Переходит из комнаты в комнату, берет какие-то книги, какие-то вещи, бросив на них мимолетный взгляд, бросает их куда попало, и, сделав такой обход, останавливается, задумывается о чем-то, начинает новый обход в обратном направлении, иногда возвращая, а иногда нет, вещи и книги на свои места. Такой ритуал повторяется несколько раз в течение дня.

Вечером возвращается муж; она лежит на диване. Лоб ее опять покрыт мокрым полотенцем, а руки безжизненно лежат поверх одеяла. Ужин не приготовлен, в квартире все тот же беспорядок. Муж повторяет свои утренние действия, только в обратном порядке: целуют ее в левую щечку, потом облачается в пижаму и халат, опять готовит себе на скорую руку еду и уходит в спальню. Он читает в постели, пока не засыпает. Тогда она с трудом встает с дивана и перемещается на новое ложе, в спальню, и тихо засыпает рядом с мужем. На следующий день все повторяется с начала, в том же порядке.

О чем я говорила? Нет, не перебивай. Я вспомнила. Тот же распорядок дня, та же рутина. Ты же обещал не прерывать меня! Так не прерывай. Даже если я замолчу! Ведь ты обещал. И так, на чем мы остановились? Тот же порядок, та же рутина! Но бывали дни, когда порядок нарушался, рутина отменялась. Это я говорю. Почему? Потому что знаю, вот почему! Мы подходим к главному событию. Будь внимателен. И так, новое утро! Юлия открывает глаза. Мужа нет. Он ушел на работу. Юлия выпархивает из одеяла, как бабочка из кокона. Ее глаза блестят, светятся, сияют. Она надевает красивое платье. Настоящее красивое платье! Оно не похоже на тряпки, которые она носит каждый день. Она расчесывает волосы долго и старательно. Они становятся гладкими и мягкими, как мех лисицы. Потом она красит губы, придавая им таинственный блеск, наводит бежевый оттенок на щеки. Внимательно разглядывает себя в зеркале в ванной. Она меняет свою походку, любуясь собой, делает изящные движения перед зеркалом, и выходит из дома. Каблучки стучат по лестнице: цок, цок, цок. На улице, прямо возле ее дома, сидит маленькая горбатая старушка, похожая на собаку, которая примостилась рядом с ней. Она здесь всегда сидит. И всегда с ней собака. То ли мастифф, то ли бульдог. Когда Юлия проходит мимо, собака смотрит на нее настороженно и почему-то угрожающе. Каждого жильца эта собака встречает по-своему. Юлию — всегда настороженно и угрожающе.

Юлия подходит к автобусной остановке. Да, да, автобусной остановке. Нет, это не далеко от дома. Ты опять меня перебиваешь?! Меньше чем в одном квартале от дома. Там знак остановки. И она там стоит и ждет. И чувствует на себе чей-то взгляд. Испуганно оборачивается. Никого. Только старушка и ее собака. Она успокаивается. Может быть, это мастифф в меня влюбился, говорит она сама себе, вскакивая в подошедший автобус.

Через десять минут она оказывается на узкой улице, с домами, прилипшими друг к другу. Она останавливается перед одним из домов, звонит в колокольчик, бежит вверх по лестнице. Цок-цок, стучат ее высокие каблучки. Она поднимается на второй этаж, стучит в дверь. Кр-р-р, скрипит дверь. Она открывается. За ней мужчина. «Кх-х-х!» — откашливается она, показывая, что ей что-то мешает в горле.

«Стакан воды?» — спрашивает он хриплым голосом и, не дожидаясь ответа, наполняет не очень чистый стакан теплой водой из крана. Она пьет воду с жадностью. Он следит за ее глотками, потом наклоняется к ней, так что его губы на уровне ее губ. Он хочет ее поцеловать. Но она отворачивается. Его лицо не меняет выражения. Он не злится, а берет ее руку и начинает целовать ее пальцы один за другим. И тогда она свободной рукой тихонько отводит его губы от своих пальцев и подымает его голову вверх, даёт возможность поцеловать себя в шею и дотронуться губами до открытой части груди. Он берет ее на руки и уносит в спальню. Через час, все еще в постели, прижимаясь, друг к другу, они едят медового цвета конфеты.

— Причёска совсем разлохматилась, — говорит она.

— Да.

Она дотягивается рукой до куртки на полу и достает из нее небольшое зеркальце.

— Ох, вся краска размазалась. И на щеках, и на губах...

— Не беспокойся, — говорит он и дает ей конфету. — Попробуй. У них внутри настоящий мед!

Она заворачивает конфету в салфетку и кладет в карман куртки. В тот самый карман, где у нее лежат салфетки и кое-что еще.

Через десять минут она уже у автобусной остановки. А через двадцать минут она возле своего дома. Возле старушки и собаки. Собака вздрагивает, когда Юлия проходит мимо. Она рычит, вскакивает, но потом опять ложится. Старушка, молча, сонными глазами смотрит на Юлию. Её глаза, как пустой стакан, ничего не отражают.

Вернувшись в свою квартиру, Юлия переодевается в обычное домашнее тряпье: старое и выцветшее. И когда муж приходит домой, он видит обычную картину: Юлия на диване, мокрое полотенце на лбу, гримаса боли на лице, глаза полуоткрыты.

Он сочувственно вздыхает:

— Опять был плохой день? Бедняжка!

На следующее утро, оставшись одна, она достает из верхней полки шкафа большой пакет с конфетами. Она добавляет в пакет конфету от любовника. Потом перекладывает конфеты в маленькую коробку, собирая из них янтарный цветок. Вы знаете, что такое янтарь? Вы видели, как он светится изнутри, как будто внутри у него маленькое солнце? Она закрывает коробку, перевязывает ее лентой. Затем надевает платье. Хорошее платье, но не то, в котором она была вчера. Но тоже красивое. Очень красивое. И выходит на улицу.

Когда она проходит мимо мастиффа, тот вскакивает и замирает, пугая ее. Она быстро пробегает мимо. Собака смотрит ей вслед. И старуха, как и собака, провожает ее взглядом.

К остановке она подбегает одновременно с автобусом. И в спешке роняет коробку с конфетами. Золотистые шарики разлетаются по

земле. Она просит водителя подождать, пока она соберет конфеты, но водитель отрицательно машет головой, и Юлия вскакивает в автобус, оставляя на земле желто-золотистое пятно.

Любовник удивлен ее появлению.

— Я была уверена, что ты хочешь меня видеть, — бормочет она.

Он буквально толкает ее в спальню, но она сопротивляется:

— Не сейчас. Ты сердисься. Я должна сначала тебе объяснить.

Мы должны поговорить...

— Чепуха! Я хочу сейчас! Мы хотим друг друга! И этого достаточно! — обрывает он ее.

— Ты не понимаешь меня! — кричит она.

— Что ты знаешь о моей жизни? — он неожиданно начинает сжимать ее шею руками. И она вдруг замечает, что руки толстые.

— Я не боюсь! — кричит она.

И он расслабляет руки:

— Ты не знаешь меня!

— Я знаю тебя лучше теперь, чем несколько минут назад, — шепчет она. — Я увидела тебя с другой стороны.

— Ты не оставишь его ради меня?

— Нет.

— Тогда уходи! — он говорит эти слова тихо, но с такой жестокостью, что дрожь пробегает по ее телу.

Опустив голову, она выходит из квартиры. На улице тепло, но летняя жара не согревает ее. Дрожь не проходит. Она не замечает, как она заходит в автобус, как выходит из него. Она бы не заметила и старушки с собакой, но блестящая горка золотых конфет перед старухой и собакой заставляет ее остановиться. Кто-то принес их сюда с автобусной остановки и аккуратно сложил.

— Но кто?.. — вопрос повисает в воздухе.

Лапы собаки упираются ей в грудь.

— Танцуй с ним! — говорит старуха.

Юлия замирает, не зная, что делать.

Но старуха повторяет:

— Танцуй же! — и почему-то плачет.

Собака кладет передние лапы в руки Юлии. Юлия пытается оторвать эти лапы от себя, но не может: между её руками и лапами собаки клейкая масса. И не остается никакого выбора, кроме как следовать ее движениям. Они кружатся вместе: большая черная собака и девушка, в странном объятии.

— Достаточно, — говорит старуха устало.

Собака пытается оторваться от Юлии, но не может. Ее передние лапы приклеены к ее ладоням. В конце концов ей это удается, она отрывается и кряхтит, как старик. А Юлия падает на спину. Свободна.

Она подносит руки к лицу. Ладони покрыты медом. Ей хочется посмотреть, лежат ли конфеты по-прежнему перед старухой и собакой. Но она не решается повернуть голову. Встает, и, не поворачиваясь, идет к дому. Медленно поднимается по лестнице. С трудом открывает дверь.

Войдя, не переодевается, как обычно, а садится на стул. И смотрит в никуда. Так сидит она час. Потом встает и идет вниз. Идти вниз ей тяжело. Она едва переступает ногами. Она слышит медленные тяжелые шаги соседа. Она знает, что это сосед, она знает, что он живет ниже этажом. Но сегодня он почему-то поднимается вверх. Они не смогут разминуться. И она опускается на ступеньку. Ноги подкашиваются. Ей кажется, что она слышит голос. Кто-то спрашивает о ее здоровье.

— Барышня, вам плохо?

Сосед наклоняется над ней. Она видит его розовый нос, синие джинсы, совсем не подходящие его возрасту.

— Оставьте меня в покое! — плача, выкрикивает она. — Все!

Он стоит над ней несколько минут, а ей кажется, что проходит вечность. Сосед медленно спускается к себе. Она ждет, пока за ним закроется дверь. Потом делает попытку встать. Не получается. И она, как раненный зверь, ползет обратно в свою квартиру. Дома она языком слизывает слезы. Их соленый вкус напоминает ей о детстве.

Муж приходит домой значительно позже обычного времени. Он на нее странно смотрит.

— Нас выселяют, — говорит он.

Юлия смотрит на него, ничего не понимая. Его слова не доходят до нее.

— Ассоциация арендаторов сегодня объявила, что мы должны выселиться, — объясняет он. — Если сами не съедем, нас выселят. Силой!

— Почему? — она не спрашивает, она знает, почему ее хотят выселить.

— Они говорят, что...

— Это все из-за конфет, — она прячет голову между подушкой и диваном.

— Каких конфет? Причем здесь конфеты?

— Проверь лапы собаки. Они смазаны медом!

— Дорогая, о чем ты?!

— Старуха и собака, я говорю про них. Они хотят меня убить! Они хотят, чтобы я умерла! Им нужны мои конфеты с медом!

— О чем ты говоришь? Что за бессмыслица?!

— Оставь меня в покое! Оставьте меня все!

— Это бессмыслица, бессмыслица... — бормочет он и неожиданно замечает: — Знаешь, они сказали, что я могу остаться, а ты должна уйти! Я сказал им, что это незаконно! Мы будем бороться!

— Я не буду здесь долго жить. Я перееду.

— Ты имеешь в виду, нам надо переехать? Мы переедем вместе.

Она безразлично махнула рукой.

— Куда ты пойдешь? — спросил он. — Одна?

Она снова безразлично машет рукой. Он приносит мокрое полотенце. Нагибается над ней, пытается отодвинуть подушку, чтобы поцеловать ее. Внезапно он резко выпрямляется.

— Что это? — кричит он, отпрыгивая от дивана и начиная скакать по комнате. Потом замирает.

— Мм-мм?

— Я думал, что я что-то видел, — объясняет он свои прыжки.

— Тень на стене?

— Точно не знаю. Как будто увидел свой детский сон.

— Мне трудно в это поверить. У тебя был сон?

— Странный сон. В котором живут горбатая старуха, ее собака, молодая женщина и ее любовник.

— А я в нем была?

— Угадай.

— Я была молодой женщиной? Да? — она приподнимается, опираясь на локти. Кожа ее, то белеет, то розовеет. — Когда же это кончится?

— Это так просто не кончится...

— Почему ты идешь к двери?

— Для того чтобы показать, как это закончилось.

— Для того, что бы показать мне на дверь?

— Возможно.

— Ты хочешь проучить меня?

— Возможно.

— А что делать, если невозможно, если мне это не нравится.

— Твое дело.

У него в руках вдруг появляется чемодан. Он чуть наклоняется и ставит его у дверей.

— Здесь твои вещи.

— Нет, не может быть! Упаковка всегда была моим делом.

— Три платья, две пары брюк, две пары обуви, зубная щетка. Все, что тебе нужно, — говорит он безразличным голосом, как офисный клерк. — И три комплекта нижнего белья.

— Да, — говорит она, заглядывая в открытую пасть чемодана. — Но я кроме желтизны ничего не вижу. Желто-оранжевый цвет. Мёд.

— Я пытался найти соответствующие цвета.

— Это ты! — кричит она и пытается бросить в него чемодан. Бросает, но не попадает. — Это ты все это подстроил! Чтобы избавиться от меня! Этот мёд, всё это сумасшествие! Ты хочешь избавиться от меня?

— О, нет, дорогая, нет! — он обнимает Юлию, поднимает ее и покрывает ее лицо поцелуями. — Ты знаешь, что это не так. Ты знаешь, как я люблю тебя. Я без тебя жить не могу!

Он толкает ногой чемодан в дальний угол комнаты. Потом нежно опускает жену на диван и кладет мокрое полотенце ей на лоб...

— Мы будем продолжать жить, как всегда, дорогая, — шепчет он. Он счастлив.

Потом, как всегда, он уходит в спальню.

Через несколько минут он засыпает, и его левая щека уютно прилипает к вязкому, медового цвета веществу, которое тонким слоем покрывает его сторону подушки.

Но что насчет собаки, старухи и любовника? Что это было? Сон, кошмар, видение? Уловка со стороны мужа? Не знаю! Я знаю только, что Юлия и ее муж остались вместе. В той же самой квартире на верхнем этаже, в течение многих лет. И это намного больше, чем я могу сказать о нас с тобой.

Перевод с англ. Марата Баскина

Эльвира ПОЗДНЯЯ

/ Вильнюс /



ОБМАНУТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

А мы —
из второго тысячелетья.
Мы —
из потерянной в прошлом страны.
Кто-то из наших хлебнул
лихолетья,
а кто-то их сплюнул,
но всё это — мы.
Детство прошло в лагерях пионеров.
Мы и не знали, что есть Соловки.
Мы на «народа врагов-изуверов»
в грозных речах
извергали плевки.
Мы и не знали,
как жуткие ночи
их навсегда уводили т у д а.
Ох, как хотелось,
хотелось им очень
этот кошмар прекратить
навсегда...
Бойня с фашизмом...
кровавая пена...
Мы и не знали,
что может быть так —
наших любимых из вражьего плена
Родина щедро швыряла
в ГУЛАГ.
С детского сада
и с первого класса
твёрдо мы знали, кто наш рулевой.

Мы и не знали, мы —
серая масса,
путь нам указывал серый конвой.
А ностальгия?..
Да как же иначе?
Наши глаза не скрывают печаль.
Разве сейчас мы о Родине плачем?
Нет... просто...
молодость нашу
нам жаль...

ЗА ЧТО?

Как пустой конверт
невозвратна
я —
не начертан адресный путь.
И вина, «за что?» —
непонятная,
ляжет камнем и давит
грудь.
Дай же, Господи,
откровенья мне —
в чём вина моя,
не пойму.
Что я,
русская,
на чужой земле,
неприкаянная, живу?
Только в снах моих,
не развенчанных,
там,
где Русь рождает исток,
мне,
как девочке недоверчивой,
улыбнётся
Дальний
Восток...

ВОРОТА ВИЛЬНО

N. S.

Где высота раскинулась
валяжной госпожой,
живёт художник — явный небожитель.

От Аушрос ворот тоскующей душой
протягивает Богу золотые нити.

А чтобы нити над столицей
не пролились морем слёз,
их сторожит
им нарисованный
огромный
добрый
пёс.

Когда же гаснет день и вечер оживает,
с двенадцатых высот пёс зорко наблюдает,
как будоражит тишину молчание свечей...
Поэтому ворота — без ключей...

* * *

Двери твои
для меня приоткрыты чуть-чуть.
Не говори,
что гнетёт одиночество — дрянь.
Просто, подумай
и выбери правильный путь,
и
оплати за свои прегрешения
дань.

Время безжалостно
и
неподвластно годам.
Редкие встречи,
и в них
самого тебя чуть.
Я ведь по женской рассеянности
навсегда
вдруг позабуду
оставить под ковриком
ключ...

* * *

Весна,
зимовье вороша,
захлёбывается азами...

Передо мной —
твоя душа
с большими детскими
глазами,
распахнутыми на весну,
способными объять
всё сразу...
И я
безропотно тону
в её глазах,
теряя
разум...

ПЛЮС... ПО ЦЕЛЬСИЮ

Гонит август южный ветер,
и безжалостно на плечи —
боль разлук.
Жёлтый лист покинул стаю,
от жаровни улетаю...
Всё — из рук...
Таёт день, и нет предела.
Бесконечность погустела.
Ночь — в окне.
Неизвестный небом правит.
Где-то дождичек лукавит.
Как во сне
босиком по кромке моря
я бреду, с тобою споря,
всё — к тебе...
всё — к тебе...

Лолита СОЙФЕР

/ Рига /



ПЕЧАЛЬ

Сегодня ты печален,
 как дождь ночной.
Как сотни канделябров
без свеч.
Не поводи плечами,
когда со мной,
когда и так я зябну,
словно меч
без ножен,
 от боли.
Так и не пойму,
кто мы друг другу.
За твоей спиной
не крылья ночи, что ли,
 взмыли,
 прилетев за мной,
и нагоняют вьюгу?

СОН

Приснилось мне,
что полосы
 мгновений
заплетались в косы,
как нежные ручки
внезапных откровений.
Приснилось мне,
что наши волосы
смешались в тишине.
И были мы ничьи.

Что в нас двоих
не различить и не понять границы,
и нет мне жизни без твоих
волос.
Что бешено качались ели
и задыхаясь пели
птицы.

СНЕГ

Всё забирает снег
с собой.
И смех,
и боль,
и вой бессмысленный
внезапной вьюги.
Всё забирает снег.
Так мягко, без натуги
он властвует в миру
отчаянном и белом.
Всё замечает между делом.
(А может, ждёт, что я умру?)
Как будто нежною рукой
он машет,
нам прощая тихо
розни наши,
мне — и тебе,
и утвердив покой
морозный,
всех
молчаливый снег
старается обнять.
А жизнь, как олениха,
застыла на тропе —
и странно смотрит вспять.

* * *

Мимо меня пролетели,
крылом махнув напоследок.
Не узнали меня.
Потому что
это не я,
лишь слепок
среди обожанья потухших цветов
и сорванных веток
сомнений, среди
звёзд увядших, вырванных из контекста,

и невидимых слёз
 белых бабочек,
умирающих вдоль пути,
не достигших тени.
И падают ласточки,
их не спасти.
Потому что они улететь не успели.

* * *

Не надо никого любить
и взглядом трогать исподлобья.
А по ночам
вторгаться мыслью в изголовье
и припадать к плечам
надменной пустоты.

Не надо никого любить. А ты,
кто ты в моём раскладе?
Твой след почти неразличим.
И ангел снов склоняется над ним
с жестокой кротостью во взгляде.

* * *

В осеннем хаосе,
словно в старинном доме,
среди эха произнесённых слов,
 в истоме
путей,
потерянных под листопадом,
напоминающим танцующих детей,
в изнеможенье снов,
 под взглядом
нежной тишины,
мелькнувшей из окна кареты,
в промокших закоулках дня,
который кажется почти родным,
разбросаны волшебные приметы
для меня.
А я, упрямая, не верю им.

* * *

Сегодня дождь идёт. И пусть.
А я учусь
 писать тебя и осень —
слитно.
 Я поняла:

все беззащитны
в равной мере.
Особенно когда открыты двери
и в темноте не различает глаз,
и ждёшь бог весть каких проказ
от этой синева за шторой,
в которой
нет тебя,
но как и эти строки,
очертания твои,
сплетаясь с листопадом,
торжественно и медленно парят
над безутешным садом,
стекая мне на щёки
внезапным обещанием любви.

МАРТ

Вдруг стало так светло!
И холодно. И снегу намело.
Лежит, не тает.
И ангелы как ласточки летают
так близко от земли,
как будто нас предупреждают
о том, чего и знать мы не могли...

* * *

А мы живём,
мы дышим, дорогая.
И бровь изогнута,
и новая любовь
сквозь окна смотрит не мигая,
хоть стёкла и покрыты льдом.

А мы живём,
и мир благодарим мы
за вешний смех,
который уж затих,
за новый стих,
за небанальность рифмы.
За звёзды в глубине стекла.
И за полёт,
что озорной вершит Пегас,
лишь кончиком крыла
касясь нас.

Павел ГУДАНЕЦ / АСТРОВ /

/ Рига /



ВЫБОР

Однажды в зеркале ответит мне старик.
Он улыбнётся грустно и лукаво
и облик мой — каким лекалом
измерит, словно черновик?

Я — глина в жарких пальцах времени. Сейчас
итог всей выплавки и не представлю —
какой из миллионов Павлов
к нему придёт? Какой из нас?

* * *

Смычком, смычком! — из оркестровой ямы
в запале радостно хлестнуть.
Перелистнуть по праву Вальсингама
заученное наизусть.

Ты, деликатный, это чувство знаешь:
тьму отражающий рояль
и совершенство белоснежных клавиш
отмолотить ничуть не жаль.

Да будет лязг! Он высвободит ноты,
в колоннах нагнетая хруст,
и впустит в храм, торжественно дремотный,
шкодливого щенка искусств.

Скрипичный ключ зажечь как факел ночью,
в канун кромешной глухоты.
А ты молчишь и крикнуть что-то хочешь.
И звук извлечь не можешь ты.

МНОГОТОЧЬЕ

свобода человека —
лишь проявление фатума.
на языке молекул
мы говорим об атомах.
а пустота бормочет,
полна подсказок,
и ставит многоточье
оживших масок.

* * *

Где радуги сплетаются, как змеи,
Изнемогая и хмелея
От яда солнечных оков,

Душистый мрак шьет паутину
Волшебных мировых основ,

Найдешь меня, найдешь меня ты там.

Где горькая пыльца молитв — пылает,
Тропинки рая устлая
Многоголосой пеленой,

Блуждают люди — полульдины,
Мечтая обрести покой,

Найдешь меня, найдешь меня ты там.

Где фениксы прекрасны и безумны,
Целуют стынувший Везувий,
Огнем навек опьянены,

Надежды, сочные маслины,
Врастают косточками в сны,

Найдешь меня, найдешь меня ты там.

Где небо обретают водопады
И миг становится громадным,
Законы обращая вспять,

Все женщины и все мужчины
Родились, чтобы танцевать,

Найдешь меня, найдешь меня ты там.

САД

То ли взят в перекрестие, то ли распят,
и в прицеле мелькают багровые сны.
Все дороги ведут в нерасстрелянный сад,
где могилы не вырыты, но учтены.

Там калитка — ровесница казней и смут,
а за ней, на развалинах света,
утро песен заветных

и новый приют.

И вокруг невесомые груши цветут
на прогнувшихся ветках.

ТЬМАЯКИ

Океан глухонемой
сам не знает, что глубок.
Тьму невидимой рукой
перемешивает бог.

Опрокинув облака
в тонущую белизну,
светлая тень маяка
брюхом ползает по дну.

Океанский монолит
наблюдая на просвет,
ночь нелепицу плодит —
то, чего в помине нет.

Тьма возводит маяки.
Воды памяти горят.
То, что зрело — вопреки,
расцветёт — благодаря.

И вокруг — ни нас, ни зги,
но всё шире и ясней
по воде идут круги
от невидимых ступней.

ДЕТСТВО

Янтарный, чистый, сладкий свет.
Вокруг, искрясь, танцует утро, —

Незабываемый момент! —
Сплетаясь в утренние фрукты,

В обилие пузатых ваз,
Салатниц, соусниц, салфеток, —
Воистину здесь всё для нас! —
Здесь размножаются конфеты,

Всё ходят по столу, творя.
Идут направо — песнь заводят,
Налево — сказку говорят...
Их ем я, и во всей природе,

Во всей отчаянной судьбе
Уж торжествует сладость детства!
Живой травой колыбель —
Цветёт, густеет и смеётся.

* * *

«Спасаясь сигаретами от грусти...»

Елена Асенчик

Орех он пережевывает грецкий
и наливает клюквенный компот.
Его тарашит, плющит не по-детски...
А он спиртное, как назло, не пьёт.

Не пристрастился даже к никотину.
Когда близка последняя черта,
пирожные флотилией картинно
плывут в распахнутую гавань рта.

Ах, если бы дымил он паровозом!
Ах, если бы в три горла наливал!
То спился бы до самого цирроза,
скурился бы, конечно, наповал.

Спасаясь чем попало от печали,
он смотрит через форточку во двор.
Тоску заест харчами-куличами,
чтоб не заела первая его.

П.И.ФИЛИМОНОВ

/ Таллинн /



АВГУСТИН

Мне на плечо опустился журавль
и ну тереть про синицу
я думаю что он может быть и прав
и мне пора остепениться
я тут смотрел на себя в монитор
когда мне было тридцать восемь
прошло два года и ничо ваще не торт
кругом рейтузы и осень
а на плече моём свернулась змея
и ну кусаться обидно
во все концы здесь лежит моя земля
и границ ей не видно
здесь очень разные цветы среди равнин
здесь полдень вязок и вечен
и ты зови меня блаженный августин
за мои хрупкие плечи
а на плечо моё залез таракан
и так зараза топочет
я предложил бы ему водки стакан
но он в завязке не хочет
ну что ж опять придётся пить одному
дурное дело привычка
мне алкоголь добавляет уму
он мой фейсбучный подсничник
и на плече моём кого уж только нет
у них там пиду и пати
а мне пора приготовить обед
да и пойти почивати
и в этот краткий сладкий час дневного сна
пока я буду в отключке
вокруг меня будет блаженная весна
и сексуальные брючки

* * *

Девушка, решившая прожить как чайлд-фри,
ходит за бухлом только лишь в дьюти-фри,
дегустирует макнаггетсы с картошечкой «фри»,
ну и иногда ещё поёт в караоке.
Свобода — это то, о чём орут снегири,
это когда скажешь: «Горшочек, вари!»
Когда можно, вроде, взять, а ты не бери.
Ну и перспектива умирать одиноким.
А ты теперь стала ресторанным гуру,
а я всё так же тупенько играю в игру
и понимаю только, оклемавшись к утру,
что автобуса нет и уже не будет.
Тот, кто до меня ехал в лифте, очевидно, пьёт лак.
И вроде светит солнце, а всё такой же дубак.
И это всё конечно исключительно так,
потому что мы взрослые трезвые люди.
А то, что лишь недавно звучало как план,
теперь звучит, как то, что поёт Дан Балан.
Вот, может, и воздалось нам по нашим делам —
мы дёргали по нитке, распустились рубашки.
Поэтому без разницы, с какой встал груди,
зелёный или красный человечек впереди.
Под мерное «тик-так» ты наливай и ходи —
продолжим наши прерванные пьяные шашки.

ЛЕТНЕЕ КИТАЙСКОЕ

Дура, открой же глаза, сегодня ведь день водопоя
выбери, что надевать — и нас ждёт большая река
наше с тобой кино — какое-то, блин, бесконечно тупое
лучше лежать и смотреть на звёздочки из гамака

дура, не будь как все, не читай, я прошу, Кастанеду
что тебе может сказать навсегда упоровшийся дон?
а если прям сильно хотеть, я точно возьму и уеду
или хотя бы умышленно спрячусь за каменный дом

дура, не стоит жалеть — их будут ещё миллиарды —
праздников, вздохов и пальм, нужно лишь выучить код
так наводи марафет, надевай же свои леопарды,
а я подожду пока здесь, среди вилланелей и од

дура, какая там жизнь? нет никакой такой жизни —
так, трепыхание тел, обоняние, звуки синкоп
я много раз слышал, что нас изучают гигантские слизни —
так выпрямим средние пальцы и засунем их им в мелкоскоп

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Вот и следующий трамвай
холодный и старый как моё сердце
хорошее начало для стихотворения
подумал я
и тут же начал
второй день подряд не отпускают
тяжёлые лёгкие
перед глазами шоколадная фольга
снятся слепленные из разных кусков гомункулусы
из бывших людей
который год подряд
не отпускает двойственность
общения наружу
и разговоров внутри
пярнуский туман добрался до Таллинна
чудеса регенерации пока недоступны
скорость воспламенения прямо пропорциональна

ПУЛКВЕЖА БРИЕЖА¹

все убивают всех
пятеро выживших какое-то время предаются морализаторству
а потом снова берутся за свои мачете
благородный десперадо из ниоткуда
убивает главного злодея только лишь для того
чтобы расправиться с героем самому
не трогай Джавдета
бравый полицейский мочит преступника
и на всякий случай добывает жертву
все раздражают всех
одиночек раздражают пары
вот что она ходит за ним
как привязанная
как будто без него не справится
с этими резиновыми помидорами
пары раздражаются при виде одиночек

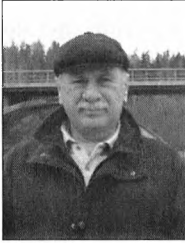
¹ Название улицы в Риге.

посмотри на этого лысого жирного
жрёт как свинья
всю скатерть изгваздал
потому с ним и не сел никто
все видят друг в друге своё прошлое
или — ещё страшнее — своё будущее
когда-нибудь всё переменится
все поменяются местами
потом снова наоборот
и снова
живые хотят стать мёртвыми
мёртвые мечтают стать живыми
Моника из гостиницы «Моника»
пожелала мне доброго утра
тоже ведь рекурсия
хотя кажется она даже серьёзно
хотела чтобы моё утро было добрым
ну а как ещё

РОМАНСЕРО

я влюбилась в Спиди Гонсалеса
мы валялись на куче физалиса
и мы были не тем, чем казались
и нам было по семьдесят два
он меня отлюбил — и уматывал
остывала я в комнате матовой
и ругала его перематами
ведь пропала моя голова
ох ты мой скоростной мексикашечка
твоя яркая светит рубашечка
на плече твоём то ли букашечка
то ли буквица, словом — тату
ох какие ты корки отмачивал
как по памяти шпарил ты Пратчетта
а жену, говорят, поколачивал
я слыхала, я это учту
я влюбилась в глаза твои глиняны
в твои волосы набриолиненны
как жерло по-над старшим над Плинием
поглотил меня страшный амор
забываю я химию с физикой
когда с тихой усмешкою шизика
подъезжает он близенько-близенько
и волнительно глушит мотор

я неспешно жила, тлѣй-улитую
пусть зато не бывала я битую
но подавилась я та́кой-бурритою
как завидела глаз этих блеск
не поспеть за моим мексикашечкой
за его ярко-красной рубашечкой
но упорно ползу черепашечкой
парадоксом твоим, Ахиллес
ты летишь золотыми парсеками
ты торгуешь вразнос человеками
под моими ж кровавыми веками
притаился другой вариант
тише едешь — прекрасней ландшафтики
на ребро вы монету поставьте-ка
отвлекись от своей астронавтики
я — итог, я — финал, я — пуант



Виктор РУМЯНЦЕВ

/ Рига /

СТАРОСТЬ

Во дворе прямо перед подъездом еще когда-то давным-давно на одном из очередных ленинских субботников жильцы дома сделали скамейку буквой «П», словно предвидя, что когда-то очень нескоро она им понадобится. Скамейку по мере сил и средств ремонтировали и она более тридцати лет служила людям верой и правдой, встречая, а потом провожая в последний путь очередного старика, «афганца» или ещё кого-нибудь, увидевшего небо в последний раз в своей жизни в одной из многочисленных горячих точек.

День выдался по летнему жаркий и сегодня старики начали собираться во дворе поближе к вечеру, когда предвечерний ветерок принёс так ожидаемую прохладу.

Гаврилыч вышел самым первым и уселся точно на своём месте. Каждый старик или старушка имели своё строго отведённое место в соответствии с личными габаритами и возрастом.

— Ох-хо-хо! — Гаврилыч тяжело вздохнул, полез было по привычке в карман за куревом, но вспомнил, что не курит по настоянию врачей уже четвёртый год и снова вздохнул: — Ох-хо-хо...

— Чего развздыхался, Гаврилович? — заняла своё место Никитична — бойкая и вертлявая не по годам женщина.

— Да вот... Так вот и живём... — Гаврилычу всегда трудно было начинать беседу.

— Ну и живём, чего ж плохого? Пенсию домой приносят — на хлеб хватает, да и не только на хлеб. В транспорте, опять же, бесплатно!

— Так ведь потому и бесплатно, что пенсию домой приносят, — неожиданно скаламбурил Гаврилыч, — старость ведь наступила, вот и приносят домой, думают, что до почты не дошкандыбаем.

— Да ну тебя, ей-Богу! — всплеснула руками Никитична, — Со всем не поэтому, а для того, чтобы какой-нибудь отморозок её у тебя не отобрал, когда понесёшь с почты домой.

— Так ведь и дома-то не факт! Не факт! — загорячился Гаврилыч, — Я вон давеча пенсию получил, а назавтра пришли две дамочки из собеса и сказали, что реформа денежная очень скоро будет. Сказали, что если деньги до пятницы поменять, то будет один к одному, а если с понедельника, то пеня большая вылезет!

— Ну? — насторожилась Никитична.

— Что «ну»? Ну я и отдал. Всё чин по чину — квитанция, роспись, а они уже третью неделю не несут. Я уж и не знаю...

— Ну ты и пень трухлявый! — всплеснула ладошками Никитична, — так ведь это аферистки были! Гаврилыч, ну сколько раз тебя учить? И как ты всё это время?

— Да как... То Михайловна супчику даст, то Танюша котлетку принесёт... Я ничего, я нормально.

— И что бы ты без соседей делал? А дети твои что? Когда в последний раз приезжали?

— Так ведь время у них нет. Работают шибко. Вот в запрошлый год и приезжали.

— «В запрошлый го-од»! — передразнила Никитична, — у них с запрошлого года уже два отпуска было, уж могли бы навестить бабушку, тут езды-то два часа на электричке да двадцать минут на маршрутке!

Гаврилыч понурил голову. Что правда, то правда — не спешили к нему дети и внуков не везли. Как сыновья переженились, так и закончились совместные походы на близкую речку с удочками и посиделки на кухне под бутылочку красненького, да под душистую сигаретку. Не любят его невестки, а за что — непонятно.

К скамейке, тяжело дыша и грузно опираясь на палочку, подошла Сергеевна:

— Мир вам, «молодёжь»!

— Вот и я говорю — молодёжь! — дробно засмеялась Никитична, — а Гаврилыч всё про старость да про старость.

— Да я что? Я ничего, — слабо запротестовал Гаврилыч, — мне ещё куда ни шло, а вон Сергеевне с её диабетом совсем худо!

— Худо, Гаврилыч! — Сергеевна уселась на своё место, — Плохо мне днём было, думала уже скорую вызывать.

— Ты бы лучше Михайловне или Васильевне позвонила сначала! Они же медики! — посоветовала Никитична.

— Они пенсионеры, а не медики! — возразила Сергеевна, — да и зачем их тревожить? И так каждый день кто-нибудь приходит проверить — не оочурилась ли? Вы уж тут мне не дайте залежаться, если что. А то потом не выветрите!

— Да типун тебе на язык! — в сердцах сплонула невесть откуда взявшаяся Петровна.

— Так ведь старость не обманешь! — на глазах у Сергеевны наворачнулись слёзы.

— Грех тебе причитать! Твоя дочь за речкой живёт, каждую неделю навевается, а ты тут... — Никитична даже подпрыгнула от негодования.

— Ну да, раз в неделю. Я же шесть дней не пролежу, если прямо на следующий помру, — Сергеевна тоже заволновалась, — имейте все в виду — я следующая на очереди.

Гаврилыч не вступал в беседу, но для себя решил, что следующим будет он. Беспощадно болела спина, кружилась голова и временами провалы в памяти достигали ужасающих размеров. Иногда он даже не мог вспомнить имена сыновей, не говоря уже о невестках.

Палыч, как всегда, подошёл чуть ли не строевым шагом, улыбаясь во весь жёлто-железный рот:

— Привет красавицам и к ним примкнувшим! — заорал он жизнерадостно, намекая на Гаврилыча. В свои семьдесят два Палыч выглядел молодцом — высокий, в меру стройный мужик. Губило его одно — почти кромешная глухота. По этой причине часто возникали ссоры с соседями, требующими приглушить звук телевизора. В остальном Палыч был душой стариковской дружины, заводилой и организатором всяческих застолий и других мероприятий. Впрочем, застолий с каждым годом становилось всё меньше, а мероприятий всё больше. Молодежь подъезда никак не соглашалась, к примеру, разбить новую клумбу или покрасить скамейку, или засыпать яму во дворе, через которую во время дождя невозможно было перебраться.

— О чём молчим? — Палыч приложил ладошку к уху, хоть на нём висел слуховой аппарат.

— Да вот о старости говорим! — прокричала Петровна ему в ухо.

— Зачем староста? Мы тут и так хорошо, на равных паях, — вытаращил Палыч глаза.

— Да ну тебя в качель! — вполголоса проговорила Петровна.

— Зачем качели? — неожиданно услышал Палыч, — карусельку — и ту сберечь не смогли, а тут качели!

— О старости у нас разговор! О старости! — помог ему Гаврилыч.

— А что о ней говорить? Это естественно. Старость — она сначала есть, а потом бац — и нету! — первым заржал над своей шуткой Палыч.

На скамейке заулыбались.

— Да уж, — Сергеевна вытерла слезинку, — старость не обманешь и куда от неё не денешься.

— Уж если заговорила про такое, то и деться могла запросто — молодой бы померла и никакой тебе старости! — брякнула, не подумав, Никитична.

— Да пропади ты пропадом! — задохнулась от возмущения Петровна, — Господь нам всем жизнь долгую подарил.

— Зачем тогда и болячки Господь твой нам дал? — безбожница Никитична немедленно села на любимый конёк. Уж очень она любила доказывать всем, что Бога нет.

— Господь не мой, Господь — всех. А болячки по заслугам, — спокойно парировала Петровна.

— Чёй-то Сергеевна уж какая праведница была, а вон как её диабет скрутил! А я всю жизнь атеисткой была и гляди, какая я вёрткая вся! — подбоченилась Никитична.

— Каждому своё... Сергеевна, может, даже в рай попадёт, а тебя черты сызмальства заприметили, вот и вёрткая ты по жизни. И в аду на сковородке вертеться будешь, да не отвертись! — строго поджала губы Петровна.

— А ты... Да я... О, Михайловна, добрый вечер! — Никитична искренне обрадовалась смене темы.

— Добрый вечер! — Михайловна поставила сумки и присела на своё место, — завтра сынки приезжают, надо поесть приготовить, так что долго с вами не засижусь.

— Ой, Михайловна, будто я ваш холодильник не видела — там яблоку негде упасть, а вы всё носите и носите! — появилась в дверях подъезда Татьяна, женщина лет пятидесяти, но большая любительница посидеть вместе со всеми на скамейке. На правах соседки она часто навещала Михайловну и знала о чём говорит.

— Так ведь свеженьким хочется побаловать! — Михайловна счастливо улыбнулась, — Здоровые они у меня, аппетиты прямо зверские!

— Это верно — здоровые и весёлые, — подтвердила Сергеевна, — и внуки к тебе частенько навешиваются. Завидую я тебе, Михайловна, белой завистью! А мы тут о старости говорим.

— Да-а. Старость... — Михайловна засмурнилась было, но тут же опять повеселела, — вчера про академика Павлова передачу смотрела, так он говорил, что старость — это такая гадость, когда волосы растут там, где не надо, а выпадают там, где надо!

Скамейка засмеялась: Гаврилыч — взахлёб, Сергеевна — с одышкой, Петровна — скромненько, Никитична — визгливо, Татьяна просто захохотала, а Палыч, подумав, что смеются над ним, внезапно обиделся.

— Да не над тобой! — зная обидчивый характер Палыча, кричала ему в ухо Никитична, — Старость, когда ненужные волосы растут, а нужные выпадают!

— Где это у меня ненужные волосы растут? А ты сама-то видела? — вконец рассердился Палыч.

— Да ну тебя! — Никитична тоже рассердилась и отвернулась.

— Где у меня растут ненужные волосы? Я тебя спрашиваю — где? — Палыч понял, что смеются не над ним, повеселел и решил перевести всё в шутку.

— На бороде!

— А я думаю, что старость — это самое счастливое время в жизни — время очищения, — Петровна мелко перекрестилась.

— Старость — это когда дети тебя не забывают, — грустно произнёс Гаврилыч.

— Старость — это когда тебя дети не забывают и ждут, когда ты окочуришься, что бы занять жилплощадь! — Никитична, как всегда, была в своём злобно-агрессивном репертуаре.

— Карга ты старая! Всё бы тебе гадости говорить! — Сергеевна заплакала.

— Ну, Никитична, вы и вправду базар-то просеивайте! — у Татьяны сын уже в третий раз сел в тюрьму и она немного владела «феней».

— Да ладно вам! И пошутить нельзя! — Никитична посмотрела на Палыча и опять заорала ему в ухо:

— Палыч! Что такое, по-твоему, старость?!

Палыч задумался и, помолчав немного, изрёк:

— Старость — это когда ты уже не оборачиваешься вслед красивой женщине! А я оборачиваюсь! Значит, я не старый!

— Да ты у нас хоть куда! — Петровна строго на него посмотрела, — и в молодости ни одной юбки не пропустила, как же! Старый ты пень! Небось, из-за маразма своего уж и не помнишь, зачем оборачиваешься-то?

Как ни странно, но Палыч услышал почти всё и ответил с достоинством:

— Верно говоришь, Петровна, кобель я был знатный! Да и сейчас, наверное смог бы, но юбок-то почти не осталось, всё в джинсы влезть норовят, а много ли так рассмотришь? — было видно, что Палыча вопрос юбок волновал до сих пор.

— Старость — это когда ты с каждым днём всё ближе и ближе к Богу, — вернулась к теме Петровна.

— Петровна, так ведь Человек, как только родится, сразу начинает в календаре крестики ставить — сколько ему осталось до этой самой встречи, — робко возразила Татьяна.

— Верно говоришь, Танюша, только Человек ни в детстве, ни в юности об этом не задумывается. Это к нему приходит позже. Гораздо позже! — и Петровна опять перекрестилась.

— Старость — это когда у тебя уже очень большие дети и взрослые внуки и даже правнуки и эта старость счастливая, когда, — Михайловна строго посмотрела на Никитичну, — все приезжают навесить маму или бабушку просто потому, что они её любят!

Начал накрапывать дождь.

Первой, тяжело опираясь на палочку, со скамейки поднялась Сергеевна.

Гаврилыч и Татьяна, забрав у Михайловны сумки, пошли в подъезд, а она засеменила следом, беспомощно прижав к груди не занятые ношей руки.

Петровна подняла умиротворённое лицо в дождливое небо и трижды перекрестилась.

На скамейке остались только Палыч да Никитична.

— Ну что, старый архар, по домам?

— Да, по домам, кошёлка ты старая...

МИША ГОЗМАН

Мы, штурмана плавбазы «Алексей Поздняков», стоящей уже несколько месяцев в порту Рига в ожидании выхода на ремонт за границу, даже не могли себе представить, какое испытание предстоит нам выдержать в скором времени! Жизнь наша текла неторопливо, от вахты к вахте, монотонность её изредка прерывалась проверками портовыми властями или нашими конторскими инспекторами. В эти дни мы слегка «вставляли на уши», носились по многочисленным палубам и помещениям плавбазы, а потом (после окончания проверок) устраняли замечания, отмеченные в непременно составленных актах, постепенно успокаиваясь и приводя свои нервные клетки в обычное разгильдяйско-настороженное состояние.

Морозное февральское утро полыхало розовым солнцем на почти безоблачном небе и день обещал состояться безмятежным, хоть и ветреным, судя по морским приметам. Я вдыхал свежий воздух, стоя на крыле мостика и мечтая о морских просторах во-первых, и о собственной кооперативной квартире во-вторых.

Мои мечты прервал второй штурман Карпухин, возникший на крыле «аки тать в ночи»:

— Румянцев, беда! У нас новый капитан!

Ха! Новый капитан... Надо сказать, что за четыре месяца моей жизни на «Позднякове» как раз и сменилось ровно четыре капитана — по одному в месяц. В связи с этим сердце моё не ёкнуло, душа не повалилась в пятки, и настроение совсем не испортилось:

— И что? Пережили разруху, переживём и изобилие! — мне показалось, что я сострил.

Вовка посмотрел на меня с сожалением, махнул рукой и пошёл в рубку заваривать кофе. Немного постояв, я присоединился к нему. Кофе пили молча.

Раздалось три звонка — так вахтенный матрос у трапа сообщал о прибытии на борт капитана. Карпухин с сожалением поставил на столик недопитую чашку:

— Ладно, пошёл докладывать. Прости, если что не так! — Наверное и ему показалось, что он сострил.

В тринадцать ноль-ноль было объявлено о сборе в капитанском салоне для всего штурманского состава. Очень некстати — сегодня как раз была моя очередь идти в «Стол заказов» за коньяком «Белый аист», шоколадкой и баночкой шпротного паштета. Да, да... В магазине такую роскошь купить в те времена было непросто, а вот заказать себе бутылочку в «Столе заказов» с обязательным условием — не менее трёх наименований за заказ и переплатить за всё по сравнению с магазинными ценами на полтора рубля больше — это был, наш, если хотите, штурманско-гусарский почерк. Ну в самом деле, не идти же на «малую землю» за пивом! Так мы называли «стекляшку» недалеко от

проходной, где круглосуточно торговали полуразведённым пивом. На этой «малой земле» можно было залечь и на несколько дней, а такое залегание претило нашим романтическим натурам по определению. «Стол заказов» не требовал таких больших временных затрат, а обошёлся всего лишь одним часом с момента заказа — пришёл, например в двенадцать часов, сделал заказ, а через час продавщица снимает с витрины все три требуемых продукта. До сих пор не могу понять, зачем выдерживался этот часовой интервал? Для нагуливания аппетита, что ли?

В назначенное время мы, четверо штурманов, прибыли в салон капитана.

— Газгешите представиться — вновь назначенный капитан Гоз Михаил Ильич! — нам навстречу поднялся старичок небольшого роста в засаленом капитанском кителе, несвежей рубашке и таком же несвежем галстуке. Щёки его были покрыты красными склеротическими узелками, огромный унылый сизоватого оттенка нос навис над верхней губой, подчёркивая некрасивость лица. — Да, да, я буду с вами габотать, вегнее, вы будете габотать под моим гуководством, а я буду от вас тгевовать полного и безусловного выполнения всех моих гаспогжений и пгиказов!

Лично у меня засосало под ложечкой. Думаю, что у Карпухина тоже. Четвёртый штурман никак не проявил своих эмоций, лишний раз подтверждая невозмутимый характер титульной нации — Норис был чистым латышом. Ну, а старпом относился к разряду «железных» и его можно было прошибить только фугасом.

Почти два часа Михаил Ильич говорил о том, что надо делать и как надо делать. Мы сначала старательно внимали его словам, потом устали и второй час капитанского монолога протёк мимо наших ушей. Не знаю, о чём думали мои коллеги, но мои мысли были в далёком далеке от капитанского салона и витали они в районе «Столa заказов», который принимал заказы только до пятнадцати часов... Мне вдруг подумалось, что капитан не любит коньяк и уже поэтому он стал мне несимпатичен...

— ...тгетьему штюйману! Эй, штюйман, вегнитесь с небес на землю! — вдруг послышалось мне.

— Да, Михаил Ильич, я вас внимательно слушаю! — я изобразил на своём лице неподдельный интерес.

— Вы меня внимательно слушаете? Это я вас внимательно! — и без того красные щёки капитана стали вообще багровыми, он пронзил меня взглядом маленьких глаз из-под лохматых бровей. — Вы не ответили на тги моих вопгоса!

— Три? — мне стало стыдно. — Повторите, пожалуйста, а то я тут задумался о получении квартиры, — я неловко попытался выйти из неудобной для меня ситуации.

Капитан вышел из-за стола, предъявив миру помятые брюки и растоптанные ботинки, которые казались размеров на пять больше

требуемых. Я вскочил с дивана и встал по стойке смирно. Михаил Ильич подошёл ко мне и опять взбуровил меня своим неприятным взглядом:

— Я люблю коньяк, не несите напгаслину! И «Стол заказов» потеплит сегодня без вас. Садитесь, тгетий штюйман, и слушайте внимательно капитана, а не думайте вслух пго коньяк и «малую землю»!

Опозоренный, я грохнулся на диван. А штурмана, гады, заржали. Даже Норис. А ведь славился своей титульной невозмутимостью!

И потекла наша жизнь партизанскими тропами, азартно и вдохновенно. Невозможно было на огромной плавбазе найти безопасную дорогу из носовой надстройки в кормовую — везде можно было напороться на капитана: на трапах, на рыбной фабрике, у провизионок, даже на улице «8 марта» — так мы называли коридор палубы по левому борту, где жил женский персонал плавбазы. Он был везде! Иногда думалось, что вместо одного Гоза нам прислали пять Гозманов — так его было много!

Миша Гоз — так мы называли его между собой. Не «Миша», не «Гоз» и не «Гозман»! Он приезжал на судно ровно к восьми, принимал доклад вахтенного штурмана о происшествиях, потрясших плавбазу за время его отсутствия, и через час уходил неспешным шагом в Управление на диспетчерское совещание. Возвращался к одиннадцати и до семнадцати часов проявлял своё присутствие во всех уголках огромной плавучей фабрики.

Михаила Ильича всегда можно было увидеть в одной и той же позе — с руками, скрещёнными на груди, и стоящим по-чаплински в своих огромных старых ботинках. Завидев штурмана он, не разнимая скрещённых рук, указывал пальцем на расположенные поблизости клапан или схему и спрашивал:

— Штюйман, это что?

Миша Гоз был терпелив и мы очень скоро это поняли, поэтому, даже не зная назначения того или иного клапана или участка трубопровода, мы начинали докладывать долго, путанно и не по делу. Он никогда не перебивал, давая нам возможность упасть на самое дно пропасти по имени «морская серость». Часто, пытаясь выпутаться из позорной ситуации, мы сами находили в конце концов правильный ответ и Миша отпускал штурмана с миром. Но стоило только штурману сказать «не знаю», как капитанское лицо внезапно освещалось ехидно-радостной улыбкой и всё, штурману хана! Капитан брал его под руку и вёл в судовое бюро, где на полках плотными рядами стояли папки с судовыми документами, изучать чертежи, схемы. Были дни, когда Миша уезжал домой чуть ли не на последнем автобусе, убедившись, что до его очередной жертвы дошёл смысл его вопроса и что теперь этот несчастный понял, как работает система паротушения и чем фок-мачта отличается от главного двигателя.

Он был нашим кошмаром! Мы даже отработали систему оповещения, чтобы знать, где в данную историческую минуту находится Гоз-

ман и как его обойти так, чтобы он нас не заметил. В эту систему были вовлечены штурмана, матросы и даже машинная команда! И тем не менее, чуть ли не каждый второй день кто-нибудь из нас зависал на гозмановском крючке и уже даже думать не смел о коньяке, а лишь только о том, как обойти малой кровью и сорваться с крючка хотя бы через час-полтора!

Однажды он спросил у Карпухина — чем торговая марка отличается от грузовой. Вовка ответил неправильно. Вызванный из каюты в своё свободное время я — тоже неправильно! А Норис вообще сказал, что торговая марка — это нашивка на джинсах! Ну что с него взять?

На нашей плавбазе польской постройки на борту была нанесена только грузовая марка — символ, указывающий, на сколько можно загружать безопасно судно, чтобы оно не потеряло плавучесть.

В порту у противоположного причала стояла плавбаза «Трудовая слава» немецкой постройки и у неё на борту в дополнение к грузовой была нанесена и торговая марка.

Михаил Ильич собрал всех штурманов:

— Штуймана, послушайте стагого евгея! Мы сейчас пойдём на «Тгудовую славу» и пгоясним этот вопгос!

На мачте «Трудовой славы» я разглядел флаг «Папа», который означал, что всему экипажу необходимо находиться на борту, так как судно выходит в море! Это был наш шанс, и я поспешил им воспользоваться:

— Михаил Ильич! Они в море сегодня выходят, там уже, наверное, погранцы вовсю работают!

Гоз посмотрел на меня с явным сожалением:

— Поганцы, говогите? А вот мы сейчас пойдём и уговогим их немного отдохнуть! Это ведь тгагедия, что тги штуймана не узнают азов коммегции!

Побрели...

Пограничники ещё не начали работать, и Миша повёл нас прямоком в каюту капитана. Эдгар Янович Укис, капитан-директор плавбазы, разрывался между комиссиями из Латрыбпрома и из нашей конторы.

Мы робко остановились в дверях.

— Пгивет всем! — потряс воздух Михаил Ильич, — Эдгаг, отогвись на пагу минут от безделия! Мы тут вот пгишли со штуйманами твою документацию по тогговой магке полистать, дай нам папку и стол, а то на полу мне, стагому евгею, несподгучно!

В каюте наступила гробовая тишина. Потом послышался голос с латышским акцентом, который принадлежал Укису:

— Михал Ильич, прст! Ты вообще опрст?! Видишь, у меня минутки нет воды попить, а ты тут своих архаровцев приволок. Иди к себе на «Поздняков», ёпрст, и их уводи, абвгд!!!

Михаил Ильич обиделся. Он вообще не любил нецензурных выражений. Помолчав несколько мгновений он тяжело вздохнул:

— Ладно, мы пойдём. Только имей в виду, Эдгаг, ты только что трёх человек лишил необходимых знаний. Даже не знаю, Эдгаг, как ты после этого жить будешь? — и ещё через несколько мгновений, — так как ты жить будешь, Эдгаг Янович, а?

В каюте послышался смешок. Потом ещё один. Потом сплошной хохот. Мы тихонько похихикивали, а Миша стоял в дверях в своей излюбленной чаплинской позе, скромно потупив глаза и горестно вздыхая.

— Эдгар Янович, да дай ты им эту папку, а мы минут десять на мостике перекурим! Гозман всё равно не отцепится, я его сто два года знаю! — главный капитан Латрыбпрома махнул рукой, приглашая всех посторонних выйти из каюты.

Мы очень быстро разобрались в различиях между злополучными марками и собрались уходить.

— Ребята! Михал Ильич! — вдруг взмолился Укис, — Посидите у меня ещё немного, чайку попейте, а я хоть немного отдышусь на вас глядя!

— Чайку? — обрадовался Миша, — это пгекгасно! А то мои штюмана за коньяком уже вкус чая позабыли! У тебя, как всегда, ггузинский байховый пегвый согт? — он лукаво посмотрел на капитана.

— Цейлонский! С лимоном! — потряс Эдгар Янович небольшой коробочкой, — и спасибо, что пришли!

В конце марта раздалось три звонка и я, как вахтенный штурман, встретил у трапа... вновь назначенного капитана.

Ура! Душа пела! Кончились наши мучения! Кончились наши партизанские перебежки и постоянная конспирация. «Стол заказов» опять вернул в наш рацион жидких напитков «Белого аиста». А Норис даже не побрезговал «малой землёй» и был доставлен нами на судно только сутки спустя после его схода на берег.

Мы были рады, но...

Но из нашей жизни ушло что-то необъяснимо интересное, ушла какая-то постоянная интрига. За месяц пребывания Миши Гоza на нашей плавбазе мы узнали так много нового и необходимого каждому из нас в нашей морской практике, что это трудно переоценить даже сейчас, почти сорок лет спустя.

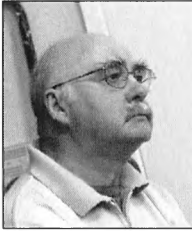
В скором времени Мишу с почётом проводили на пенсию, и его след затерялся в суматохе нашей безалаберной морской жизни.

А я до сих пор помню его стоящим в чаплинской позе со скрещёнными на груди руками, неряшливо одетым, в безразмерно огромных потрёпанных ботинках. Так и вижу, как его палец указывает на какой-то агрегат на рыбной фабрике и слышу его вопрос:

— Штюман, это что?

19.01.2015

Переход Эгерсунд — Тромсё



Владимир КРИВОШЕЕВ

/ Санкт-Петербург /

КИТАЙЦЫ В ПУШКИНЕ ЗИМОЙ

Китайцы в Пушкине зимой!
Глазам не верю, Боже мой!
Как мы их ждали! Дождались.
Ну хоть сквозь землю провались!

На ослепительных холмах
Черно от воронёных глав.
Наохлились, с цепи спустив
В скрипучий воздух объектив
И алчно камеры трещат,
Как челюстями саранча.

Снимай, китаец бесконечный,
Россию в приступе сердечном,
Снимай, как «тёлку» беглый экз,
Как все теперь снимают всех.

Картину кисти Ци-Байши
Писать, художник, поспеши.
Поставь мольберт переносной
И, прислонясь к дворцу спиной,
Из прорвы красок — мел и тушь
Худые пальцы предпочтут
Набросить на пленэрный холст
И кисть послушная легко
В морозном воздухе парит...

От снега жмурятся цари
В стеснённых рамах на стенах

(В былые злые времена
Развесила их напоказ
Бесцеремонная рука
Отъявленного царедворца...)

Мимо
Их лиц, потёртых от тоски,
Текут в подобие реки
Шеренги, гидами гонимы,
Из арестантов-пилигримов.
Китайской фирменной трусцой
Сквозь эту аэротрубу
Организованно бегут
Скорее к выходу, домой...

А тут и я: «Ну, Боже мой,
Китайцы в Пушкине зимой!»

БЕССОННИЦА В ДЕРЕВНЕ

Избыточный слух деревенского сторожа ночью
Склоняет в бессонницу, тыкает в пепельницу.
Скрипят подозрительно ржавая дверь и сухой позвоночник.
Из лампочек черпают свечи свою светоносную суть.

Живая ещё и подвижная шапка-ушанка,
Принюхалась к ночи собака и дышит на свет.
Торопится девочка матерью стать — в полусне спозаранку
Замучилась думать, оттуда в ней руки растут или нет.

Несёт вороватый пастух две воды из теперь-то пустого колодца
Поить ненасытных под утро и немногословных коров.
Придирчиво щупает ежеминутно рыбак полумокрые вёсла —
Неделю как им при луне и на солнце не высохнуть в срок.

Склоняется над непохожим дитём далеко безупречная мама.
Луна окосела уже их стерильную жизнь освещать.
Отец закадычный и неподкаблучный, совсем полигамный
Насилует неподкаблучную тоже и чью-то соседскую мать.

Пролилась голодная осень из мокрой разбитой бутылки
На пастбище заплесневелых, когда-то съедобных грибов.
Сгребают пожухлое сено грибник у себя на затылке,
В корзинку кладёт дружелюбно свой проблематичный улов.

Писатель, случайный и недостоверный свидетель текущей картины,
Вострит однобокие лыжи в понятную им колею.
Привычные ноги нечаянно жмут неродные ботинки
И палки подручные тонкий снежок предрассветный ритмично клюют.

ЭКСКУРСОВОД

Дымит Петербург в розовато-полярное небо.
Приезжий прохожий очки надевает на нос.
Он не доверяет, что я никогда в этом городе не был —
Он деньги суёт, спотыкаясь и чуть не целуя взсос.

Садимся в такси. Разговор — не шнурок на ботинке,
Завязывать нужно, толкая в пространство язык.
За стёклами носятся полуживые картинки,
Известные мне. Он с трудом постигает азы...

Вот Пётр долговязый, чумазый, по пояс в болоте
Тащит низкорослую армию, тоже мне — нижегородский бурлак.
Ему бы Сикорского, шельму, с десятком гнедых вертолёттов,
Да запропастился в Америке где-то и не дозвониться никак.

Река безымянная катится справа налево.
Чухонцы сидят как индейцы в своих островах.
Царапает Пушкин бумагу профессионально и смело
Про берег и думы, про чёлн на пустынных волнах.

Летят европейцы немые в пыльных камзолах
Сажать классицизм и барокко на клюквенные поля.
Гремят по стране эшелоны с посланниками комсомола
Дворцы и музеи с приезжими зодчими изготавливать.

Растёт на болотных дрожжах специфический северный город.
Прохожий мой высунулся из машины, таращит очки.
Припухла его голова с провинциальным своим кругозором
И дыбом топорчатся волосы по всей поверхности кожи почти.

Уже пятизвёздная крепость зачинщиков разных мастей завлекает
Под свой хлебосольный, кому-то пожизненный кров.
И экскурсовод, мой коллега, нечленораздельно икает,
Когда скovyрнул со стены казематной, увы, неподдельную кровь.

А вот декабрист полуснежный спешит на последнюю в жизни пирушку.
Простава обильная утром подставой фатальной аукнет им всем.

Колотит в свой колокол Герцен, он будит их по старой дружбе
И Ленин приветливо машет им ручкой из фильма,
который пока ещё нем.

Канал Грибоедова, дом, где процентщица полуживая
Раскольникова неизбежного ждёт не дождётся, уже нету сил.
Теперь здесь Ульяшев, мой друг, сам с собой, полон сил, проживает
И после стихов этих вряд ли на чай он меня пригласит.

Планирует мост на воздушных подушках Кулибин настырный —
Построил его и потом куда надобно двигай и ставь.
Но Чкалов всесильный таранит проект как насквозь субъективный:
«Под этим мостом никому и никак невозможно летать!»

Интриги и заговоры, революции, перевороты...
Язык заплетается в скороговорке навязчивых «р».
Таксист разъярённый разруливает резко за поворотом
И в дверцы раскрытые нас выпроваживает как швейцар, например.

Зашли на опушку гранитного финского леса.
Заядлый фотограф в прохожем уснул. Он с дороги устал.
Прилёг на подножие полуатланта-полугеркулеса
И воздух снотворный смакуют со свистом слепые уста.

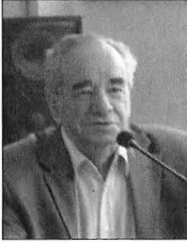
* * *

Дыхнул от Эмиратов влагостойкий ветер,
И оседает в собственную пыль исакиевский гранит.
Приговоренный пить сухое «Имеретли»
Завидует себе ефрейтор-отставник.

Он пишет вползрочка свечой единогоглазой
Рассыпчатую книгу на фарфоровой стене.
Спит в темечке его нетронутый соблазн —
Копнуть на ощупь жизнь в непокорном сне.

Преступно голодает ночь на грани утра.
Её баюкает обманчивый причал.
Сверлит скворец в скворечнике раздутом
Дупло для неучтённых дочерью внучат.

Уже пружинит день в затворе у винтовки.
Она висит казённым дулом вниз,
Подальше от поклонников неловких
В просторах сцены, в сумерках кулис.



Олег ГЛУШКИН

/ Калининград /

ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР

Теплый июньский вечер опустился на Тильзит. Воды Немана качают опустевший плот. Вдоль берегов горят костры. Гусары пьют сладковатую польскую водку. Костры один за другим затухают. Маркитантки на скрипучих фурах покидают войска. Сражений пока не предвидится. Никто не читал секретных статей заключенного мира. Они как предвестие новой войны. Бонапарт, надвинув треуголку на глаза, дремлет и улыбается в полусне. До Ватерлоо еще так далеко — как до Индокитая. Русский Гамлет Александр не спит, он думает о королеве Луизе. Прельстительный завиток волос над нежным ухом щекочет воображение. Но почему вчера, как простая крестьянка, торговала у маркитанток лосины? Хотел бы он иметь такую жену? Вряд ли... Сейчас бы, облаченная в преображенный мундир, на белом коне мчалась во главе гвардии по направлению к Индии. Через кайсацкие степи, в безводье, под аплодисменты Бонапарта. Нам Стамбул и Индия — ему Европа. Зато спасена Пруссия...

Почему Луизе не воздвигали памятник, это уже не Александр так думает, а один немецкий поэт. Он стоит у мола, на самом крайнем западе русской страны, западнее его только одноглазый маяк. А перед ним огромный металлический конь. И на этом коне восседает монстр. Я объясняю: «Это императрица Елизавета...» Поэт удивляется и тербит свою русую бородку: «Почему на коне?» Да, трудно объяснить. Была красива, до умопомрачения. Имела десять тысяч платьев. А как любила танцевать! Длинный, как дядя Степа, экскурсовод находит причину — любила позу наездницы. Немецкий поэт не понимает, но на всякий случай смеется. Конь племенной, все стати при нем — это уж точно. Экскурсанток из Швеции не прогнать, стоят целыми днями. Школьницы гуськом обходят императрицу, стыдливо пряча взор. Немецкий поэт смотрит на точеные ножки школьниц. Он не хочет вспоминать Семилетнюю войну и бешенную лаву калмыков. Разве можно было удержать новоявленных гуннов?.. Кенигсберг распахнул ворота и вывесил российские флаги...

Поэт совершенно не похож на немца. Он родился сразу после другой кровавой войны. Тогда все новорожденные были похожи на русских. Голубые глаза, льняные волосы, бородку сбрить — и можно играть Есенина в Берлинском театре драмы имени Бертольда Брехта. Солдаты-победители изменяют породу побежденных. Одна тетушка поэта рассказывала, что в сорок пятом за день ее изнасиловали десять раз. Я не рассказываю поэту, что сотворили с моими тетушками, как одну из них, беременную, привязали к согнутым березам, а потом стволы отпустили.

В Тильзите надо ли было жалеть Пруссию. Сделал бы ее Наполеон своей республикой, успокоился и не пошел бы на Восток.

Дурной пример заразителен. В следующем веке два тирана тоже делили мир. Наполеон по сравнению с ними выглядит элегантным мосье. На поле сражения произносил фразы, спешно записываемые историками. Был любезен с дамами. Всегда в гуще битвы вместе со своими маршалами, со своими солдатами. Своих генералов старался не расстреливать. За всю войну не выстроил ни одного концентрационного лагеря. Прослезился, глядя на горящую Москву. Бесноватый фюрер боялся огня. Чтобы подавить свой страх сжигал села и города. Думал поселить страх в других. Не испугались курсанты, горел даже снег, танки утюжили окопы, от окрестных деревенских хат остались только печные трубы. Обвязавшись поясом с гранатами, ложились под танки. Их долго учили: свобода, равенство, братство. Французская революция. Пролетарская солидарность. Мальчишки-герои спасли Европу ценой собственных жизней. Париж сдался мирно. Никто из клошаров не лег под танки. Франция переезжала на Лазурный берег. Повозки из Парижа запрудили все дороги. Немецкий поэт все это знает, он изучал историю. Он говорит, майн фройнд, мы ведь тоже история, нам выпало слишком много огня.

Он рассказывает, как выселяли его гроссмутер из здешних мест, жестокий век, дали возможность взять с собой всего несколько килограммов, в дороге было нечего есть, везли в товарных вагонах, словно скот. В Освенциме, объясняю ему, можно было проехать только в одну сторону. В другую — вверх, с дымом крематория.

— Избави нас Господь и от поражений, и от побед, — говорю я, — от рвущихся в Наполеоны тоже избавь. Им посмертная слава. Нам смертная жизнь. Может быть, правы были те, кто поставил памятник Елизавете, очень была красива и воевать не хотела.

— А семилетняя война? — замечает мой немецкий поэт.

Ах, оставьте эти глупости, что она изменила, простые бюргеры ее и не почувствовали. Присягнули вместо вояки Фридриха красавице Елизавете. Пять лет на балах обучались европейскому этикету, кружили головы юным пруссачкам усатые гренадеры. В свободное от баблов время дремали на лекциях в Альбертине, пили с Кантом кислое вино. Покуролесили и ушли. Все назад возвратили Фридриху. А может быть, зря ушли. Не было бы Пруссии, не было бы Гитлера.

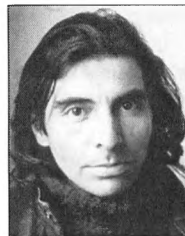
История, увы, не имеет сослагательного наклонения. Как было, так было. Умны мы все задним умом. В фантазиях своих мы сейчас с немецким поэтом прогуливаемся на берегах Немана... Видим, император Александр к лодке идет, чтобы на плот, стоящий на середине реки, перебраться. И я кричу ему — ни в коем случае не подписывай. А полковые оркестры во всю мощь наяривают, и ничего не слышит Государь. А если бы и не играли, все равно ничего бы не услышал, во-первых, он был туг на ухо, в юности еще оглушило выстрелом на гатчинском смотре у отца, романтического деспота, во-вторых, мы в разных временных промежутках. Тишина опускается на спокойные воды Немана. Лишь несчастная воительница — королева Луиза прислушивается к нашим словам. И какой-то подгулявший фузилер, в темно-зеленом мундире, перепоясанный голубой лентой, торкая штыком в вечернее небо, грозно окликает нас, а потом протирает глаза и матерится. Хочется ему чужие изорвать мундиры о русские штыки. А тут замирение. — Геринг! — окликает он своего прусского товарища. — У тебя еще что-нибудь осталось, сучий потрох!

Где этот Геринг, его и след простыл. Вот у меня есть немецкий поэт, он запаслив, носит с собой плоскую флягу, наполненную коньяком, а в дипломате у него баночное пиво. Давай, отдадим все солдатам. Они ведь не знают, что им предстоят кровавые поля — от Бородино до Лейпцига.

Знаешь, говорю я немецкому поэту, если бы мы не успели эвакуироваться на Урал, я бы с тобой сейчас не рассуждал о Тильзитском мире. Он плохо понимает русский, я коверкаю немецкие слова. Очень карошо, соглашается он, Фриден. Натюрлих, говорю я.

Фикрат САЛИМОВ

/ Вильнюс /



ПРАЗДНИК

На площади натягивают тент.
Здесь будет праздник.
Возможно даже,
красивые дрессировщицы покажут
таких же красивых и умных животных,
которые будут с радостью
исполнять разные трюки.
И соберется много народа
под этими красными, синими и желтыми флажками,
наскоро расписанными киосками с питьем и едой.
Все останутся довольны,
потому что праздники
существуют для того, чтобы все были довольны,
и только может быть
немного сожаления
что он закончен
и в этот раз не было танцоров из далекой Индии
с длинными трубами и их заунывными звуками.

РЕЦЕПТ

Ночь можно проспать.
День просидеть на бульваре.
Дождаться осени.
Наглухо закупорить окно.
И в прокуренной комнате
долго играть на гитаре,
собственную мелодию
на старом диване;
ты пришла, ты ушла,
ты уже не придешь.

В ОКНЕ

Мужчина и женщина — друг против друга.
Они еще не начали заниматься любовью.
(Хотя знают, что будут, как то,
что заглохнут звуки под окном).
Они еще только
приглядываются,
прицениваются,
прицеливаются
друг к другу.

ОСЕННЕЕ

Быть может, я еще живу в осенней темноте.
В глазах прохожей бесноватый блеск.
В витринах города фрагментами зеркал
В ночных кафе на языках друзей..
Я в сны твои входил, но не нашел себя.
Быть может, я еще живу в осенней темноте.

ЖЕНЩИНЕ

Мы живем в ожидании грядущего.
Ты живешь в предвкушении блаженства.
Твои губы ало-пьянящие
ждут имен и пока бездействуют.
Каждый день нам приносит горсть зерен.
А уносит с собою вечность..
Ты не думаешь так, любимая,
Ты мечтаешь о счастье несбыточном.
Ты проходишь мимо зеркал —
А они унесли твое имя.
Ты прошла мимо кустика роз —
Он унес с собой твои волосы.
С каждым днем ты становишься меньше.
Я тебя потеряю, любимая.

УТРОМ

Рыжие корабли с черными трубами —
Мечта мальчишек о путешествиях.
Женщины слишком старые, чтобы
помнить что-нибудь о любви.

К этому еще стоит прибавить
немного моей грусти
и это все, что даст мне
нехитрый подсчет
в чужом городе,
слишком большом и гордом,
поглотившем меня на мгновение.

ТЕБЕ

Потерявшим надежду —
открывается небо.
И прозрачные ангелы
их забирают в дорогу.
И северный ветер играет
на трубах блестящих...
Это все мне приснилось
Сегодня, моя дорогая.

ПРОГУЛКА

Мы идем по дороге.
Мимо проезжают шикарные авто.
Ты постоянно находишь на земле
различные предметы: монетку,
странно скрученную проволоку,
поломанный пистолет,
фигурку слоника (я воображаю,
сколько слез из-за потери).
Ты делаешь это между прочим,
разговаривая, покуривая,
мы делаем спираль по городу,
экономя на автобусе.
Мы говорим о женщинах.
Они постоянно что-нибудь теряют
и в этом обогнали детей.
Признаемся, что они нам надоели,
что надо послать их к черту,
великолепно понимая безвыходность
этого жеста.
Понимая, что десятки женских лиц
в проезжающих автобусах нас волнуют,
как прогретая земля с массой
еще не найденных или не утерянных
вещей, как наша дружба, как стихи
еще не написанные.

И в завершение — старый город,
такой великолепный в заходящем
солнце,
что мы замолкаем, очарованные
еще не сделанным, не сотворенным,
но сидящим в нас,
как часовой механизм в бомбе,
готовой взорваться.
А тысячи звуков: голоса людей,
вой сирен и машин, детских криков
и модной музыки — нам кажутся сейчас
божественными трубами.

В МЕРЦАНИИ

Ветки деревьев похожи на лапы умерших птиц.
Белое солнце почти не доходит до нас.
Если кричать, никто не услышит твой крик.
Если молчать, с ума сойдешь от тишины.
Где-то в другой стране, а может, даже в раю
женщина ныне проснулась, надела платье в цветах.
После вставила в каждое ухо кровавый рубин...
Отблеск его я ловлю улыбаясь остатками рта.

СЕРДЦЕ

Глаза мои осиротели
от того, что тебя не видят.
Губы стали как щели...
И в сердце вселилось молчанье,
а раньше было — веселье.
Не знаю, как мне заставить
глаза свои снова плакать.
И чтобы губы раскрылись,
что имя твое ласкали.

Сердце мое — два мака
в полях, занесенных снегом.

Далия ТРУСКИНОВСКАЯ

/ Рига /



* * *

Этот мир — кирпичный дневной каприз,
место в трещине на стене.
Этот мир — не мой, в нем живешь сверху вниз
И не пишешь стихов во сне.

Этот мир — беззвездный ночной брусок,
Глубина без полос зари.
Он снаружи — строг, остроглав, высок.
Посмотрели бы изнутри...

Я хочу в тот мир, где живут снизу вверх —
Я, и ты, и день, и ручей;
Где гуляет душа между древних вер
с белым голубем на плече.

* * *

Мой старый друг, отшельник и чудака,
Не из когорты мальчиков гламурных,
Когда-нибудь мы одряхлеем так,
Что станет не до шалостей амурных.
Иссякнут плодотворные года,
Мы насладимся отдыхом по праву,
И я смогу сказать тебе тогда:
«Давай поедem наконец в Варшаву!»

И мы примчимся, именно теперь,
И — в Старе Място, в точный час заката.
Ты, может быть, не знаешь, — но поверь,
Что мы вдвоем бродили тут когда-то.
Не поворачивая головы,
Я рядом шла, ловя попеременно

То польской речи шелест, то листвы
Кленовой под ногами; дух Шопена

Вокруг витал — и здания поют,
И гордые столбы живого света.
Не более полутора минут
Мы вместе шли — сейчас ты вспомнишь это! —
По темной площади, вдоль белых стен
Причудливых, вдоль тех перил и арок...

И был сентиментальный нам подарок:
Незримый голос спел «Лили Марлен»...

* * *

А давай однажды в Гент
С головою окунемся —
Задохнемся на момент;
Ахнем, крикнем и проснемся
В серой нише; до реки
Семь ступенек; край причала;
И протянутой руки
Расстояние до яла.
Колокольный перезвон,
Хмель скольженья и простора;
Поплывем — а с двух сторон
Роскошь, роскошь, праздник взора!
Эти краски, этот стиль,
Десяти столетий сила,
Где-то здесь найдется Тиль —
Тот, которого любила.
За любым свистит углом,
Из любого переулка
Тиль смеется. Каждый дом —
Музыкальная шкатулка.
Кто разбудит голоса?
Кто ухнет струнным звоном?
Тиль восходит в небеса
По ступенчатым фронтонам.
И, пожалуй, ради нас —
Невесом, на зависть кошкам,
Шутовской и наглый пляс —
По ступенькам, по окошкам!
На узорчатой стене
Тень, отстав, на миг застыла —
«Не грусти ты обо мне,
Та, которая любила!

Ты плыви себе, плыви,
От печали убегая.
Мне не жаль своей любви —
Да тебе нужна другая».
Плеск воды и жар с небес,
Что ни флюгер — то легенда.
Мы отведали чудес
Ослепительного Гента...

* * *

Садись, любимый. Поле перед нами,
Глаза — бессонны, уговоры — крепки,
И мы опять играем временами
И ставим их в кружочки и на клетки.
У них, времен, расплывчатые лики,
Им, временам, нет больше места в мире.
Прошедшее — январь какой-то дикий —
Как велено, встает на е-четыре.
Тут — шанс его еще чуть-чуть продлиться,
Покуда им владеют наши руки.
Мы совмещаем февраль и лица,
Мы совмещаем августы и звуки.
И, может быть, из запахов, осколков,
Случайных нот, что прицепились к датам,
Мы слепим мир мустангов, прерий, колец,
Мир, нужный маркитанткам и солдатам...
Играя, только нужное оставим
Для эндшпиля, зато повысим ставки,
И прошлого не станет. Переплавим
В игре все то, что стоит переплавки.
Мы сотворим и завтрашнее солнце,
Мы сотворим и будущее лето,
На то она — игра! И унесемся
В ночных круговоротах тьмы и света...

* * *

Ох, кому зима в досаду, кто тоскует без весны,
Так ложись-ка спать пораньше да смотри цветные сны,
А я встану у окошка меж небесной и земной
Снежно-млечной, бесконечной, подвенечной белизной!

То ли сплю, а то ли слышу, то ли бьется о стекло
Сквозь разлуку да сквозь вьюгу соколиное крыло.
Свет мой ясный, взор опасный, голос властный над судьбой —
Ты встречай ли, моя радость, я приехал за тобой!

На стекле мои ладони, белый лед прожечь хотят.
Мчатся бешеные кони, по-над берегом летят.
Свист заречный, друг сердечный, голос вечный над судьбой —
Ты встречай ли, моя радость, я приехал за тобой!

Ворожба моя такая — снег прорежет, как кинжал,
Чтоб от края и от края длинный санный путь лежал,
Бесконечный, подвечный, в лунном блеске голубой —
Ты встречай ли, моя радость, я приехал за тобой!

* * *

Я люблю тебя так, как каштан расцветает.
Бело-розовый воск его свечек не тает,
А незримый огонь в них не просто горит —
Торжествует, трепещет, горенье творит.

Я люблю тебя так, как сирень расцветает.
Ароматный сугроб до небес вырастает,
Возникает живое пространство любви,
Сделай вдох, сделай шаг, и войди, и живи.

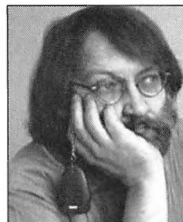
Я творю этот мир из любви, я сплетаю
Вереск, солнечный луч, голубиную стаю,
Ветер с моря, и клевер, и звезды в венок.
Ранним утром он ляжет тебе на порог.

* * *

Этот мир еще жив, еще дышит на вид,
Но все раньше оконная тьма.
Время тусклой листвы и последней любви
Иссякает. А дальше... Зима?
Нет, немного еще повоюем, горя
Отражением прежних костров,
И последний торжественный всплеск октября,
Многоцветье тепла на прощанье даря,
Завершится, как песня без слов.
Что на капельку жизни могу обменять?
На пороге последнего сна?
Ни тепла, ни тебя, ни любви, ни меня.
Белизна. Белизна. Белизна.

Фома ГРЕК

/ Вильнюс /



ИЛИЛИШЬ

Опыт местечково-мистического богословия

Есть ли над нами Бог: или лишь самолёты
бороздят просторы бескрайней родины нашей
Манды Халдейской, ея высоты?
Так я поставил вопрос не из гордыни житейской,
а от печали такой
От печали такой галилейской
слыша повсюду свист разбойника Соловья;
Есть ли над нами Бог и кругла ль Земля:
Вот я поставил вопрос,
Взор подняв к потолку,
И на вопрос мне ответили сразу дрозды: «ку-ку»
С ними кукушки пропели: «фьюить-фьюить»
Бог ну конечно есть: золотая нить.

Можно ли верить свидетельствам вашим,
Плача спросил их я:
Примут ли здесь в окружном суде свидетельство соловья?
«Может и нет, зато примут в райском саду.
Эй, Илилишь, Илилишь, ты в своё ли уме — зачистил какаду.
Что тебе суд окружной и кругла ль земля,
Если даже такого какулию любят, как я,
И одевают в одежды ярких цветов.
Вот я всё время вру, как последний пёс,
Но получаю прощение каждый раз,
И от радости вру на три короба больше каждый раз.
Также и ты, Илилишь — самолёты
пусть их летают, не те ты,
милый, видишь высоты».
«Попка, ты врешь. Я не верю», — сказал я,

«спросим у рыб,
проплывающих среди толстовских глыб
и изучающих Ницше большой размокший талмуд
«Так говорил Заратустра» — они не лгут».
Рыбы сказали, поправив очёчки:
«Большей фигни не читали мы, большей мутни.
Мы ведь с тобою не любим плавать в мутной водичёчкэ —
Глядишь, нас изловят с тобою, себя вини.
Ты вот спросил, стеная, а Фридрих вообще утверждал
и упыря какого-то изображал
перед всеми, над безднами прыгая горным козлом
И пренебрегши овечкой небесной. С ума сошёл.
Ты не отличаешь, мы видим, добра от зла,
И облаков овечек от горемыки козла.
Помнишь, как в детстве играли в одну игру
«Верись — не верись»: тогда ты чувствовал ту
грань между правдою и враньём?
Вот. А теперь глядишь в мир феноменов и считаешь себя большой
шишкой на ниве любомудрия».

Есть ли под нами Бог, спросил я тогда,
Тупо уставившись в пол как работник Его Балда.
Мне отвечал тучный как Фет поп:
«Эх ты Фома, Фома! Мой толоконный лоб —
Богу свидетель — ведь думал и я, как ты,
стремясь утаить от работника причитающуюся ему мзду
и п р е м и а л ь н ы е, но после второго щелчка
поверил и я, как все г е н и а л ь н ы е
священнослужители.
Так же поверил святой Августин и Гоморры унылыя жители
После того как были дотла сожжены.
Так же поверил и Мертон Фома — от своей внебрачной жены
Получив поглаживаний букет и улыбку
И принеся Ему в дар дар речи.
А ты говоришь «самолёт», оборвав золотую нитку».
Окстись, человеце!
Я тут немного духом воспрял, хлебнул литовского пива,
И аргументу попа внял молчаливо,
Певшего на хорах на мотив частушки:
«Эй, Илилишь, Илилишь, или птица тебя рисовала,
Или весь мир, как раскрашенное одеяло,
а облака как подушки?»

Так я понемногу восстал из печали глубокой
И, на качели сев, преставился ненароком,
Ещё менее, чем до того понимая,

Но мнимости не поддавшись, вперёд качнулся
и как в глубоком сне, где-то вверху родившись
Заново, перевернулся.

Жизнь же, моя качнувшись вправо, качнулась влево
Перпендикулярно качелям, и тут я назад качнулся,
тронувшись головой о Небо.

Есть ли ещё вопросы? — меня спросили.

Я же молчал как рыба, не допытываясь уже, есть ли за нами Бог,
или

перед нами. Карта моя была бита.

Надо мною летели два самолёта,
к небу пришиты.

«Эй, Илилишь, Илилишь, или рыба тебя насвистала,
Или весь мир, как раскрашенное одеяло?»



Игорь КОТЮХ

/ Пайде, Эстония /

КРАСОТА НЕОЧЕВИДНЫХ ВЕЩЕЙ

Стихи в прозе для 33 читателей

7 августа

разговоры: от шумеров до гитлера, от красных кхмеров до транс-трёмера, от португалии до вырусского языка, от монаха сюаньцзана до родителей ленина, от финно-угорского субстрата до менделеева, от сафо до набокова, от латинских максим до французских ругательств, от польши до лао-цзы, от ду фу до паровоза черепанова, от пия v до российских детективов, от эстонских народных песен до церковнославянского языка, от индонезии до куусинена, от римской империи до арво пярта и тд и тп — с сергеем завьяловым в гостях у яна каплинского

25 сентября

красота неочевидных вещей: магнитные поля бретона и супо, черный квадрат малевича, фонтан дюшана, 4'33" кейджа, в присутствии художника абрамович

красота неочевидных вещей: вакуумные тексты, моностих, свободный стих, стихотворение в прозе, сверхкраткий рассказ

красота неочевидных вещей: лепет младенца, дружеское объятие, общение единомышленников, сближение и отдаление двух симпатичных друг другу людей

10 октября

это неловкое чувство, когда садишься в кресло, снимаешь очки и парикмахер просит тебя держать голову прямо, твои глаза видят в зеркале твой нерезкий силуэт, после чего картинка разлетается в стороны, как тяжелые кольца дыма, и вместо нее появляется какое-то месиво, дальше следует выбрать — смотреть в зеркало более

пристально, для этого нужно прищуриться, что делает тебя смешным, или закрыть глаза, что делает тебя невежливым, или — не напрягаясь смотреть в пространство между зеркалом и собой, хлопая ресницами, как теленок, попутно вспоминая какие-то сцены из детства, обычно ты выбираешь третий вариант, уходишь в него, как где-то сверху слышишь: готово, как нравится? ты надеваешь очки и, не успев себя рассмотреть, говоришь: очень хорошо, спасибо!

12 октября

если стихи иногда могут предсказывать будущее, то следует почаще давать им такую возможность. пришла мысль, пиши! появилась идея, пиши! испытал новое чувство, пиши! вдруг одно из стихотворений станет твоей путеводной звездой

17 октября

и вот ускоряешься, отрываешься от земли и летишь Летишь вперед летишь вверх летишь вниз Самое захватывающее вниз Свободный полет Без препятствий без усилий без переживаний Оглядываешься на свои стихи на свою жизнь на людей в своей жизни и так тепло становится на душе Улыбаешься отрешенно светлым полосам в небе Полдень полдня аэропорт

2 ноября

бывает, встречаешь людей: застегнуты на все пуговицы, держат дистанцию, подчеркнута вежливость, говорят общими предложениями. и такое чувство, будто человеческое им чуждо: они не огорчатся, не едят руками, не ходят в туалет, не занимаются сексом.

бывает, встречаешь людей: они громко говорят, безвкусно одеты, назойливы, безудержно пьют. и такое чувство, будто человеческое им чуждо: они не были маленькими, не знают хороших манер, не ходят в театр, не умеют думать абстрактно.

бывает познавательно встретить группу незнакомых людей, которая со временем оказывается вовсе не группой, а случайным набором очень разных личностей

(сан-симон-таллинн-пайде)

13 ноября

на расстоянии двух столиков это было идеальное лицо: полный овал, гладкая белая кожа и большие голубые глаза. два времени года, два чистых цвета: зима и лето, снежно-белый и озерно-голубой.

на расстоянии столика это лицо превращалось из чуда природы в творение художника. состоящим из множества стеклянных осколков портретом, витражом из косметики, морщинок и улыбки. что значит обаяние

1 декабря

эта дымка, разделяющая вечер с ночью, приправленная лучами гаснущего солнца летом или искрящейся стужей зимой, эта дымка, которая делает близорукого зрячим и зрячего близоруким, позволяя разглядеть чей-то силуэт, вроде стройный, вроде со вкусом одетый, вроде одинокий, и то ли идущий к тебе, то ли удаляющийся от тебя. в такие минуты почему-то кажется, что это образ мечты или счастья

7 января

кто-то сказал, что пишет стихи для великих предшественников. кто-то другой — что пишет для потомков. сравнивать себя с лучшими мастерами прошлого или пытаться опередить свое время — два достойных друг друга вызова. но как быть тем, кто пишет, не заботясь о вечности. или тем, кто совсем не пишет. вспоминаю свою украинскую бабушку, ее письма из деревни. описание сделанных работ, рассказ про домашних животных, новости от соседей и родственников, планы на будущее и пожелания благ. эти письма были написаны корявым почерком на смеси русского и украинского. мы ликовали, когда получали их. эта ее жизнь, прошлое, будущее, вечность и литература — что тут чего достойно и что из этого можно вычеркнуть

9 января

не хочу читать про войну, про политику, про расизм. не хочу читать про киберзащиту и кибератаки, про силу сильного и слабость слабого, про старый и новый миропорядок. не хочу ни в каком тексте встречать фейковые новости, навешивание ярлыков, национальные прозвища. слишком много настоящего, будто в тесной комнате надувают огромный шар, который всё больше выдавливает память, мешая возвращаться я-взрослому к я-ребенку

14 января

Закрутить болт до упора Чтобы не раскрутился и чтобы не лопнула резьба Есть пока наешься Пить пока напьешься Заниматься любовью пока наступит оргазм Здравомыслие практичность надежность наши

друзья А без них другая история Работать пока не заснешь Спать до самой работы И дедлайны и общественный транспорт и прыжки в последний вагон отъезжающего от перрона поезда

18 февраля

он лежал посреди широкой кровати, на спине, заложив руки за голову, его взгляд был обращен поверх грудной клетки и живота на ноги, которые были согнуты в коленях и являли собой две из трех сторон правильного треугольника, вздернутая вверх левая нога походила на могучую колонну, а правая легкомысленно устремлялась в правую же сторону, напоминая прямую в школьной тетради, между ними виднелась темная ткань трусов, которая повторяла контуры не то древнего города, не то глиняной породы, готовой в подходящее время обратиться в произведение искусства

20 февраля

новый год не везде начинается первого января, учебный год не везде начинается первого сентября и рабочая неделя не везде начинается с понедельника. эти и другие условности напоминают мне набитую синтепоном кобру, страшную для детской игры и безобидную для мира взрослых. порой кажется, что единственная важная универсальная эталонная вещь — это жизнь каждого отдельного индивида, что была бы жизнь — условности нарастут. но война перечеркивает и этот тезис

26 февраля

знакомое шоссе ночью выглядит почти чужим. ровный отрезок пути начинает петлять, а привычные повороты делаются втрое круче. дорожные столбики, сливаясь и расставаясь с собственной тенью, обращаются в лилипутов, норвящих броситься под колеса. ночное шоссе как заколдованный мир, теряющий свою силу перед утренним солнцем

8 марта

как должна быть устроена жизнь, чтобы смотреть на часы, когда они показывают 22:22 и 0:00?

12 марта

пылинки и мыльные пузыри, кто бы мог подумать, пылинки и мыльные пузыри — в чем-то родственники, они блистают в луче яркого света, устремляясь убедительно вверх, будто им противопоказано забвение, старение, разочарование. всё как у людей, всё как у людей



Анатолий КОЗЛОВ

/ Санкт-Петербург /

ЦЕРКОВНЫЕ МЫШИ

Вот говорят: «Серый, как церковная мышь; худой, как церковная мышь; нищий как...» — одним словом, плохо, значит. А где белые мыши обитают? Обычно в клетках. А вот что такое клетка? Для кого — тюрьма, для кого — дом. Для одних вера в Бога — тенёта, тесный душный погреб, для других абсолютная свобода. А где истина? Попробовать надо, на себе испытать. Ну, без Бога мы все, почти-тай, попробовали жить, а вот как попробовать с Ним жить... Трудно, сложно — вдруг засмеют. Хочется-то самым умным быть, или казаться, по крайней мере. Приятно осознавать, что все вокруг дундуки — один ты умный, ну ещё, может, парочка умных на всю страну найдётся. Да, время нынче такое — все боятся прогадать. Один думает, что он самый умный — потому что верует, другой — потому что не верует в Бога.

1

В пустой церкви полумрак, тихо, жутко чуть-чуть, гулко отдаётся стук каблучков по каменному полу. Он предательски выдаёт все передвижения, даже переступание с ноги на ногу. Со стен смотрят... нет не лица, лики. Вроде нарисованные, а не по себе. Немного боязно, но очень уютно, особенно в первый раз, как впервые на сцену выйти перед полным залом. Кругом почти никого, только женщины в тёмных халатах спуют деловито или копошатся по углам — ну, точь-в-точь мыши.

Анна прикрыла за собой дверь в притвор и растерянно остановилась, ещё раз поправив косынку и одёрнув непривычно длинную юбку из немнущегося полиэстера, нарочно купленную и надетую по такому случаю.

Куда тут идти и что делать надо? Зачем-то ведь зашла сюда, даже вот собиралась специально, оделась, как положено. Так зачем же?

Перво-наперво свечку поставить — вот чего. Вон и подсвечники кругом стоят, с теплящимися лампадками посерединке. Вон на полочках вдоль стены свечки для чего-то лежат.

Анна чуть помедлила и, увидев женщину за прилавком, который прихожане по обычаю зовут «свечным ящиком», двинулась к ней.

Тут её ждала новая трудность: свечек было много и все разные. А какую же надо-то? Слишком маленькие — дешёвые больно, и так она раз в десять лет в церковь заглянула. Нет, маленькие не подойдут. Другие слишком большие — это, опять же, должно быть, не каждый день ставят, и не всякому положено.

Она выбрала свечу за пятьдесят рублей — в самый раз по такому случаю — повернулась, и, сделав несколько шагов, снова встала в нерешительности. А куда же её поставить? Вон вокруг сколько икон, подсвечников, а свечка всего одна... Кому ставить-то?.. Надо бы Самому — Богу, кому ещё! Совсем уж запаматовала куда пришла.

Анна, стараясь быть внимательной, опять огляделась вокруг, но получилось всё равно суетливо и сконфуженно. Вон тот подсвечник, что в самом центре стоит — поди, для особого случая, не для неё. Она попыталась разобрать образы на иконах.

Там вон на коне кто-то; там женщина в старенькой юбке, в платочке; там юноша с ложкой что-ли... Всё не то, вроде. Наконец, взгляд остановился на иконе «Христа Вседержителя». «Этот — точно Бог», — решила Анна и неуверенно пошла к образу.

Она подошла к киоту, ещё раз внимательно всмотрелась в лик, заметила в уголках слева и справа узоры, похожие на буквы. «Христос, видно», — догадалась Анна. Она попыталась перекреститься, но мешала свечка. Анна переложила её в левую руку. Стала медленно креститься, вспоминая куда руку вести, в какой последовательности. С горем пополам перекрестилась. Теперь можно и свечу ставить. Но левой неудобно, снова в правую взяла, досадуя на себя за суетливую неумелость. А от чего же зажечь? Ни одной свечи горящей, только лампадка посредине чуть мигает сине-жёлтым огоньком. Анна поднесла свечу к огоньку лампадки. Свечка немного посопротивлялась — короткий фитилёк никак не хотел заниматься, наконец, осторожно вспыхнул, плава мякотелую свечу.

Вдруг, и Анна чуть не выронила от неожиданности свечу, вынырнула перед ней одна из тех «сереньких» тётушек, что копошились где-то по углам, казалось, не обращая на неё никакого внимания.

— Ну куда, куда в лампаду свечой! — раздался резкий неприятный голос, похожий на приглушённый, но грозный лай. — Небось, дома так не делаете, в кастрюлю руками не лезете!

Анна сама вспыхнула тёмным недобрым огнём, быстро ткнула задрожавшей рукой свечу в свободное гнездо, и, путаясь ногами, в длинном подоле юбки, рванулась к выходу, с разгону больно ударив руки, открыла тяжёлые двери и слетела со ступенек, чуть не упав лицом вниз.

Вначале она почти бежала, потом, словно спохватившись, пошла медленнее. Вдруг махнула рукой и громко, вызывающе рассмеялась, достала из сумочки сигарету и, со смехом вспомнив, что ещё сегодня утром собиралась бросить это неженское занятие, прикурив от зажигалки, с наслаждением затянулась табачным дымом.

По мнению Анны, жизнь её складывалась скверно, хотя, по словам подруг, она была самой современной женщиной: с мужем развелась — а зачем связывать себя с ничтожеством и обременяться домашним хозяйством? Свобода превыше всего. Работу она имела выгодную и перспективную — менеджер по персоналу. Отработала своё, пришла домой и лежи — если хочешь — ни забот, ни хлопот. В пятницу можно спокойно посидеть с подругами в баре, а можно и познакомиться с кем-нибудь, продлить вечер... А в субботу забрать от мамы дочку и целых два дня побыть вместе. Летом купить путёвку и поехать отдыхать: солнце, море, статные загорелые мужчины выются вокруг — только выбирай. Вот это жизнь, это свобода, сама себе госпожа — ни от кого не зависимая.

Но это с внешней стороны, публичной. А внутри, в тихие минуты бесед наедине с самой собой Анна признавалась себе, что что-то не так. Ну, ещё раз двадцать съездить на море, потом дочку замуж выдать, и сама — на пенсию. «Ну, ещё поработаю немного, ну, ещё покочевряжусь лет пять, ну, десять... а дальше-то что?». Самое страшное было — оглянуться, а что там за спиной осталось? Конечно, можно соврать себе, как врёт порой подругам:

— Да, я повидала жизнь...

Но подруг можно обмануть, потому что им всё равно. И они тоже врут, пыжятся, напускают на себя важности. А себя? Себя разве обманешь? Так ли всё должно быть, за этим ли человек в жизнь приходит?

От таких вот, накатывающих всё чаще, мыслей, Анна не находила себе место. Одно время стала прикладываться к алкоголю. Вначале по пятницам в баре вино, потом пристрастилась к крепким напиткам. Потом уже почти каждый вечер после работы выпивала рюмочку — чтобы снять стресс, а то и две-три. С дочкой контакт совсем утратила, та хоть и с радостью шла к ней на выходные, но только чтобы посидеть за компьютером в интернете и сходить в фастфуд — как придумали теперь называть забегаловки.

Однажды, сидя в баре с подругами, они для забавы решили подобрать русские значения для новых иностранных слов, появившихся в нашем лексиконе за последнее время. Ну, вроде: фастфуд, быстро — забегаловка; дилер — перекупщик; шопинг — блуждание; толерантность — невзыскательность, попустительство; киллер — убийца, душегуб...

Вначале было смешно, потом грустно.

С матерью Анна перестала находить общий язык, мать вечно учит жизни, хотя сама с отцом в разводе, о душевных разговорах, как когда-то, они уже давно забыли, да и общего у них ничего не осталось. Не рассказывать же ей про свои любовные приключения на курортах.

Потом решила начать новую жизнь: преобразилась, поднапряглась на работе — купила автомобиль. Совсем другая жизнь вроде пошла поначалу — здоровая, трезвая. На работу с утра с комфортом. Через пробки, заторы, ругань водителей, опасные маневры; общение с ДПС — после превышения скорости или пересечения сплошной линии. Загородные выезды по выходным — поломки, буксировки, шиномонтаж... Оказалось, что машина, как и лошадь, требует внимания и средств. А если тебе нравится только баранку крутить, то это недолго.

Подруги, правда, больше стали уважать. Сами-то они в машинах души не чаяли, хотя, какая там душа! Ну, они чуть ли не жили в них, а по ночам новыми моделями грезил, коробками-автоматами, парктрониками, климат-контролями, навигаторами Джи Пи Эс...

Анне во всём этом разбираться было скучно. Да и подруги, видела она, талдычат об автопогремушках — только чтобы самим себе значительными казаться, и от модной болезни — всё время куда-то передвигаться, спешить, лететь, прыгать с места на место — от суетной одержимости, в общем. Да и говорить им больше не о чем — убер погремушки и останется пустота.

Тоска ещё сильнее накатила на неё, схватила за горло, сжала сердце в груди. И чем бы всё кончилось — ещё неизвестно. Но тут объявилась её старая подруга Лена. Вот уж неугомонная душа. Сколько помнила её Анна, Лена всё бежала куда-то, чем-то увлекалась. То гимнастикой модной, то какими-то медитациями; про бассейны, лыжи, и даже прыжки с парашютом — и говорить нечего, это для неё между делом.

В последнее время они с Анной долго не встречались. Года три назад Лена нашла себе, по словам Анны, «очередное увлечение»: приняла крещение и стала ходить в церковь. Анна также иронизировала по этому поводу, как и во всех остальных случаях — ну, что сделаешь, коли человеку всё время хочется новенького, как и многим другим, а выражается это таким вот образом.

Однако уже через год Анна заметила, что подруга сильно изменилась. Почти совсем перестала использовать косметику, начала носить длинные юбки, платки. И даже внутренне переменялась. Теперь вместо лихорадочно-дерзко блестящих глаз, на неё смотрели излучающие тепло и добрый свет глаза совсем-совсем другого человека.

— А как же твои увлечения? — осторожно спрашивала её Анна.

— Бассейн, лыжи зимой — всё это осталось, — отвечала подруга. — Летом дача, озеро, могу и с парашютом прыгнуть... А вот йоги-медитации всякие, фен-шуй и прочую бесовщину я отогнала прочь. Православная вера — правдой сильна.

— Какая там правда, — усмехнулась Анна, — попы вас дурят, тянут последние деньги с народа, а сами на мерседесах разъезжают и не работают при этом, палец о палец не ударят.

Лена грустно посмотрела на подругу.

— Некоторые разъезжают. Но, видишь ли, взгляд человека на окружающее отражает не только то, что вокруг делается, но и то, что внутри него самого происходит... Словом, каждый своё видит: кто попов на мерседесах, а кто Бога.

Лена тоже заметила перемены в подруге, и на её жалобы на жизнь посоветовала ей сходить в церковь. Ну, для начала — хоть свечку поставь, поклонись. А там, как Бог даст. А чтобы хватило решимости и не передумать, предложила сходить вместе. Однако в последний момент, когда Анна уже ждала её на условленном месте, Лена позвонила ей и сказала, что у неё только что тяжело заболела мама, и она вынуждена ехать скорую.

— Сходи пока одна, без меня, — предложила Лена. — Поставь свечку. А потом вместе сходим, я расскажу тебе, что и как...

И Анна пошла одна.

2

Виктория Борисовна жизнь провела небурную, в трудах и заботах о семейном благополучии. Занималась наукой, воспитала двоих детей, защитила кандидатскую. Муж Виктории Борисовны успел стать доктором наук философских. Ещё в советское время они начали ходить в церковь, особо не афишируя это. Прихожан было совсем мало и относились они друг к другу как в семье. Батюшка всю паству в лицо знал, как глава семьи домочадцев. Так что, когда наступили другие времена и на религию вроде как мода пошла, Виктория Борисовна с мужем скептически относились к толпам новообращённых. Не огорчались, конечно, обилию прихожан, а только относились к «новым» осторожно, держались особняком, подчёркивая свою опытность и искушённость в вопросах веры.

Так и жили бы себе, ходить в церковь теперь не осуждалось никем, и даже, наоборот, порой приветствовалось. Да пришла беда, муж Виктории Борисовны заболел тяжело. В один из дней он попросил, чтобы батюшку к нему пригласили для соборования и причастия.

А после причастия призвал муж Викторину Борисовну к себе и пришла ему охота перед ней исповедаться. Весь вечер изливал он душу, в чём повинен перед женой да перед людьми был. Супруге, конечно, он не изменял, людей не убивал, и поначалу Виктория Борисовна слушала, вроде для проформы. А потом как вслушалась, да приняла душой, ужаснулась даже сколько грехов за обычным «безгреховным» человеком водится.

К утру муж умер. Схоронила его Виктория Борисовна и сама задумалась о своей жизни. А как задумалась, так открылась и ей её

грешное бытие, да так, что за голову схватишься: и как по молодости лет аборт делала, и как в науке пробивалась, где приходилось и «локтями» толкаться, и ложь «во спасение», и осуждение коллективное, тех, кто не в ногу идёт с коллективом, а сами вон, в церковь, тайком ходили. Да мало ли чего... Словом, поняла Виктория Борисовна, что до самой смерти ей грехи замаливать надо. А как? Начала в свободное время приходиться в храм убираться.

Постепенно вернулось к ней спокойствие, умиротворённость. Грехи свои помнила, но теперь не казалось всё так безнадежно, раз она правильным путём идёт. Раздражали иногда «захожане» неумелые, которые ни ступить, ни молвить, те что иной раз и «Отче наш» по бумажке пели. Но Виктория Борисовна всякий раз одёргивала себя, помня, что осуждение — это тяжкий грех.

В тот день она по-особому настроилась. После литургии наступил перерыв между службами. День был непростительный, и женщины в храме не спеша убирались, постепенно приводя его в порядок. Всё вокруг уже блестело, и даже пол успели вымести и почистить. Скоро можно будет отдохнуть.

Неожиданно скрипнула и стукнула входная дверь. Послышался цокот каблучков. Виктория Борисовна насторожилась, бывалые прихожанки высокие каблукы в храм не надевали, чтобы пол не портить, да и стоять долго тяжело на шпильках. Внешний вид женщины, вошедшей затем в церковь, тоже не очень понравился Виктории Борисовне: платок завязан так, как обычно в храме не повязывают — молиться неудобно, юбка длинная в ногах путается — сразу заметно, что женщина не привыкла в таких ходить, всё больше в брюках или коротких юбочках.

Виктория Борисовна исподтишка с опаской наблюдала за вошедшей — мало ли что, разный люд заносит сюда, а в последнее время вон и хулиганки всякие повадились...

Женщину словно мотало туда-сюда, она всё время оглядывалась, дёргалась, порывалась идти в разные стороны, и тем ещё больше держала Викторию Борисовну в напряжении. Наконец женщина купила длинную свечу и, опять, подёргавшись и поозиравшись, подошла к иконам. Виктория Борисовна, делая вид, что убирается, на всякий случай стала подбираться к ней. Женщина неумело сунула кончик свечи в горящую лампадку.

«Ну вот, так и думала! — ударило в голову Виктории Борисовне. — Накапает со свечи в лампадку-то, коптить будет, стенки жирные, пыль, грязь накопятся. Ну приподняла бы хоть фитилёк за планочку...»

— Ну куда, куда в лампаду свечой! — не помня себя, зашипела Виктория Борисовна. — Небось, дома так не делаете, в кастрюлю руками не лезете!

Женщина воткнула свечу и выбежала вон. Виктория Борисовна несколько секунд смотрела вслед и вдруг ей стало не по себе. «Чего это я? — Подумала она испуганно. — Женщина видно впервые зашла... А, может, и не впервые, а горе у неё какое, не в себе, может... Нет, чтобы помочь, подсказать...». И Виктория Борисовна так расстроилась, что не могла себе места найти до самой исповеди после вечерней службы.

* * *

Ещё какое-то время Анна шагала быстро, с гордо поднятой головой. Постепенно она замедлила шаг, пошла, не торопясь. «И кого я испугалась? — Недоумевала она. — Эту мышь серую? Это я-то, я? Человек с высшим образованием, менеджер... Да кто она такая там!». Анна через силу улыбнулась, махнула рукой, и не спеша пошла к остановке трамвая. Ради такого случая она приехала на общественном транспорте. Странно было бы, по её мнению, подкатить к церкви на своём автомобиле. «Да есть ли там где припарковать, и можно ли?» — она не знала.

ПОХОРОНЫ

Лапунов впервые оказался в крематории, и то сказать — совершенно случайно. Не думал, не предполагал. Впрочем, смерть и похороны — это такие события, что, как ни готовься, а всё одно — явятся неожиданно, как снег зимой в России.

Лапунов работал в городской газете, в бывшем отделе пропаганды. Почему в бывшем? А потому, что в свете новых веяний отдел был переименован и назывался теперь отдел «Духовно-нравственного просвещения».

Накануне, в обеденный перерыв, к Лапунову подошёл начальник отдела:

— Тут такое дело, — начал он подозрительно смущённо, что сразу настораживало. — Умер, понимаешь, заслуженный человек, ветеран войны. Надо бы проводить, цветы от отдела, венки... Ну, по-человечески, короче.

Лапунов открыл, было, рот, но начальник не дал ему даже выдохнуть, и быстро вполголоса затараторил:

— Ты у нас один из лучших работников. Не Говорко же посылать! Говорко или опоздает, или напьётся на поминках. Я, между прочим, тоже буду.

Таким образом разговор подожили.

«Ну что же, — рассуждал, собираясь утром, Лапунов, — в морг — так в морг. Я ведь в морге-то и не был никогда. Даже интересно, свежее впечатление...».

Декабрь в этом году выдался морозным, снежным. Кругом сияли гирляндами ёлки, ёлочки или просто огоньки в витринах. «Не дожид человек до Нового года, — мелькнула мысль у Лапунова. — А ведь он наверняка бы отметил праздник. Больной, неходячий, а всё равно. А я вот пост соблюдаю, Новый год не отмечаю, но буду встречать. Такая штука жизнь — уму непостижимая».

Купив десять гвоздик, он добрался до морга. Оказавшись в помещении, с отделкой стен кафельной плиткой до самого потолка, Лапунов невольно вспомнил, как в детстве нырял в бассейне на пятиметровую глубину. Тогда его глаза защищали очки для плавания, и он отлично всё видел вокруг. Теперь его взору предстало нечто подобное, он снова ощутил себя на дне бассейна.

Здесь уже собрались родные и близкие. Вскоре вынесли гроб с телом. Состоялось недолгое прощание. Многие крестились, обращаясь к прикреплённой на кафеле иконе Спаса Нерукотворного. «Упокой, Господи, раба Божия...»

Начали садиться в автобус, чтобы ехать в крематорий. Заметив нерешительность Лапунова, начальник взял его за руку.

— Поехали, поехали, проводить надо, нехорошо...

Так Лапунов впервые оказался в крематории. Впечатление, и в самом деле, было новым, к тому же, крайне унылым. По сравнению с привычным кладбищем, где, можно сказать, живописно пестрели разнообразными кресты, памятники и надгробия, суровые, почти аскетические формы здания крематория и окружавших его панелей с ячейками для урн с прахом, как ничто, напоминали о смерти в самой навязчивой форме. Традиционное кладбище располагало к раздумьям о смыслах жизни и смерти. Крематорий же просто наводил ужас, или в крайнем случае, вызывал невроз.

В большом ритуальном зале, куда прибывших впустили по команде, уже всё было готово. Гроб с телом возвышался на постаменте, ждал своего часа священник. Дали слово вдове покойного, потом товарищам по работе, близким родственникам. Помахивая курящимся кадилом, к гробу с одной стороны приблизился священник, с другой подошёл соратник покойного, городской депутат от партии коммунистов.

— Давайте продолжим речи после панихиды, — посоветовал батюшка.

— Нет, — твёрдо сказал коммунист, почти отодвигая духовное лицо. И начал говорить.

Речь мало чем отличалась от ушедших в прошлое выступлений в советское время. Только бросались в глаза её пламенность и агрессивность, как будто усопший не мирно почил на больничной койке, а пал в бою. От этой речи даже шикарное кожаное пальто депутата стало казаться комиссарской тужуркой. Глаза и лысина выступающего

блестели от жарких слов и ярких ламп, вмонтированных в потолок. И, если бы по окончании выступления, оратор пальнул из маузера в потолок, Лапунов, пожалуй, и не удивился бы.

Наконец, началась панихида. После пламенных обещаний депутата «бороться и победить», Лапунов почти с радостью подхватил: «Со Святыми упокой...», но осёкся. «А надо ли ему это?». Лапунов взглянул на покойного. «Даже ухом не ведёт», — вздохнул Лапунов. Панихида однако была оплачена, батюшка кадил вокруг гроба, отгоняя бесов, бесстыдно лезущих за душой воинствующего атеиста. Лапунов перекрестился «Упокой, Господи, душу раба Твоего...».

Покрытый букетами цветов, гроб накрыли крышкой, и он, под вторую часть реквиема Моцарта, стал опускаться вниз, где его уже ожидала распахнутая дверь топки. «Как в преисподнюю», — опять подумал Лапунов и перекрестился: «На всё воля Божия...».

Вдова подходила к присутствующим, заглядывая в глаза, приглашала помянуть. Подошла и к ним.

— Пожалуйста, помянуть, Петра Ивановича...

Начальник незаметно кивнул Лапунову, дескать, соглашайся. Лапунов подумал, что спешить теперь некуда, день разменяли, и поехал поминать.

Около получаса тащились по заснеженному нарядному городу. Ехали молча, задумчиво. За окнами мелькали люди в предпраздничном настроении, с сумками, пакетами, тащили ёлки, шампанское. «А мы тут из крематория едем...» — как бы оправдываясь, бормотал Лапунов.

Поминальный стол получился обильным: с водкой, закусками, горячим — в основном, всё мясное. «Вот и ладно, — решил Лапунов, — я ведь тут для проформы. Поклюю вон селёдки, посижу, поддержку присутствием». Вместе с начальником они пробрались в дальний угол стола и скромно устроились.

Лапунов пригублял из рюмки после очередной поминальной речи, слушал с интересом разговоры, поскольку с виновником застолья он впервые познакомился только нынче утром. Говорили, что умерший был заслуженным человеком, вёл активную общественную работу, как ветеран войны встречался со школьниками. Сокрушались, что остаётся их всё меньше, вспоминали тех, кто ещё жив.

Шла оживлённая беседа, в которой проявлялась та нездоровая радость, что испытывает человек, ставший невольным свидетелем чужой беды. Ужас! Страх! Но ведь не со мной, не меня... Ура-а! Собеседники хмелели от ощущения, что в этот раз пронесло, может и дальше как-нибудь...

В этом, должно быть, и заключается основное противоречие жизни. Глядя на чужое благополучие, достаток и успех, люди чувствуют себя несчастными, обделёнными, Ведь они тоже достойны всего этого, может быть даже больше, чем кто-либо. Но обделены, обойдены судь-

бой. Зато, видя чужое несчастье, чужую беду, чужое падение — ощущают себя счастливыми. Оказывается, могло быть и хуже, по сравнению с чужим горем — ты счастливый человек! Вероятно, оттого пожары, крушения, страшные происшествия привлекают так много зевак, а фильмы ужасов и катастроф собирают большие аудитории. Потому что человек рождён для счастья!

Сидевшая слева от Лапунова соседка, старше его лет на двадцать, а то и больше, ела с аппетитом, пила водку наравне с мужчинами. В ней чувствовалась старая партийная закваска — говорить в любом собрании то, что нужно. Но, опрокинув пару-тройку рюмок, она, что называется, «развязала галстук», и вполголоса, так что слышал только Лапунов, комментировала речи, обнажая непарадную правду. Вскоре она стала игриво поглядывать на Лапунова.

— Ой, что-то я захмелела немного, — кокетливо призналась она. — Вы проводите меня, на всякий случай?

«Ну вот, — тоскливо подумал Лапунов, — времена меняются, а сценарий тот же. Лишь бы до танцев не дошло...». Он напрягся, лихорадочно пытаясь придумать, как выпутаться из ситуации. Но тут его спас начальник, тихонько толкнув локтем в бок:

— Пора, пожалуй. — И они стали прощаться.

— Как? — удивилась соседка Лапунова, — а чай, а пирог? — Её явно тянуло на сладкое.

— Да вы пейте, пейте! — почти радостно успокоил её Лапунов. — Ешьте на здоровье, а нам пора.

И, попрощавшись, они удалились, обещая появиться на сороковинах. На улице напряжение ушло, стало обоим легче. Они неспешно шагали к метро, приятельски беседуя, несмотря на разницу в возрасте и положении. Похороны и поминальное застолье сблизили их.

Сын Лапунова Олег уже пришёл из школы и теперь, сосредоточенно сопя, что-то вытворял с ноутбуком.

— Как дела? Лапунов потрепал сына рукой по голове. — Как в школе?

— По истории тройка, — хмуро ответил Олег.

Лапунов устало опустил на тахту.

— Как ты умудряешься? — Развёл он руками. — С твоей головой, с твоими способностями щёлкать задачи по математике, как белка орехи, не выучить пару дат к уроку?

— Ну, п-а-а-ап, — законючил отпрыск, — ну что это за наука такая? Ну зачем мне знать кто кого когда убил, разгромил, сверг или казнил? И когда всё было то? Сейчас всё по-другому совсем.

— Ну да, — грустно согласился Лапунов, — нажал кнопку — пицца горячая, другую нажал — ракета полетела... Да и нажимать-то особо не надо.

Лапунов задумался: в самом деле, как объяснить этому юному нигилисту важность знания кто он и откуда?..

— Помнишь, — начал он, — мы читали с тобой историю про Ноев Ковчег?

— Ну, помню, — неохотно отозвался сын.

— А помнишь ты, что Ной единственный, кто спасся сам, да ещё спас свою семью и всё зверьё на земле, взяв всякой твари по паре?

— Ну да, только мамонтов не взял и динозавров, а зря, я бы взял...

— Я не о том, — перебил Лапунов коммерческие планы сына. — Ты знаешь, почему это произошло, почему он спасся?

— Потому что был праведником, — отчеканил Олег.

— А что это значит?

— Ну-у-у он до-обрый был, верил в Бога, молился...

— Всё так, — подтвердил Лапунов, — а это значит, что Ной спасся сам и спас других, потому что был культурный человек!

Олег непонимающе выпучил глаза.

— Ной, — продолжал Лапунов, — любил свою Родину, чтит своих предков, исполнял их обычаи и традиции, знал их. Ной любил свою семью. И, наконец, Ной любил окружающую природу, как творение Божие. А такой человек, относящийся с уважением к своей истории и окружающему его миру, не может не верить в Бога. Это вот, брат, и есть культура. Ной знал и любил свою историю, свои корни. А дерево с корнями не так просто выкорчевать буре. И если много деревьев с корнями — им и ураган не страшен. А дерево без корней и ветерок повалит.

— Само грохнетя, — предположил сын.

— Постой, — спохватился Лапунов, — а ты пообедал?

Олег отрицательно покачал головой.

— Ну вот, — примирительно усмехнулся Лапунов, — вовремя обеда, брат, тоже культура. Вставай, пойдём на кухню. У меня сегодня трудный день был.

Вечером, засыпая рядом с женой, Лапунов опять вспомнил крематорий и падающий в подземелье гроб. Он зябко поёжился. Сквозь дрёму нахлынули яркие, цветные картины из детства: отбивающий такт большой барабан похоронного оркестра, блестящие духовые инструменты, музыканты, выдувающие траурный марш, колонны людей с венками, гроб на полотенцах. Нет, на кладбище куда уютнее, успел подумать Лапунов, погружаясь в сон.

Марина СМИРНОВА-ВОЙЦКАЯ

/ Вильнюс /



ЗЕРКАЛА

Будут наши тела отражаться в старинных сервантах,
Деревянные ангелы будут с укором молчать
И припомнится стих, что веками живет в фолиантах,
«...положи меня рядом, как будто на сердце печать...»
Положи меня рядом и дай мне укрыться тобою,
Будут капли дождя по окошкам бежать и бежать...
Назови это нашей любовью, борьбой иль судьбою
Ах, не все ли равно — зеркалам этим, что отражать.

* * *

Злыми холодными веснами
Ищешь ключи от дверей,
Ночи с неяркими звездами,
В лужах — лучи фонарей.

Нищий в вечернем тумане
Не сводит внимательных глаз —
Насыпь ему мелочь горстями,
Как насыпал прошлый раз.

Еще непокрытая листьями
Береза у дальней стены,
Вечные поиски истины
Ждали тебя до весны.

Свет абажура в оконце,
От лампы круги на столе —
Предвосхищение солнца
И теплоты на земле.

* * *

Жимолостью и жемчугом, жалостью и желанием
Врываясь в мои сновидения, останавливая наяву
Дыханием теплым полуночным и рассветным дыханием
Ты живешь, существуешь, чувствуешь, знаешь, что я зову...
Из небытия и небыли, из перевозданной полночи
Рифмой внезапно найденной, что мучила так давно
И отголоском, отзвуком детских надежд беспомощных
Что все хорошо закончится в сказке, в романе, в кино...

* * *

Симфониями Малера, стихами Манделъштама
Дождями морозящими у невских берегов
Лепетом младенческим, звучаньем слова «мама»
Друзей благословеньями, прощением врагов
И ложечкой звенящею в стакане чая черного
Сквозь ночь вперед летящего вагона на восток
Лица, давно любимого, усмешкой непокорною,
Внезапно отлетающей как с дерева листок.

СОН

Перепады, переливы, перезвоны,
Перекаты на далеком берегу...
Отражения, скольженье под уклоны,
Я могу упасть, но все-таки бегу
Переключки, перезвоны, переливы,
Отраженья в окнах, в книгах, в зеркалах,
Отражения в озерах и заливах...
Возвращение. И звук ключа в дверях.

* * *

— Давай поедem к морю осенью!
Давай отбросим все дела!
И будут волны с белой проседью
И будет ветер, дождь и мгла...
И будут чайки обнаглевшие
Хватать рыбешек из волны,
И будут парки опустевшие
И по ночам цветные сны...
И голова моя закружится
Уже в предчувствии зимы
И отразится небо в лужицах.

И отразимся в лужах мы...
И будут берега пустынные
Дарить, как в детстве, янтари
И вспыхнут вечерами длинными
На побережье фонари
В костеле — музыка органная
И отгоревших листьев дым
И счастье дальнее, туманное
Вдруг станет близким и живым.

* * *

Иносказанья немислимы —
Мы переходим черту,
Как пароходик от пристани,
Как самолет — в высоту.
Символом жизни и Франции —
Плющ на кирпичной стене...
Быть нам с тобой иностранцами
В этой ли, в той ли стране.
Стихотворенье приснится ли,
Гром ли ударит вдали,
Там далеко, за ресницами
Спрятаны тайны твои.
Звуки чужого наречия,
Звон колоколен чужих...
Лето беспечное, вечное
Вдруг опрокинулось вмиг
Ляжет дорожка недлинная —
Путь от луны до воды,
Мальвами и георгинами
Август приходит в сады.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕСЕНКА

А я Мари — мари-марионетка!
Ты дергаешь за ниточки меня,
То редко, то задумчиво, то метко,
В своих руках судьбу мою храня
Пари-пари-Париж в рассветах тает,
И жареных каштанов аромат.
Шарман-шарман-шарманочка играет,
Осенний ветерок чему-то рад
Ах, страшно быть привязанной за нити!
Ну а без них — я вовсе не живу.
К твоим ногам бросает деньги зритель.

Бульвар бросает желтую листву.
Пари-пари-Париж в закате тает,
Осенними каштанами маня,
Шарман-шарман-шарманочка играет,
Ты дергаешь за ниточки меня...

КЛАЙПЕДА

Ощущение праздника детства —
Эти запахи, звуки и сны...
Королевство мое и наследство
Прибалтийской холодной волны
Бесконечное серое небо,
Корабли и причалы в дыму
Припасенная корочка хлеба,
Чтобы чайкам бросать за корму
Этот запах смолы и мазута,
Этот плен моросящих дождей,
Чувство дома и чувство уюта...
Эта малость отпущенных дней

* * *

Это странное время — между светом и тьмою
Нерешительно окна зажигает в домах.
Это странное бремя — между мной и тобою
Ощутимо и вязко, точно глина в руках.
Лист кленовый, кружась, упадет на ладони.
Эта хрупкость материи, эта краткость пути...
За тобою я мысленно вновь бросаюсь в погоню,
Но то стены, то пропасти — до тебя не дойти
Расстояния — большие, чем Землей предусмотрены,
Словно в разных галактиках, в зонах разных светил.
Нет сближения, нет... Мы все время за стеклами,
Их разбить — ни желания нету, ни сил.
И как нищий с сумою, скитаясь по свету,
Собирает по крохам себе на жизньё,
Так и я собираю золотые монеты —
То улыбку, то голос,
То молчанье твое...

Сергей МИХАЙЛОВ

/ Калининград /



СЛЕПАЯ ТОЧКА

*Из городских достопримечательностей
ему запомнилась её грудь*

Он хотел бы свести всё к шутке
Но чувство юмора в этот раз отказало
Осталось просто чувство

Где оно свило себе гнездо
он разобрать не мог
Только куда бы теперь ни шёл
вдруг обращался в колонну

В голове гудел ветер
Вдоль позвоночника шла трещина
Ступни проросла трава

Всё
цепеневшее вместе с ним и вокруг него
было храм её тела
не отражавший света воспоминаний

Слепая точка

Два уцелевших свода
слепки жертвенной ласки
опускались ему на глаза
и гасили зрение
лишнее здесь поскольку внутри
было темно а снаружи
ничего не было

ПСАЛОМ

в медленных водах омою тебя
любовь
будет псалмом тебе их рассеянный лепет
в мелкой воде омою тебя
под стать
ложу твоему тесному для двоих
не трону от сих
ни рукой ни слезой ни сном
ключицы твоей сухой
веткой глядящей в воду
будет тебе
корысти волны достать
смерть бескорыстна
.....
да не воскреснешь

ИЮЛЬ

Смотри, как волнуется зелень. А ей-то — с чего?
Бесчестное лето, и в самом начале — ветрянка.
В чаду шелестящем она не поймёт ничего,
Но всё-таки слышит растерянный возглас подранка.

Она беспощадна и только волнуется зря:
Он этим бездумным волнением и сброшен на землю.
Парит под ногами беспутная наша земля
И кормит подранками жадную до смерти зелень.

...Давай остановимся, как-нибудь вместе замрём.
Ну что нам за счастье, и правда, в обманчивом ветре?
Волнуется зелень пускай и сосёт чернозём,
А мы притворимся, как будто не тронуты смертью.

*

есть ли ты птица
поющая в кроне
вровень со мной

тело ли там
призывает к себе
другое тело

голос ли сам
без корысти запел
без печали

4 УГЛА

1

Алё, мама! —
говорит мужчина за сорок
в белых джинсах —
одна штанина подвёрнута,
другая нет.

2

такая дорогая картошка
такое дорогое пиво
женщина кричит в трубку
у меня нет больше денег
наверно тоже купила
такую дорогую картошку
такое дорогое пиво

3

— два щебня, два песка, один цемент.
ты слышишь ли?
— два щебня два песка...
— ...один цемент. и всё?
— и всё! и можно больше вообще не волноваться.

4

Долго крутилась, прежде чем подойти.
— Есть прикурить?
— Не знаю. — Полез в рюкзак, достал зажигалку.
— Хочешь, оставь, — ей.
— А ты?
— Я бросил.
— Давно?
Он прячет глаза и качает головой
немного дольше, чем нужно.

*

двое уже пропали на этой койке
только приляжет и всё нет человека
вы гражданин прекращайте свои попойки
я полночи ворочаюсь как моральный калека
ах душа моя девочка что же ты так поблекла
выйдешь в общество каждый второй покойник

ЭТЮД

Эта осень была отчаянно красива
Как женщина, которая пережила потерю и решила жить дальше
И вот она шла по городу, щедро расплёскивая выстрадавшую
свою красоту направо и налево,
а старики смотрели ей вслед и цокали языками
Те, что сохранили подобие памяти, сильно разбавленное слепотой
и воображением, кто шамкая, кто хрипя, словно запретное лакомство,
пробовали вернуть, припомнить на вкус, назвать имена
других женщин, с которыми не сложилось или сложилось совсем не то
То, что давно ушло, как будто вновь от них уходило
И этот нечаянный праздник, вмиг озарив, погружал их
в ещё более горький мрак
Они понимали, что другой осени у них уже не будет
Но многие ошибались и в этом

ПАСТВА

С низких вентспилских крыш
кричит высокими голосами
в пустое небо ватага чаек.

Мы, говорят, помойные драные кошки.
Нам, говорят, не долететь до тёплого моря, богатого рыбой.
Дай нам, дай нам обильную пищу,
за которую нам не будет стыдно.
Один только ливень из жирной миноги и сладких моллюсков.

Ещё одно чудо — и мы заткнёмся,
чтобы не беспокоить тебя, усталого и больного,
и не терзать пугливые души твоих
людей, приносящих нам по утрам
свои убогие подношенья.

Дождь наш насущный
дай нам днесь.

Сергей СМИРНОВ

/ Вильнюс /



ГОРОД В НОЧИ

Этот город в ночи католически-строг.
Я отбыл в нем почти весь пожизненный срок —
в зоне десять на пять километров,
обнесенной холмами и ветром.

За какие грехи, за какой беспредел
почитай, от звонка до звонка отсидел —
я ни ухом ни рылом... да только
так решила небесная «тройка».

Видно, прежняя жизнь забубённой была;
взяли душу мою да под белы крыла,
зачитали бумагу — и вышли
мне холмы да костельные вышки.

Этот город в ночи — колыбель и тюрьма.
Получил ни за что и отдам задарма.
В нем кружусь, как чайнка в стакане,
коротая отбывку стихами.

Я не то, чтоб устал и не то, чтоб поблек,
а притих, присмирел, собираюсь в побег,
экономя решимость и силы,
чтоб с лихвою в побеге хватило.

Здесь не любят легко отпускать беглецов:
зарывают в холмы — и не сыщешь концов.
Но меня им не взять за целковый —
мне не рвать пуповины церковной.

Я рвану на заре, когда дали седы,
не касаясь травы, чтоб запутать следы,
задыхаясь от воли и света —
на разведанный брод через Лету.

И рубахи своей не порву о суки,
и промажут по мне с темных вышек стрелки,
даже гончие местной породы
трижды след потеряют до брода.

Этот город в ночи католически-строг.
Я б оставил ему пару искренних строк
за хорошее, что пережито,
да кому эти строки нужны-то...

* * *

На балтийском побережье
начинается сезон.
Запах моря, как и прежде,
тонок, йодист, невесом.
Белой пенною полоской
чуть колыхнется прибой,
и Курляндский полуостров
виден в дымке голубой.

Я гляжу ленивым глазом
в убегающую даль:
я б Ливонию указом
здесь, как прежде, воссоздал!
В глупых грезах не витая,
горних высей не суля,
чтоб — наколько глаз хватает —
только кирхи и поля!

И сказал бы: — В блюдолизах
много ль радости ходить?
Лучше сыр варить на мызах,
жирных палтусов коптить!
Все равно в жупане куцем
не пробиться в господу..
И куда ж тебе приткнуться?
Да уж ведомо куда!

Солнце всходит на востоке —
вот тебе и весь расклад!

Ведь и так лесистым боком
ты к востоку приросла,
и уже к иным пределам
как ни рвись — не улетишь!
...На меня, как парабеллум,
вскинул взгляд седой латыш.

* * *

Обнимемся. Еще свиреп туман, да
туманы для скитальцев — не беда.
Подобрана веселая команда,
загружены и порох, и вода.
Просторы парусам твоим обширны,
бессчетны и неведомы стези...
Ты мне букетик смирнии из Смирны,
когда, даст бог, вернешься — привези.
В твои года еще ничто не поздно
и можно все — Господь тебя храни!
Твои глаза сверкают, словно звезды,
а мускулы тугие, как ремни.
Тебе пассат с горчинкою имбирной
в овал иллюминатора сквозит...
Ты мне букетик смирнии из Смирны,
конечно, если вспомншь — привези.

...Не свидимся, я чувствую. Звените
монетками разменными, слова...
Твоя звезда — огромная! — в зените,
моя — над горизонтом — чуть жива.
Растет ли в Смирне смирния — не знаю,
хитрю затем, чтоб в дальней стороне
мою чудную просьбу исполняя,
ты вспомнил ненадолго обо мне.

* * *

Жили смешные людишки,
чтоб им ни дна, ни покрывки,
шило таили в мешке
и прозябали в тоске.
Лезло проклятое шило,
добрых соседей смешило.
Очень обидна была
добрых соседей хула.

Шило сменяли на мыло —
стало и вовсе постыло.
Всяк увидал дуралей —
с шилом жилось веселей!
Да хорошо, что соседи
растолковали в беседе:
к мылу веревка нужна!
с мылом веревка дружна...

Люди веревку купили —
все сбереженья убили.
Каждому вышел аршин,
бабам — аршин с небольшим.
Тут и соседи — а как же,
ближнему разве откажешь? —
все как на праздник пришли,
мыть узлы помогли.

Ну, а потом помогали —
чтоб не сучили ногами,
чтобы, совсем доходя,
не оборвались с гвоздя...
Нынче имеют людишки
каждый по дну и по крышке.
Шило в соседском мешке.
Вывод — в сметливой башке.

* * *

Поговорка старая права —
простота страшнее воровства.
Вор утащит часть — еще не горе,
а проstack погубит все — под корень.

А потом глядит в твои глаза,
где такая ненависть клубится,
что другому впору б удавиться,
и глаза его — как образа.

Потому и славится в веках
суд Пилата, праведный и скорый:
пощадить разбойника и вора,
а на крест подвесить — проstackа.

Дмитрий КРАСНОВ

/ Таллинн /



* * *

То ли уключины скрип,
То ли пение каракатиц
Валерий Земских

Я живу, как смешное слово:
Баклажан, патиссон, каракатица.
Надо мной взойдёт солнце снова,
Повисит и опять закатится;
Звёзды прыснут, и я подумаю
Да такое, что жить не хочется.
Всё сложу, и выходит суммою
Круглый О, и ещё ...диночество.
Как же так, в рукаве Галактики,
Где одна за другой сверхновые,
Не поздравят с Днём Космонавтики
И не доброго скажут слова мне?
Я бы снял скафандр, воздух выпустил
И лежал бы в открытом космосе,
Только всё это, правда, глупости,
Я не в том уже, братцы, возрасте.
Там же холодно, всё простудится,
Ну а вдруг обо мне спохватятся.
Так что смирно иду по улице:
Баклажан, патиссон, каракатица.

* * *

На Земле идёт межгалактическая война
Без лазеров и спецназа, но это она.
Нас побеждают, ну или почти победили
Такие же гоминиды на вид, но они другие.
Я как-то курил, курил и снова курил

И навскидку считал расстановку сил.
Я Вас вряд ли удивлю или чем-то порадую,
Но я выполняю долг, потому докладываю:
Количество менеджеров увеличилось минимум вдвое.
Всё больше людей покупают в цветочек обои.
И самое неожиданное, что телевиденье не сдаёт позиции,
Рисую свои законы, проекции, фикции.
Нас научились ломать перед стартом.
Мой молодой сосед работает консультантом,
И ему — прости, Земной госпожи, — это нравится.
Ночью за стенкой кто-то ещё сражается,
Но я в нём не уверен, боюсь подойти к человеку,
Есть подозрение, что он уже взял ипотеку.
Запрос на «бином ньютона»
Падает к запросу «цена айфона»
В пропорции, и она обратная.
И вот ещё одна неприятная
Тенденция на рост производства
Вещей, а в будущем и потомства.
И это не мы — это те.
Я вот курю в темноте
И вдыхаю гнильё отлива.
Viva захватчикам, viva!

* * *

Ты жива, дорогая, а я здесь дужу в дуду.
Я в Аду, дорогая, потому что я жил в Аду.
Оказалось, нас сортируют совсем не так:
Праведный, шаг вперёд, шаг назад, муadak.
Оказалось, что там ровно так, как здесь,
Словно сквозь горизонт продолжение рельс.
Если, скажем, всю жизнь ты нелеп, изгой —
Там не хуже, ну разве что Чёрт с тобой.
И не лучше. С пожитками принесут
Незаметно так, вот и весь их Суд.
Здесь как будто всё замерло в янтаре,
Каждый вечер гуляю в своём дворе,
Перед сном на ключ запираю дверь,
Ты ещё хороша, а не как теперь,
Несмотря, что время прошло сполна,
Ты ещё моя, не его жена.
Я всё так же не знаю, как дальше жить:
То ли бизнес открыть, то ли рот закрыть.

И не знаю какой тебе дать совет,
Если вечность есть, но как будто нет.
Так что, милая, просто живи хорошо,
Чтоб хотелось ещё, а потом ещё.

* * *

Здравствуйте, дети! Я новый учитель кажется.
Не знаю, как встал в 6:30 и не перепутал класс.
Но мел то скрипит, то крошится, фломастер о что-то мажется
Вроде, попал со временем. Сейчас Кайнозой у нас?
Фанерозой уж точно и вроде бы Возрождение..
И хватит жевать за партую! Мы ж с вами приметы эпох!
Делимое — Вы, делителем становится всё население,
А частное — время, которое для каждого выделил Бог

Сказать чтобы... Марш с подоконника! Не вся пустота прозрачная!
Глядите, сентябрь покойника погнал на ветру курить,
И осень его железная, дорожная осень, дачная
Картофелем в погреб высыпет хранить его там хоронить.
А что до предмета, выставлю я всем по пятёрке в четверти,
И в первые же каникулы крепчайшим вином запью,
Устроюсь на лодке Джармуша, откинувшись где-то спереди,
И чтоб не пугались зрители, я сделаю вид что сплю.

* * *

Он хлопнул в борт грузовика.
Шофёр приподнял кепку.
«Пока, Мариночка! Пока!»
«Пацан, держи конфетку!»
На пальцах тёплый шоколад.
В июне день, как сутки.
В тени берёзовой сидят;
И Вознесенский в сумке,
Забыли сдать или продлить,
В библиотеке пыльно.
Чтоб жёлтый лак стола скоблить,
Он нажимает сильно
На ключ, царапая ответ
Таким же хулиганам.
Обняв запястье, яркий свет
«Заря» несёт по рамам,
По окнам, сумкам, рельсам, по
Глазам
приезжих, провожатых.
Так жизнь снимается в кино.
«Ленфильм» семидесятых.



Фото Яцека Колодзейского

Щепан ТВАРДОХ

/ Варшава /

Перевод с польского Сергея Морейно

МОРФИЙ

(фрагмент романа)

Что ж, старик Пешковский говорит. Сеет. Тот, кто слушает, верит Пешковскому. Верит уже двадцатый год подряд. А тот говорит.

Се есть человек, Константин Виллеман, и это ты, Костичек. Се, вполонину немец, а может и целиком немец, ведь неизвестно, кем считать твою мать, что по-немецки говорит лучше, чем по-польски. И человек этот соблазнил его дочь, и чуть было не уклонился от уз брачных.

Обоим, говорящему и слушающему, известно, что это неправда, никто никого не соблазнял, но исторической логике потребна сия малая ложь, дабы история, что представляет собой ветвящийся отросток динамики, о которой я твержу, была подлинной. Оттого Пешковский и намащивает свои зерна, имеющие в зойти в сей малой лжи.

Да, само собой, он упоминает о том, как ты воевал весь сентябрь, упоминает в эдаком нейтральном тоне, что подкрепит его риторику, придаст ей объективный характер, в общем, воевал и ладно, награжден орденом, всё тем же тоном, подкрасив тембр голоса деликатным сомнением, деликатное сомнение весьма полезно в такой ситуации, значит, награжден орденом, а кем награжден, в какой связи наградили, мало ли мы слышали рассказов о том, как раздаются ордена иным людям?

А после расскажет, как ты дезертировал перед самой капитуляцией. Иногда, кроме мелких неправд, иногда, в придачу к равным всецелому отрицанию сомнениям, росту истории скармливается крупная ложь, ты, Костичек, сказал бы: махровая. Лишь бы эта махровая, крупная ложь касалась случившегося как бы походя. Итак, ты на самом деле покинул часть перед самой сдачей? Да. И хватит, оставь место интерпретации.

Смысл? Пускай твоя национальная трансгрессия обретет конкретную драматургию, а так как ренегатство не является *deus ex machina*, ружье должно висеть на стене уже в первом акте, даже если этот акт *post factum* запаздывает.

Пешковский ни о чем таком не знает, но инстинктивно чувствует. Чувствует, поскольку сестра моя им уже занялась, он в ее власти, а уж она знает, что делать, дабы зерно, посеянное в генерале из Службы за победу Польши, дало плод.

Поэтому говорит так, как следует, с необходимым надрывом, дойдя, наконец, до сути. То, что ты, Костичек, был замечен в Немецком клубе, то, что ты получил кеннкарту, суть ерунда, суть проступки, однако такие, которые генерал, пожалуй, внес бы в реестр заслуживающих кары проступков, когда уже сослужат службу победе Польши, и се мерка, по которой выкроются следующие четыре года.

Но не об этой динамике речь. Итак, сейчас с сухих гигиеничных порошкообразных некурящих и непьющих губ Пешковского падут те самые капитальные слова, пуант: вот ты приводишь в их дом жандармов, вот ты велишь жандармам тешиться твоей польской женой, вот с удовлетворением наблюдаешь, как жандармы избивают прикладами твоего польского тестя, а всё ради того, чтобы вырвать польское дитя из материнских рук, всё ради того, чтобы забрать его и превратить в немца.

— А разве забрали? — спрашивает генерал, следующее после Пешковского звено нашей динамической последовательности.

Пешковский отвечает, нет, не забрали, мать заслонила собственной грудью. Это важно, грудь олицетворяет собой не одно только материнство, но также эротизм, а патриотическая история, жаждущая отмщения, немыслима без элемента эротики. Итак, заслонила собственной грудью дитя, продолжает Пешковский, а ты, круглый дегенерат, ты, Костичек, охотно надругался бы над телом ее и жизнью, но это было бы слишком для обычных жандармов, пусть немцев, но, даже будучи немцами, не утративших той прямой элементарной порядочности простого человека, которая не позволяет обижать мать на глазах ее ребенка, и они, немцы, не исполнили твоих злодейских приказов и ушли, не забрав дитя навстречу гибели, оставили с матерью. Так человечность, теплящаяся в любом простом человеке, одержало в них верх над тевтонским варварством.

Генерал слушает. Генерал не носит мундира, генерал гордо ходит в гражданском, которое ему не к лицу: пиджак чересчур широк, брюки коротки. Генерал красивый, вальяжный мужчина. Он отнюдь не эндек, с эндеками ничего общего. Генерал состоял в ППС-Революционной фракции, носил на груди офицерский знак «Парасоль». Был легионером, хотя в отличие от большинства своих будущих коллег, легионных политиков, имел четкое, пускай и ограниченное понятие об армии, поскольку окончил австрийские курсы офицеров запаса. Генерал является также особо посвященным масо-

ном. Является клириком Либеральной католической церкви, хоть сам не верует и не сознает, что сан, который он принял из рук англиканского ксендза, из любопытства, отчасти дурачась, отчасти для артистичного эпатажа, сан этот выжег на нем клеймо, серая жреческая дымка курится над ним, и генерал, хоть и неосознанно, открыт таким, как я, открыт моему миру. Наверное, поэтому легко находит общий язык с моей сестрой.

— Там за стеной живут четверо из Geheime Staatspolizei — говорят с сильным львовским акцентом. Но, конечно же, не как жиган, генерал ведь шляхтич, а не львовский рахубник. Рахубником был Туманович, ему ты вырезал глаз, и глаз этот тебя не так уж нынче беспокоит, когда идешь по Маршалковской, идешь себе, улицы и площади и картон и записки, и хлам, и сапоги, сапоги.

— Там за стеной живут четверо из Geheime Staatspolizei — говорит генерал Пешковскому, пока ты идешь себе на Мокотов. — Один заболел гриппом, но они не могут лечиться у польских врачей, а немецких еще не доставили. Я его вылечил, и за молчание, нате пожалуйста, получаю карбюратор от шевроле, без которого он бы у нас не поехал.

Старый Пешковский слушает, кивая головой, с довольно равнодушной учтивостью, разглядывает дозатор, словно невесть какое чудо, попивает чай, чай подан в тонком прозрачном фарфоре, узор пестелек в нитяном кружеве скатерти как мандала, нестираемая, на ветру не рассыплется, зато в огне сгорит.

Пан генерал, бывший пилсудчик, санатор и вообще свинья, все-таки поляк, поляк что-то да значит, именно нынче, нынче особенно, ненависть Пешковского к тебе, Костичек, сильнее ненависти к пилсудчикам, санаторам и прочим свиньям, что после майского переворота расселись по Польше жирными масонскими жопами. Пешковский знает, что генерал является масоном, но вряд ли это важно.

Пешковский верит генералу. Вряд ли это важно.

Важно, что уже завертелось то, чему должно вертеться, динамика событий важна. Уже генерал услышал то, что имел услышать. И этого уже не заластишь. В противном случае какой из него герой, если не попытается хотя бы воздать за столь явное насилие над польским духом?

Когда же посланец из Парижа выставит генералу счет за то, что был он санатором, точнее говоря, санационной свиньей, как определил бы Пешковский, только в иных выражениях, и ликвидирует Службу, создав на ее месте Союз, в котором генерал будет отвечать за львовский округ, неумолимая череда событий уже грянет и подбьет те пять лет, что у вас впереди. Генерал дернется за границу, в советский Львов, но чему бывать, того не минуешь.

Пешковский встает от чая и от кружева, жмут друг другу руки, поляк поляку, эндековский сокол санационной свинье, и вот уже расходятся, Пешковский идет себе к Старому Городу в новый дом, функ-

циональную каменицу, простую и скромную, а генерал возвращается уже к своим делам, кланяется солнцу, хоть его и не видно, садится за работу и дела идут.

Их нет еще, оттисков на бумаге, махина, которая держится на плечах моей сестры, еще не имеет своих печатей и подписей, но вскоре она разживется подписями и печатями, всё-то у нее скоро будет, и тогда твоя фамилия с титулованьем «иуда» оттиснется на бумаге и двинется бумаги своей тропой, потом будут комедия и трагедия, процесс, приговор, пистолет, врученный старшим офицером младшему сразу после того, как тот присягнет, и только тогда все начнется, сестра моя покуда не спустила ненасытность свою с поводка, не глотает покуда младенцев, а тот младший офицер, между прочим, врач, — сунет пистолет за пояс, в брюки, холодным дулом прямо в яйца, и отправится на встречу, а когда все будет позади, ощутит такое острое желание, что пойдет к курвам, хоть прежде никогда не ходил, положит пистолет на ночной столик в комнате, липкой от телесных выделений, и станет спариваться с безразличной лярвой, вбивая железное изголовье койки в ветхую штукатурку, круша и кроша ее, пока желтые крошки не просыплются на старые доски пола, каждая крошка как чья-то судьба в наших, в моих руках. Моих и моих сестер.

Можешь ли как-то это остановить, можешь что-нибудь сделать? Ну да, конечно же, можно начать множить контр-документы с контр-печатями, быть может, Инженер вступит в игру, предостережет, опровергнет, курьерами без усталы в Париж и обратно, высшие инстанции поддержат, сам Сикорский придаст документам и контр-документам, печатям и контр-печатям тот или иной вес, но чтобы ты начал, тебе пора почуять черную тень моей сестры, ложащуюся на тебя, а ты не чуешь, поскольку дураковат, ничего не знаешь и не узнаешь, когда вот так идешь к площади Спасителя на черном рассвете черного дня черной години в черном краю, а когда взойдешь по лестнице, откроет тебе Лубеньская, которую когда-то еще обнимет юноша с кинжалом Ферберна-Сайкса в руке.

Ведет тебя в гостиную, там Инженер в креслах.

— Пятьдесят седьмой! — обрадован твоим приходом.

Усаживааетесь.

— Не начинайте без меня, — крикнула с кухни Дзидзя Рохацевич.

Крикнула, и вдруг ситуация полностью изменилась. Зачем здесь Дзидзя Рохацевич, что ее сюда привело, почему именно она?

С Инженером. С Лубеньской.

Радуешься, что она тут.

Что в ней было такого, что радуешься? Часто ли ее видел? Много ли слышал? Да почти ничего. Что ты в ней нашел? Я знаю, ты не знаешь, оттого мне тревожно, тебе нет.

Вошла с подносом, на нем чайник с чашками. Вспархиваешь с кресла, кавалер несчастный. Дзидзя воплощенный яд, чистое издевательство в женском теле.

— Заварила чай, — с нажимом возвещает очевидность.

Ставит поднос на столик. Садится в кресло, возле Инженера. Не красotka, зато хороша необыкновенно. Длинный нос. Худоба. Ласточкины крылья ладоней. Лубеньская на диване напротив.

— Пятьдесят седьмой, пани Дзидзя остановится у пана. Должна кое-что сделать в Варшаве, — говорит Инженер, сияя.

Остановится у меня Дзидзя. Смотрю на нее. Усмехается ядовито. «В постель с такими, как ты, не ложусь», — говорит ее усмешка. — Так точно, — отвечаю.

— Завербовал этого доктора? Ростаньского? — спросила Лубеньская.

Изобличающим тоном.

Я не ответил, гляжу с вопросом на Инженера. И Дзидзя на меня одобрительный взгляд бросила. Поставил себя, а как же. Такой пострел, не спасовал перед старой аристократкой. Инженер же ни слов Лубеньской не слышал, ни моего вопрошающего взгляда не замечал.

— Слышал я о том деле у Пешковских, — сказал спокойно.

Я насторожился. Напрягся. Дзидзя смеется, нос ее длинный целит в меня, будто пальцем тычет.

— Весьма сим доволен — продолжает. — Легенда, согласно которой ты немец, теперь подтверждена совершенно. Ни у кого не возникнет сомнений.

Встал с кресла, обнял себя за плечи и прохаживается по комнате, смотрит в пространство перед собой.

— А это нам в высшей степени необходимо. В высшей, — повторил всем и никому, себе самому. — Токаржевски-Карашевич организует Службу за победу Польши, уже есть каналы в Париже, но все это ерунда, ерунда. Не понимают одного: войну немцы выиграли.

Застыл на миг у окна, глядя в темноту, будто мог в темноте этой что-то увидеть.

— Выиграли, — еще раз. — Это не значит, что нам пора сдаваться. Но они выиграли. Мощикий не хотел моих моторов, моих батарей, ничего не хотели, ну и проиграли.

— Война не проиграна, пока жив хоть один поляк с горящим сердцем, — провозгласила Лубеньская. — Что ж пан такое говорит, а, пан Стефан?

— Чушь, чушь — пробормотал Инженер.

— Прошу прощения?!.. — вскинулась хозяйка и даже встала с дивана, словно собираясь требовать от Витковского немедленной сатисфакции.

Но тот не обращал на нее внимания. Упорно вглядывался в темноту.

— С немцами нужно поладить, — шепнул в оконное стекло.

— Пан Стефан, — гробовым голосом Лубеньская выстудила в помещении воздух. — Прошу прекратить, это звучит как измена. Ибо Франция, Англия...

Инженер по-прежнему стоял, вглядываясь в окно, сплетая и расплетая на плечах короткие пальцы, будто перебиравшие дюжину четок одновременно.

— Инженер! — понесло Лубеньскую. — Наше правительство во Франции создает армию, управления, весной будет война, которой немцам не выиграть, ибо линия Мажино, английский флот... Французы пойдут на Берлин, Сикорский также. Как пан может говорить...

— Пожалуйста, многоуважаемая! — рывкнул внезапно инженер, даже не обернувшись к ней. Все в комнате дернулись, будто их кольнули булавкой, лишь Дзидзя не пошевелилась.

— Измена, измена, кругом у них измена! Она и ей подобные прорсали Польшу, а теперь измена, измена. Сама ты измена, черт тебя дери! — выплюнул злым и острым шепотом, так что Лубеньская могла делать вид, что не расслышала.

Дзидзя начала хохотать, по-мужски громко, откидывая назад голову, заходясь в смехе с широко открытым ртом. Некогда моя мать запрещала мне так смеяться, но нынче нет ее, нет Белой Орлицы, так что смеешься вместе с Дзидзей, громко, крепко.

Не стоит тебе с ней смеяться, однако смеешься.

Лубеньская колеблется. Могла бы закатить сцену, скандал, выгнать нас из квартиры. В конце концов, квартира-то ее. Но это шло бы вразрез со всем предприятием. Кроме того, отнюдь не казалось, что Инженер позволит себя запросто выгнать. Стало быть, лучше присоединиться к смеху.

Витковский не смеялся.

— Чтобы выиграть у немцев, нужно с ними поладить. Чем быстрее, тем лучше. Чтобы с ними поладить, нужно знать о них не меньше, чем они знают о нас. Пятьдесят седьмой, ты наш сильнейший козырь. Снискал ненависть всех добрых поляков, и это прекрасно, а сейчас должен еще завоевать их доверие. Их, то есть немцев.

Лубеньская молчала, ты молчал, Дзидзя молчала, и даже Витковский вдруг замолк, аж сделалось тихо.

— Должен найти способ войти к ним в доверие. А как войдешь, должен обрести положение. Положение, которое даст тебе реальную силу и власть, Пятьдесят седьмой.

— Я знаком с фон Мольтке. С послем фон Мольтке. Меня ему мать представляла, — говоришь, удивляясь собственным словам.

Лубеньская отворачивается к стене, сжав губы. Еще страшится подобных слов, очень. Это обоснованный страх: именно за такие слова, именно за такое течение событий, омывающее ее стопы, тело и душу, за то, что это течение никого и никуда не выносит, много лет спустя кинжал распорот ей живот, матку и продырявит почки и селезенку.

Не ведает этого; все равно страшится.

— Славно, славно с этим послем. Тоже с ним знаком, однако твое знакомство важнее, ценнее, славно, славно. Что-нибудь придумаем, — говорит Витковский. — А может, отец твой?.. Впрочем, с матерью твоею, чудны дела...

— Чудны, — соглашаешься покорно.

— Инженер, — говорит Лубеньская. — Пожалуйста, расскажите о задании.

— Задание. Разумеется. Как уже сказал, нужно установить линию коммуникации с Будапештом. Был сигнал, что там уже должен находиться полковник Штайфер.

— Кто? — будто бы наивно спрашиваю.

— Штайфер. — Витковский смотрит испытующе. — Не знает пан?

— Откуда бы?

— Понимаю. Но как бы то ни было, пан его отыщет. У него весьма обширные связи. Нуждается в нас, а мы нуждаемся в нем. Нужно войти с ним в контакт, причем быстро, пока тут не закрутили всех гаек. Поедешь пан как немец, официально, с документами, свяжешься со Штайфером, он к тому времени будет располагать продуманной сетью курьерских коммуникаций через зеленую границу, планами, тайниками и так далее, пан все это нам привезет, благодаря чему будем иметь стабильные каналы.

Ну что прикажешь делать, просто соглашаешься, соглашаешься, что еще остается. Будапешт.

— Поедешь с Тридцать третьей.

— Но у меня нет немецких документов, — протестует Дзидзя.

— Сделаем, сделаем документы для пани, сделаем. На данный момент остановится пани у Пятьдесят седьмого, сделаем бумаги и в путь.

Так — произносит Дзидзя. — Но теперь-то можем уйти, не правда ли?

То есть, произносит то, чего сам я произнести не решился бы.

— Уйти? — удивился Инженер.

— Уйти. Отсюда. Тут слишком мрачно, — рассмеялась Дзидзя.

Лубеньская было вскинулась, без слов, но выразительно.

— Сделаю кофе, — сказала.

— Не для нас, мы уже уходим, — сказала Дзидзя во множественном числе, которое бесспорно относилось к ней и ко мне одновременно. Моего мнения не спрашивали, и хорошо, сейчас у меня не было мнения.

У тебя не было. Так что собрались быстро, ты подал Дзидзе пальто, надел свое, сначала лестничная клетка, потом молча по ступенькам, парадное и вот уже, будьте добры, уже стоите на улице.

Ты и она. А ведь она мне не нравится, понимаешь?

Хрена ты понимаешь.

Было холодно, задувало, и было утро и площадь Спасителя, слегка подрихтованная закончившейся войной. А утро было разом солнечным и туманным, сверху солнечным, туманным снизу. И был мороз, на лужах корочка льда, первая в этом году. Улицами шел ветер, словно каждая из них была частью огромной помпы, нагнетающей воздух от Вислы и с мазовецких равнин. Костел выглядел как обычно, но немного помято. То есть, теперь уже просто как обычно.

— Я бы выпила кофе. С коньяком — сказала Дзидзя.

— У меня нет.

Старался говорить сухо. Дзидзю забавляло то, как я старался.

— У тебя нет. Невероятно. В кафе пойдем, дурья башка, есть же в этом месте какие-нибудь кафе, правда? К Лурсу, например, — смеется.

Сказала мне — или же обо мне — «дурья башка», и я на мгновение замолчал, пораженный полной неадекватностью этих слов.

— В кафе нежелательно. Могут быть эксцессы.

— Боишься их? — спросила на удивление серьезно.

Я резко повернулся к ней, готовый взорваться, броситься на защиту своей личной храбрости, как вдруг заметил отсутствие пренебрежения в ее глазах.

— Это разумно, — и пояснила: — Трудно сидеть и пить кофе в окружении пары дюжин враждебных морд.

— А ты, Дзидзя... не боишься, сев со мной за столик, себя... скомпрометировать?

— Я ничего не боюсь, — ответила всё с той же серьезностью, с которой спросила меня, не боюсь ли я. Без укоризны.

Ты ей веришь, а это неправда. Боятся пары вещей, каждый чего-нибудь да боится. Но в смысле популярном это значит не бояться практически ничего, а ты ей веришь. Знаю: это начало перемен.

— Верю, Дзидзя. Однако я слеплен из другого теста.

— Однако пойдем-ка к Лурсу.

— Это необходимо? — спрашиваю неуверенно.

— Именно так.

Боюсь ее, Костичек. Боюсь этой женщины с длинным носом, ибо есть в ней что-то, чего не умею вывернуть наизнанку, не умею заглянуть внутрь, не понимаю, кто она.

Боюсь ее, боюсь этой женщины с долгим носом. Но в то же самое время каким-то странным образом доверяю ей, раз Лурс, так Лурс, пойдем.

— Возьмем машину, — сказала Дзидзя.

— Как это?

— Какомверху. Машину возьмем, просто. Стоит на дворе, чего не пользоваться. У тебя же твои немецкие бумаги с собой?

— Инженер разрешит? — Станем мы его спрашивать. Стоит машина, возьмем.

— А ключи?

Усмехнулась долгоногая, полезла в карман и звякает брелоком автомобильным.

— А багаж?

Пожала плечами.

— Я поведу, — улыбнулась лучезарно.

В этом я отчего-то ни секунды не сомневался.

Минуту спустя мы уже сидели под брезентовой крышей темно-зеленого шевроле. Master Deluxe 1937 года, кабриолет. Красивая крыша цвета бронзы. Дзидзя естественно за рулем. С Кошиковой свернули на Мокотовскую, и дальше, дальше!

Дзидзя вела как заправский гонщик.

Не нравится мне эта баба, Костичек, опасна эта баба, Костичек, боюсь я этой бабы, Костичек, долгого ее носа боюсь.

На площади Трех крестов притормозила.

— Что такое?.. — спросил.

— Парадиз... — мечтательно.

— Ну да.

— Бывал здесь?

Ты, Костичек, бывал ли в Парадизе?

Проехали площадь, шевроле выбрался на Новый Свят, медленно, без писка шин и рева мотора, телепали на второй скорости, Дзидзя смотрела в окно, грезя. Это место всегда было важно для тебя, начало Нового Свята, в доме номер один ты покупал вино и колониальные товары, что касалось вина, там был определенный плюс, пан Гельбфиш, старый кенигсбергский еврей, изображавший пруссака в варшавской ссылке, облом с навыками сомелье, вонью изо рта и бесконечной претензией по отношению к клиентам, которым он продавал вино с омерзением, будто отдавал нуворишам, доморощенным нефтяным или угольным королям, картины Караваджо для развески среди иконок и олеографий с оленями, однако вина у него были что надо: французские, мадьярские, итальянские, плохих не держал. Приходилось терпеть эту прусско-жидовскую претензию, и ты покупал вина и шампанское, что после текли по телу Соли, в желудки других твоих шалав, или в желудки к тебе и Геле и тестю с тещей на званых обедах и ужинах.

Так ты бывал в Парадизе?

Танцевал ли ты с женщинами под эллиптическим проемом вместо потолка, пока со второго яруса смотрели, завидуя твоей партнерше, те женщины, с которыми не танцевал, водил же ты туда тех, с кем не хотел показываться в Адрии или Оазисе, хотя порой и ходил с ними в гриль-бар, на стейки, но в гриль-баре все было иначе, нежели в дансинге, и нередко олимпия уносила меня с Театральной на Трех Крестов, на сиденье рядом разнеженные девицы, с которыми я чаще всего даже не спал, хотя они были готовы, они всегда были готовы.

Не всегда были готовы, не всегда. Часто вообще не были готовы, но тебе хотелось думать, что были.

Так были или не были, как оно было, как? Их готовность, не важнее ли она самого спаривания, ведь то, что женщина готова, важнее того, что ты этой ее готовностью пользуешься, так ведь?

Важнее или не важнее?

— Нет, Парадиз я не очень, — смутившись, возразил ты, Костичек, ведь если бы она тебя в нем застала, тебе пришлось бы стыдиться.

— А я так очень, — протянула мечтательно, аккуратно когда вы миновали лапидарный фасад: три арки тройчатых окон, четыре ряда прямых, четырехугольных.

Когда авангардная каменица, Новый Свят 3, уплыла за твое левое плечо, Костичек, эта ужасная женщина продула жиклеры шевроле, шестерка его цилиндров рыкнула, и вы помчались.

— Водила туда разных своих женихов. Вернее, ухажеров. — И громко: — Таких, с кем не хотела показываться в Адрии.

Знаешь, теперь, Костичек, чем она страшна? Впрочем, тебе она совсем не кажется страшной.

На Аллеях Иерусалимских и 3 Мая шевролетик разогнался до восьмидесяти в час, рессоры стонали, мотор ревел. Вы едва не переехали жандарма в прорезиненном плаще. К счастью, в комплекте с прорезиненным плащом ему полагался лишь свисток, а мотоцикла не было; вслед за употреблением свистка погрозил кулаком, что еще оставалось?

У «Европейского» Дзидзя резко затормозила, застопоренные колеса аж взвизгнули. Понял теперь, дурья твоя башка, зачем ей понадобился автомобиль, понял? Сидят типы у Лурса, видят в окне, с каким фасоном паркуется шевроле, и думают: немцы подъехали.

А тут на тебе, является Константин Виллеман с какой-то своей пассией.

Стоп, нет, пока что не явились, явно чего-то ждете. Дзидзя растягивает клатч свой продолговатый.

— Держи, — и подает тебе маленький, плоский кольт. В оружии разбираешься?

— Я офицер запаса, черт подери, — вскипел ты.

— Модель тысяча девятьсот три, скрытый курок, калибр тридцать два, — мол, из того, что ты офицер запаса, вовсе не следует, что хотя бы малейшее понятие имеешь, и засмеялась, а смех тот был наградой тому, кто ее не заслуживал, тебе же укором, смех как кружка воды после похода в жаркий день, но не для тебя.

— Ничего себе!.. Офицер запаса! — не успокаивалась.

— А что?!.. — полез ты в бутылку. — Девятый уланский полк! Дрался весь сентябрь!

Дзидзя смеялась так неудержимо, что закрыла лицо ладонями.

— Ну ладно, ладно уже, — сказала в конце концов, остывши и отдышавшись. — Тут предохранитель, еще один, автоматический, на рукоятке. Восемь патронов в магазине, но когда захочешь стрелять, должен его сначала зарядить.

Открыл рот, чтобы возмутиться, так тебя проняло, ты ведь и до нее знал толк в обращении с оружием, на курсах резервистов в Грудзёндзе даже выиграл соревнования по стрельбе, причем из совершенно убитого парабеллума.

Однако смех Дзидзи тебя успокоил.

— Спрячь пистолет в брюки. Идем.

Стало быть, идете. А они глядят, как из шевроле является Костек Виллеман с какой-то своей пассией.

Впрочем нет же, нет, является иуда Виллеман с некоей Рохацевич, Дзидзей Рохацевич, фигурой, надо сказать, им знакомой.

— Смотри на них так, будто густой слюной плюешь каждому в лицо, — шепчет тебе Дзидзя, но что за шепот такой, может, интимный?

Слюну ты, пожалуй, проглотить, входим. Гостей внутри пока что немного, но говор слышен, и он стихнет, когда войдете.

Кто угодно к Лурсу не ходит, а не кому угодно известно, кто ты такой, с предвоенных лет знают тебя, гоголька в дорогих костюмах, бонвивана дивного, запасного кавалериста, пьяницу, наркомана, блядуна, знают тебя отлично, сохли по тебе их жены и дочери, и вот входись сюда и смердишь немчурой.

Усаживаешься с Дзидзей за столик, Дзидзя глядит на тебя, как если бы была влюблена, и ты, к таким взглядам привычный, не думая, думаешь, а может, и не думаешь, но начинаешь ощущать ее взгляд, как если бы она была влюблена, а ведь не влюблена, нет же, дурья башка, дуралей Костичек, я одна тебя люблю, одна моя любовь настоящая. Она ведь играет сейчас, притворяется, ища ссоры. А я и сама уже не знаю, что ты, Костичек, знаешь, чего не знаешь. При Дзидзе теряю опору, Дзидзя ужасает меня.

Подходит официант, надутый, будто из жести скроенный. Закачивает: два кофе, два коньяка, два пирожных. Нет пирожных. Тогда без пирожных. Коньяка нет. Тогда две водки. Водка есть. Две водки, два кофе. Сорок злотых. Дорого.

Сидите. Дзидзя смотрит на тебя таким неправдоподобным взором, каким больше ни разу на тебя не посмотрит, поскольку это всё так, представление только.

Наклоняется к тебе и шепчет на ухо, как если любовные признания шептала. Могла бы шепнуть: хочу тебя. Или, с учетом того, что это Дзидзя, а не ханжа недотраханная, могла бы шепнуть: хочу, чтобы ты во мне был. Или: хочу, чтобы язык твой во мне был.

Но Дзидзя шепчет: — Сейчас кто-либо из них, скорее всего тот, в клетчатом пиджаке, встанет и любезно меня проинформирует, с кем дело имею.

За Дзидзей шаркает кресло. Известный тебе по лицу, но не по фамилии юнец в клетчатом пиджаке и в брюках-гольф, чулках-гольф и в ботинках для лыж, именно так и одетый, встает, не то робея, не то нечаянно, однако вполне отчаянно, и осторожно подходит к вашему

столику. Смерил взглядом, долженствующим вызывать страх, то есть, наморщил брови и прищурил глаза, как в ковбойских фильмах с Томом Миксом, взглядом, не дающим повода для стычки, но декларирующим ее возможность и даже вероятность. Смешным, в общем, взглядом.

Подходит, значит, склоняется к Дзидзе Рохацевич со спины и что-то нашептывает ей в ухо.

Ты его не слышишь, а я слышу, хорошо слышу.

— Барышня очевидно не в курсе, но иуда, с которым барышня сидит за столиком, это предатель, перебежчик, продал свою польскость и превратился в немца.

Дзидзя смеется и делает знак глазами.

Точно не знаешь, что она имеет в виду, но ведь не случайно всучила тебе пистолет, в данную минуту натирающий тебе пах. Так что привстаешь с кресел, юнец в клетчатом пиджаке напирает, будто рвется в драку, однако ты привстаешь ровно настолько, чтобы выудить кольт из брюк. Выуживаешь, оттягиваешь затвор и с треском отпускаешь, пистолет заряжен. Руку с пистолетом перед собой держа. Глаза юнца расширяются от ужаса, и он потихоньку отступает, шаг за шагом, отступает к своему столику. Дзидзя кидается тебе на шею. Веселится от души, разве тебя не ужасает, как она от души веселится, Костичек, должно было бы ужасать, дурашка, не ведающий, кто тебя по-настоящему любит, а кто тебе враг, дурашка, ничего не ведающий. Ведь не пристало ей веселье до упаду, пристала ей скорбь, сочтена будет курвой немецкой, пересуды пойдут, она же тем временем развлекается, а не пристало.

Понятия не имеешь, чего она добиться хочет, даже не задумываешься об этом, а я задумываюсь, очень задумываюсь. Кладешь пистолетик на стол. Официант приносит два кофе и две водки, с изысканной аккуратностью ставит рядом с пистолетом. Пьёте.

Заведение приумолкло, но не притихло; напротив, сделалось шумно, шаркают кресла, люди встают из-за столиков, надевают куртки, плащи и накидки и выходят. Зачем они выходят, Костичек, хотя бы объявить тебе бойкот, хотя бы выказать презрение или сопротивление оказать?

Нет, Костичек, они выходят оттого, что боятся. Боятся пистолета, боятся власти, которой ты якобы обладаешь, раз не боишься вынуть в кафе пистолет и шваркнуть им об стол. Власти твоей над ними.

Им неведомо, что это Дзидзя управляет тобой. Удивительнейшим образом, не напрямую, как Орлица или же Инженер.

Дзидзя и сейчас продолжает роскошно смеяться, дивно, для тебя. Выходят. Боятся. А у тебя хер штаны разрывает, но не из-за Дзидзи, а оттого, что они так боятся. Пьешь водку, Костичек, что тебе осталось? Выпьешь водки, затем выпьешь кофе, смотришь, а Лурс и опустел.

И когда Лурс пустеет, взгляд Дзидзи меняется: Дзидзя Рохацевич больше не строит из себя влюбленную Дзидзю Рохацевич, Дзидзя Ро-

хацевич становится просто Дзидзей и глядит на тебя, Костичек, как глядела и в Кракове, и у Лубеньской, глядит своим обычным дзидзинным взглядом, в котором есть в меру симпатия и равно черствость, и насмешка и благосклонность и равнодушие разом.

— Тебе потребуются серьезные документы. Одной Kennkarte не достаточно.

И без тебя знаю. Знаю, что потребуются серьезные документы, и даже знаю, где и когда смогу их получить. И речь даже не о матери моей Орлице, не из-под ее крыльев я их вытащу, а пойду к послу, попрошу его, обрисую ситуацию, сыграю на жалости, на чем угодно, и через него доберусь, сам доберусь, сам сделаю, мне удастся, мне самому, никто не обязан мне помогать, я один, сам.

— Бумаги будут, — пожимаю плечами.

Дзидзя смеется, машет рукой снисходительно, словно струнит зрелавшегося подростка, само собой, ты легко справишься с тем, с чем не могут взрослые.

Дзидзя пьет кофе, а когда чашка пустеет, не раньше, берется за водку; выхлестывает ее залпом, глядя на тебя с вызовом. Боюсь этой долгоносой бабы, Костичек, боюсь. Ты не знаешь, что еще должно случиться, а я знаю и над тобой, Костичек, плачу.

Позвал, стало быть, официанта, заказал еще две. Жгут желудок водка и кофе.

Официант подает брезгливо, брезгливо ставит на столик, брезгливо и с жалостью по отношению к Дзидзе, в которой видит панну, не подозревающую о моих моральных устоях, пьем, не обращая внимания.

Дзидзя опрокинула рюмку с тем же самым взглядом, как прежде, заказываю, стало быть, еще. Официант, брезгливость, две водки на столе. У Лурса пусто. Выпили. Еще по одной. Дзидзя слегка покраснелась, но вызов повис в воздухе. Сталбыть, продолжаем. По одной, сталбыть. И еще.

Приняли каждый по четвертинке, натошак. Дзидзя давно пунцовая, но с прежней усмешкой.

— Поехали к тебе.

Я пожал плечами. Мое наигранное равнодушие вновь развеселило барышню Рохацевич.

— Ты, видимо, полагаешь, Константин, что этим своим притворным равнодушием ты меня обольстишь? Меня?

Смутился, Костичек, когда она это сказала. Потерялся. Опешил. К твоей, Костичек, сущности, разные подходят слова. Тебя легко смутить. Ты быстро теряешь уверенность в себе. Пугает меня эта женщина, Костичек, и хочу, чтобы ты почувал мой страх. Хочу потечь по твоей спине холодным потом. Хочу засосать у тебя под ложечкой, хочу пробежать мурашками, сжать гладкую мускулатуру волосяных фолликулов и проверить, встанут ли дыбом волоски на загривке. Но не сумею. Не пугает она тебя.

Пугает она меня, эта Рохацевич. Пугает, а в то же время как-то притягивает, пускай и кажется абсолютно неприступной, гляжу на нее, как сапожник на принцессу, еще немного, и преклонюсь пред ней.

— Никого из тех, кто выказывал мне равнодушие, притворное или нет, не пустила в свою постель.

Врешь, Рохацевич, я знаю, что врешь, а он, дурошлеп, не знает, что врешь, но ты врешь, врешь; ибо, в принципе, конечно, никого, однако с тем исключением, одним-единственным, с первым, который обольстил тебя именно тем, что не пытался обольщать, как пытались другие, в те далекие годы, которые, как ты знаешь, ушли окончательно и бесповоротно, как и твоя невинность, которую отдала ему, и сердце, которое ему отдала, и больше нет у тебя сердца, лежит на его депозите. Боюсь тебя, боюсь твоей силы, боюсь так, как не боялась ни одной из тех баб, которым мой Костичек вручал свое сердечко, которым перепадал его взгляд или его хер, а тебя боюсь, Рохацевич.

— Давай еще на ход ноги! — скомандовала Дзидзя.

— Уже полдевятого, — возразил ты.

— Догадываюсь. Ох, летит времечко, правда? — смеется.

Официант, о столик стук, пьете на пустой желудок, кофе и водка, водка с кофе.

В полку была такая забава, забава для подпоручиков, вечный цук, везде цук, цук, дедовщина, всегда, Адам цукал Еву, офицеры гнобили рядовых кавалеристов, только звалось это по-другому, позже в русской кавалерии деды цукали юнкеров и вот так-то оно докатилось до вас, напрямки из уланских полков царя всея Руси, непременно старшие младших, значит, в училище старшие велят молодым залезть на печь, курва, и именовать полки уланские, их дислокации, и журавейки фальцетом, курва, кто с традицией балует, пусть нас в жопу поцелует, так вот, капитаны и поручики для молодых подпоручиков, а с наибольшей охотой для подпоручиков запаса, бывало: саблю на стол, на длину сабли рюмки с водкой, на острие птифур с жирным кремом, поверх крема селедка. Выпить пред самым ужином, пить без остановок и передышек, мало того, закусить и не сблевать, ибо в том соль уланства: пить, не пьянея. Ужрись, да не сблуй. Ебись, не жёнись. Играй, не профукай. Умри, побеждая. Этому вас учили в Грудзёндзе, цукая немилосердно, там сидели вы на печи и ты фальцетом именовал очередные полки и их дислокации, а где запасный эскадрон, рыбий хер? И весь этот цирк с попойками до утра и несением службы трезво и без похмелья, со сметаной с яичным желтком, как по волшебству выводящими алкоголь из вашей крови, стрельбой на стук вслепую, но без смертоубийства, бей, так победишь, так разбили вы большевиков, идеалы вашей, точнее, той этики суть победа и вера в то, что раз побили вы русских, чего никому в течение двух с гаком столетий не удавалось, раз вы их побили, то вы, а точнее, эти вот правят миром, историей и всем, что между. Умереть, не профукав.

А нынче профукали, срамота, битву на границе и битву на Бзуре, битву за Варшаву и битву под Коцком, и битву за Польшу и за все остальное, за вашу сраную жизнь, профукали окончательно не далее как пару недель назад, какого, какого же черта профукали, но так или иначе все кончено, нет и не будет больше уланов, немцы вас выебали, русские доедут до конца, или же их самих заебут, третье лицо вместо второго, как тебе хочется, Костичек, сможешь выползти из этого педерастического бардака, или же поладишь?

— Хотелось бы, чтобы ты понял, Костичек, что тебе меня не соблазнить, — говорит Дзидзя. — Ты хорош собой, кто спорит, к тому же в целом интересен и чем-то даже мне нравишься...

И знаешь, идиот, знаешь ли, когда она это произносит, то не произносит этого так, как те девицы, которых ты прежде встречал в том мире, которого нет, а может, и не было вовсе, те, которых ты встречал в столичных притонах, дансингах, кафе и гриль-барах, что разговор с тобой начинали с уведомления, мол, «ради бога, пусть пан не подумает, я не дешевка какая-нибудь», ты же знал, что имеется в виду нечто противоположное, не правда ли, знал? Что те, которые в самом деле не дешевки какие-нибудь, во-первых, не сживают по одиночке в дансингах, играясь в предвкушении мундштуком. А во-вторых, они никогда не сказали бы о себе, что, мол, «не дешевки какие-нибудь», поскольку это само собой разумелось. На такой женщине ты женился, на гигиеничной Геле, не так ли?

— Ты мне нравишься, у тебя красивые глаза, чисто вылепленный рот, большие, сильные руки и есть какой-никакой характер. Чуть недотепистый, побитый, потертый, но есть — продолжает Дзидзя, пробуя пальцем открытую рану. — Пан официант!..

Еще!

Официант, ненависть, стол тук-тук водка, пустой Лурс.

— А впрочем, наверное, могла бы?.. — размышляет Дзидзя, смотря на тебя изучающе, как будто видит в первый раз. Смотрит на тебя так, как ты сам часто смотрел на женщин. — Пей же!

Выпили. Помнишь, как сам смотрел на женщин? И вдруг ощущаешь, что перебор, в таком-то темпе, с недосыпу, на голодный желудок, и вдруг тебя крутит так, что ты высказываешь из-за стола, Дзидзя смеется, а ты, уже зная, что не добежишь, попросту отворачиваешься и блюешь, блюешь жаркой струей водки и кофе, блюешь, отвернувшись.

И все-таки, милый мой, нет — смеется Дзидзя. — Все-таки не соблазнишь, не могу отдаваться мужчине, который не умеет пить.

Выблевал свою мужественность, силу, Константин, всё. Попытайся убежать от нее. Не выйдет.

Не убегу.

— Идем, сумасшедшая, — сказал ты, Костичек, да что с того, что сказал?

Идете, разумеется, естественно, конечно, идете, только не оттого, что ты сказал, идете, потому что она так хочет.

Значит, идете, выходите, сначала Дзидзя, потом ты, выходите на Краковское предместье, а там расклеивают объявления, на мурах; кисти, клей, клеят со стыдом, со злобой, а как отказаться? Вот и клеят. Останавливаетесь одновременно.

Извещение. «Чрезвычайный полицейский суд города Варшавы извещает о приведении в исполнение смертного приговора в отношении семерых лиц, осужденных за хранение оружия и боеприпасов. Ян Сёкало, бывший староста вонгровецкий. Йозеф Садовский — химик. Станислав Ласоцкий — рабочий. Самсон Люксембург. Мариан Барановский. Нарцисс Гаевский. Виктор Сикорский. Подписано: президент полиции Гюнтер Классен».

Стреляет их Schutzpolizei прямо под стенами Сейма, но вам это пока не известно. А перед извещением стоит женщина в платке, держит за руку мальчугана лет четырех в красной шапке, из-под которой выбиваются русые пряди.

Проталкиваете к извещению, женщина уводит ребенка. Я вижу его в сорок лет: шагает по улицам другой Варшавы, большой, красивый, длинноволосый, уверенным шагом интеллектуала, умеющего дать отпор. У него большие русые усы, он никого не боится, ваяет в головах ближних своих фразы и афоризмы, ваяет, читая английские книги, свои же пишет по-польски, ваяет фразы и афоризмы. Позднее, по-прежнему большой и усатый, немного сутулясь, будто перебитый в поясе (плечи по-прежнему прямы), идет не столь быстрым шагом и рассказывает юным и молодым истории настолько красивые, что они просто не могут быть, да и не являются правдой.

Вы видите одну только красную вязаную шапку с помпоном, детская ручка тонет в ладони матери, а я вижу все, вижу мощную длань, в которую со временем превратится ручка и на спортивном ковре будет легко сгибать рослых мужчин, после пожимая им руки.

Я вижу все, рассказываю лишь о некоторых, не важно, есть у меня повод или нет, рассказываю и всё тут, о прочих же молчу.

Итак, к автомобилю. Дзидзя садится за руль, ты рядом, едете, а куда?

— Куда едем? — спрашиваешь.

— Сейчас — к тебе. Горячая вода есть?

— Есть.

— Тогда я в ванную, а ты займешься бумагами для Будапешта. Никаких сомнений, никаких колебаний, просто отдает тебе приказ и вперед.

Приказ. Befehl. Приказ и так точна, гаспадин литинант.

— Курсант-капрал Виллеман по вашему приказанию явился! — кричал, а р-руки па швам, причем российским фасоном, а не hab acht каким-то, русская кавалерийская традиция в Грудзёндзе преобладала над традицией австрийской, поелику была богаче, а также лучше от-

вечала тому, что вам, полякам, и тем, полякам, казалось духом польского кавалериста, поелику оба кавалерийских этоса, польский и российский, выросли одновременно на почве скорее польских, нежели русских понятий чести и собственного военного достоинства, уже за полтора века до тебя, Костичек, польские и русские кавалеристы великих войн по случаю конца света походили друг на друга, черпя свою дурость, лихость и ложное понятие о жизни из одного корыта, к вящей радости командиров, которые могли отдавать приказы вопреки инстинкту самосохранения.

И так повелось с тех пор. Если русский кавалергард шел *guliat'*, он шел по-польски. Если господа офицеры в темноте стреляли друг друга на стук, один в центре зала с завязанными глазами, как Фемида с револьвером в руке, другие стоят вдоль стен, стучат, а он на высоте плеч палит вслепую, это было по-польски. Когда же ты делал это в казино в Теребовле, когда делал это, мало что соображая, так как был пьян, то делал по-русски.

И если старшие деды цукали вас, зверей-первогодков, то цукали вас по-русски. Ты помнишь об этом, Костичек, правда? Сейчас, когда Дзидзя отдает тебе приказы, Дзидзя Рохацевич.

Ненавижу ее. А ты помнишь. Не с умыслом помнишь, речь не о том, чтобы в памяти перемалывать: всё это, Грудзёндрз, нужный тебе как козе баян, но которого так от тебя ожидали, именно от тебя, в то время как Яцек мог оставаться просто врачом, ты должен был стать чем-то большим, солдатом, и не просто солдатом, а уланом или шеволежером, помнишь, как все гордились, когда в первую побывку домой ты пришел в мундире, как скрывали под комплиментами разочарование, полк безусловно почетный, Девятый уланов имеет прекрасную репутацию, однако ожидалось, что ты сам пробьешь или постарайшься пробить или Орлица постарается тебе пробить назначение в Первый шеволежеров, в столицу, шапки круглые как здание Сейма, Венява за столиком в «Малой Земянской», гонор, женщины, вино и отчизна.

Перевод сделан в рамках программы SAMPLE TRANSLATIONS ©POLAND

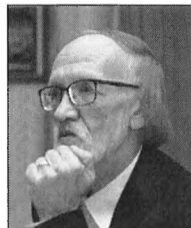
© Copyright by Szczepan Twardoch

© Copyright by Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2012

Леонс БРИЕДИС

/ Рига /

Перевод с латышского Юрия Касянича



МОЙ ШЕСТОЙ ПОДВИГ

I

изящней мне хотелось тоньше
иной судьба дала маршрут
по смрадным свалкам суматошно
меня пути мои ведут

другим давно бы стало тошно
никак я не управлюсь тут
лишь выгребу одну я точно
грибы

другие вновь растут

все тоньше гнили смрад все тоньше

II

хлев чистить: только и осталось
на что еще я годен тут
тружусь не глядя на усталость
ответственный и тяжкий труд
но и полезный
как пред Богом
клянусь
и веря в то что прав
вступаю в райские чертоги
в руках надежно вилы сжав

* * *

в ночи звучит призыв как плетка хлесткий
он гонит нас разбитою тропой

в неведомое и на перекрестке
в лицо нам лает ветер
в миг тупой
сдадимся мы судьбе что в каждом шаге
нас караулит зная наперед
что в царстве том куда идем с отвагой
иного больше не произойдет
чего уже однажды в жизни плоской
не послучалось с нами в миг тупой
когда звучал призыв как плетка хлесткий
и гнал вперед разбитою тропой

ВЫС^{ТЫВ}ШАЯ МАТЕМАТИКА

гаснет очаг
ветер осенний на счетах дождя
палые листья считает
вечно один сберегая в уме
трижды по семь растрепанных облаков
и результат — убывающий месяц
если же корень квадратный извлечь из слякоти:
выйдет прохожий что плутает по грязной дороге
нам, уравниенью с двумя неизвестными,
остается возведение в куб
взятого в скобки квадратные
сердца
что вопреки ожиданию
так и закончится падающею звездой
минус жестокий моей продрогшей души
что отменен на глазах бесконечности
сочувственным плюсом твоей души
все ж обещает
раннюю
ранящую
и бескрайнюю зиму

* * *

на этих берегах штормящих
куда пути нас привели
мы клочья парусов на мачтах
что гибнут от земли вдали
но крепок нерв судьбы он долго
спасать нас будет в дни тревог
под кровом позабытым Богом
где с нами обитает Бог

ВАРВАРЫ

все люди в этом мире братья
и только варвары в нем чужаки

они таранят наши римы они стирают наши рифмы
они тиранят наши чувства

они едят наш хлеб
и наше пьют вино
усвоив нашей жизни соль

мы не заметили
как стало их бессчетно много
что именно они отныне братья в мире
где мы,
люди,
будучи не в силах есть их хлеб
их вина пить
и постигать их жизни соль
лишь чужаки

и оттого мы стали нетерпимо
таранить их римы стирать их рифмы
и ранить их чувства

ВОЛНЫ ПУСТЫНИ

мы — волны
пустыни
память умершего моря
неустанно плывем
не умея достичь берегов
не чуя
что умерли
задолго до моря
той смертью
что была до рождения нашего

* * *

куда несут нас эти дни?
но небо не осветят

знаменья легкие огни
никто нам не ответит
что впереди нам суждено
и кто о том хлопочет

нам нами Бог немой давно
от ужаса
хохочет

ЧЕРЕЗ ЛИВОНСКИЕ ПОЛЯ

«Через ливонские я проезжал поля...»

Ф. Тютчев

Как щедро горизонт лесами вышит!
Как много здесь лугов, хранящих зелень!
И почему люблю родную землю
тогда, когда ее же ненавижу?

Бреду я по стерне сырой и дикой
под небом, тяжело разбитым снова.
Как много дорогого здесь, родного...
Чужого,
что я тщусь узнать сквозь дымку.

Сто глаз в меня вперяют рек изгибы,
с вершин за мной подглядывают горы
за каждым шагом с отчуждением горьким.
Как будто в топях, я в оковах гибну,

оббившихся змеей вокруг лодыжек,
что среди вод муку печали мелет.
И огоньки, блуждая, светят еле
там, где ветра неприбранные дышат.

В час одинокий, если сумрак ляжет
на сердце, я хочу хотя бы стоном
иль шепотом, который в горле тонет,
ввысь прокричать: «Кто встал над нами стражей?»

И кто всех нас, живых и мертвых, прочно
свивает воедино в узел плотный?»

Я — кровь от этой крови, плоть от плоти
земли моей,
и в неотбитых почках

давно скопилась ненависть слепая
и вечная глухой любви покорность.
И одиночество свое, как корку,
я прикушу, бессильно улыбаясь.

DE TRISTIA

Бывает что печаль охвачена печалью
Она забьется в уголок души
как без вины виновная и долго
не может отвести глаза от рук своих
внезапно обессилевших которыми
она явила миру столько радости
Все самое красивое и истинное
всегда рождается печалью
И оттого саму печаль порой охватывает
невыносимая печаль

* * *

Пред тем, как небосвод звезду зажжет
во лбу прохладном чащи, где олени
проходят чутко, — всем, кто здесь живет,
нам нужно выстрадать в себе ее явленье.

Пусть прежде хлеб созреет...
И вино
забродит... Пусть шагает сын смелее,
и молодой луны улыбка мне в окно
пусть будет с каждым вечером нежнее.

Взойдет звезда...
Пока ж еще в селе
день обмолота — урожая праздник,
еще сосед, слегка навеселе,
тесак готовит для кабаньей казни.

Взойдет звезда...
Нигде не пропадет.
И свет свой вознесет над миром выше,
когда безумный снегопад пройдет
и занесет наш дом до самой крыши.

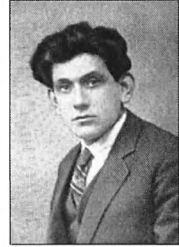
* * *

Что в срок и свято начиналось,
сквозь мглу придет,
 отыщет нас...
И, словно сонный плач ребенка,
мы слышим в полуночный час
стон ветра,
 вьюг...
 Не понимая,
с какою целью
 и когда
на все даровано нам право,
что стало долгом навсегда?

Моше (Моисей) КУЛЬБАК

/ 1886–1937 /

Перевод с идиш Виталия Асовского



ВИЛЬНО

1

Кто-то в талесе бродит среди твоих стен.
Грустя в одиночестве, бодрствует в городе ночью.
Вот он вслушался: храмы и проходные двory
Отзываются эхом, как сердца, заметенные пылью.
Ты — псалтырь из железа и глины,
Каждая стена — мелодия, каждый камень — молитва.
Когда заливает луна каббалические переулки,
Обнажается твоя таинственная красота.
Грусть — твоя радость, торжество глубокого баса
В промозглой часовне, твои праздники — бденя,
И твоё утешение — сиятельная нищета,
Словно летний туман тихих предместий.
Ты — темный талисман, вправленный в Литву,
Поросший лишайниками и серыми мхами.
Все твои стены — пергаменты,
 каждый камень — Писание,
Разложенные и раскрытые по ночам,
Когда на старой синагоге оцепеневший водонос
Стоит и, задрвав бороду, считает звезды.

2

Грустя в одиночестве, бодрствую в городе ночью:
Ни звука вокруг; громоздятся дома — груды лохмотьев,
Только где-то вверху свеча оплывает и меркнет —
Каббалист-полуночник, пристроившись на чердаке,
Прядет, как паук, тусклую нить бытия:
— Есть ли кто-нибудь там, в пустоте леденящей,

Из которой, оглохшие, мы услышим
блуждающий голос?
И стоит перед ним во мраке свинцовый Разиэль.
Пергаментные крылья его обветшали и истрепались,
Глазницы полны до краев песка и паутины:
— Нет! Только грусть, больше нет никого!..
Догорает свеча. Зеленый еврей слушает, окаменев,
И пьет темноту из ангельских глазниц.
Кровля над кровлей — легкие горбатой твари,
Которыми дышит она, задремав между холмов.
А, может, город, ты — сон каббалиста,
Летающий во тьме, как паутина летит в бабье лето?

3

Ты — псалтырь из железа и глины,
Разбрелись и скитаются твои полинявшие буквы:
Женщины — сдоба, мужчины — тверды, как деревья,
Непроглядные бороды, плечи,
будто из камня,
И живые глаза, удлинённые, точно речные челны —
Твои евреи по вечерам над серебряной сельдью
Бьют себя в грудь: О Боже, грешны мы, грешны...
Тарашится месяц сквозь окна. Словно бельмо, —
Там, развешены на веревках, белеют лохмотья,
И девок, уже полуголых, тела, словно доски —
Суровы твои евреи среди узких суровых улиц:
Как стены синагог, коченеют немые их лбы,
И брови покрываются мхом — словно крыши
над твоими руинами.
И я точно ворон. Пою тебя в лунном свете.
Ибо солнце в Литве никогда не восходило.

4

Грусть — твоя радость, торжество глубокого баса
В промозглой часовне, мрачна твоя спокойная весна.
Из кладки выбивается деревце, из стен — травинки,
Ветхие стволы увиты пепельными цветами.
И медленно всходит грязная крапива,
Только холод стен омертвевших и нечистоты.
Но, случается, ночью, когда ветер высушит камни,
Серебря улицу, приближается мечтательное создание,
Родившееся от прозрачной волны и лунных лучей —
Это Вилия просыпается, прохладная и туманная.
Нагая, изящна, простирая пенные руки,

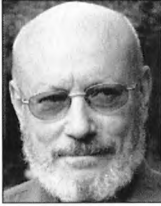
Вступает в город. Скособочившись, взирают слепые окна
И мостики, перекинутые между безмолвными стенами.
О, никто не откроет дверь, не высунет голову.
Чтобы спросить, что было нужно
прозрачному грациозному существу.
Дивятся вокруг холмы и бородатые башни,
И тихо, и тихо...

5

Ты — темный талисман, вправленный в Литву,
И жизнь едва теплится на зыбком фундаменте:
В далеком просвете — белые лучащиеся гаоны,
Усердием отшлифованные кости — острые, твердые;
Красная жаркая рубаха стального бундиста,
Синий ученик, торопящийся к седому Бергельсону,
И идиш — венок из дубовых листьев
Над празднично повседневными воротами в город.
Сероватый идиш — сияние в зажмурившихся окнах, —
Это я, словно путник в дороге возле колодца,
Присел и вслушиваюсь в грубые голоса.
А может, это кровь так громко клокочет во мне?
Я — город! Тысячи дверей в мир,
В холодную измаранную синеву — кровли
над кровлями.
Я — почерневший огонь, жадно лижущий стены
И на чужбине сверкающий в остром зрачке литвака.
Я — серость! Я — почерневший огонь! Я — город!

6

И на старой синагоге оцепеневший водонос
Стоит и, задрав бороду, считает звезды.



Юрий СЕРБ (Г.А. ЛЕБЕДЕВ)

/ Санкт-Петербург /

РЕЧКА НАЧА

(отрывок)

— Ваня, милый!.. — начала Улита. — Бабы мне проходу не дают!.. И залилась слезами, закрывая лицо.

— А что им надо?

— Даже язык не поворачивается... «Отдай мужа», говорят.

— Это как же, Уль?.. Креста на них нет! Я, что ли, тряпка какая?..

— Справедливости хотят. «Наши мужики полегли, а твой вернулся...» Ой, да что я такое повторяю!..

И снова Улита залилась слезами.

— Да что такое с людьми творится! — Иван грохнул по столу кулаком. — Ну бабы!.. Ну бабы!

— Особенно... бездетные... — всхлипывая, еле выговорила Улита.

Иван — будто споткнулся на ходу. Замолк и застыл, опустившись на табурет.

«Они про свою старость уже думают!» — сообразил мужик.

Улита беззвучной тенью двинулась к сеним, но Иван настиг ее и обнял, не давая уйти.

— Что ж они, гневать Бога не боятся? — спросил он неизвестно кого. — Умные люди мне говорили, что Гитлер, он ведь тоже на нас неспроста... Было, значит, за что!

— Тьфу, типун тебе на язык! — крутнулась из его объятий Улита, обернулась гневным лицом...

— Ладно, ладно!.. говорят же! Не я сказал...

А сам думал, что в этом есть неизвестная правда. Лицо отца Петра и скорбный взгляд его стояли перед Иваном.

— Ваня, не гляди так! Мне страшно!

Иван вздохнул и ладонью провел себе по лицу.

— Брата Мишу тоже не вернуть! Отца с матерью... — глухо выговорил он. — А на все есть воля Божья.

— Ну что ты всё: Бог да Бог! — вскрикнула Улита.

Иван посмотрел на жену и та закрылась от его взгляда, а Ивану стало ее жалко.

— Уля, а как безногого гармониста зовут?

— Нет, нет! Ты что? Он же, ты думаешь, как покалечился? Все про то знают! Ты ушел на войну, а он поехал в город, там напился и сунул ногу под поезд. Да по пьяни даже обе вытянул. Он такой ни одной бабе не нужен!

— Даже бездетной?

— Про то и речь! — вышла из себя, видя его усмешку, Улита. — Детей хотят от честного отца!

Иван не ответил. Отвечать было нечего. Но разговор оставался незаконченным. Ведь если Улита с ним об этом говорит — значит, бабы сильно ее прижали.

— Так погоди, ты что — с ними согласна?

Улита молча заплакала.

«Ну дела... Ну Иван... Вишь тебя как делят — как коня для вспашки огородов...»

— Это же... Как это называется?.. Ультиматум ихний? Ты мне скажи, как жена, — это разврат или еще нет?

— Ванечка, совсем не с того началось! А прикинулись бабы, что некому крышу чинить, дымоход переложить, даже рыбы наловить...

— Рыбу всем буду ловить! — обрадовался здоровой мысли Иван.

— Но вишь ты, слово за слово, все пришло к тому...

Улита не закончила, Иван не переспрашивал. Все и так было ясно.

— В общем, как ты скажешь — так и будет! — избегая его взгляда, заключила Улита.

— А что говорить! Мы хоть и не венчаны, но законные муж и жена!

Но далее эту тему Иван развивать не стал. Простая осторожность остановила его. Яснее ясного, что Улиту он любил. Она у него лучшая из всех — из всех, которые, как ни крути, все до единой — бабы. То бишь, без дитяти — высохший стебель. Без дитяти жизни нет. Без детей — деревни нету.

Они как будто поставили на этом точку: муж и жена, да супружеская верность. Но спокойнее от этого не стало. Ивану чудилось, что это было только начало, что в недрах бабьего общества что-то происходит и еще произойдет.

* * *

То, что сказано между мужем и женой, становится их общей тайной или достоянием. По крайней мере, так было во времена Ивана и Улиты. И покушения женского племени на ее мужа, после того как она поделилась этой бедой с Иваном, перестали Улиту терзать. Она положила во всем на его слова о супружеской верности, придя даже

к собственному парадоксальному выводу, тайному от Ивана, что как бы и чем бы это ни обернулось, он, Иван — ее муж, и больше ничей — даже если у соседок станут рождаться дети. Жить-то им тоже надо.

А на случай дальнейшего приступа подруг и соседок она приготовила свои условия, о которых пока помалкивала. И мы тоже пока промолчим.

Тем временем Иван стал строить пристройку к материнскому родовому дому, в котором некому стало жить, кроме сестер: Дарьи и Марии. Но надо было сестер разделить, чтобы жили с отдельным входом и каждая сама себе хозяйкой. На отдельную избу, конечно, сил и средств было не найти, да еще пришлось бы об участке хлопотать. Хотя власти были далеко, но строгостей не убавлялось.

Иван торопился до зимы подвести сруб под крышу, но не успел. Стены стояли под снегом, как немой укор, но с помощью только Маши с Улитой, да за неполную осень, рассчитывать на большее не приходилось. Отдыхал он изредка на рыбалке, а то и на колхозном поле — все же там было полегче, чем бревна таскать на горбу. Бухаловцы пару раз в сезон присылали в заволожскую бригаду тракториста, а в остальном заволожские обходились собственной мускульной силой.

Так дожили до конца ноября, и отложенный разговор с женой не возобновлялся.

* * *

А женщины не теряли времени даром, хотя и проводили это время сложа руки — на посиделках.

Улита была у них редкой гостьей — только по настойчивому вызову. Ей не надо было голову ломать над устройством собственного будущего, ей предстояло его как-то защищать. И хотя Ивану тоже отводилась немалая роль — пожалуй, даже ключевая — Улита с тревогой ощущала, что как бабья масса порешит, так оно и будет. Ведь не будет же Улита за мужем ходить «на-позырках», у каждого дел невпроворот, а кроме того, Улита подобную слежку считала унижительной и недостойной.

Поэтому она определила для себя одно — нет, даже два неколебимых условия, о которых до поры не говорила мужу.

Так незаметно подступил Рождественский пост. Пост, который бабы не учли, приглашая Улиту на свою итоговую конференцию. Лучшая подруга Люба тоже там была — сидела, не поднимая глаз.

«А в чем она виновата? — спросила себя Улита. — Да ни в чем!»

Поскольку обсуждение прошло без нее и какое-то решение было уже принято, то теперь в собрании повисла цепенящая тишина; все глаза косились на Улиту и тут же пырскили в угол потемнее, а Улита видела, что некое решение, бывшее до ее прихода окончательным, теперь уже разслаивалось, таяло в воздухе неуверенного молчания, нарушить которое не бралась ни одна.

В этом была для Улиты несомненная возможность перехватить командование...

Но все испортила Зойка, которая вдруг пискнула то, что явно здесь уже звучало не однажды: «Ну — нет, пока сама не пощупаю!..»

Все, кроме Улиты и Зойки, покатались со смеху. Смех был какой-то судорожный, лихорадочный, сродни истерике.

— Отсмеялись — и будет! — объявила Улита. — Во-первых...

Тут она выждала и снова повторила с неверным ударением, будто дразня бухаловского председателя:

— Во-первых, поздравляю всех Рождественским постом!

— Вот-те на! — ахнула Фотинья.

— Да ты, мать, что ли посты блюдешь? — крикнула Надежда Сопронова.

— А вот послушайте! — убедительно, уверенно отвечала Улита. — Мою бабушку Прасковью помните?..

— Помним, помним, Царство Небесное! — отозвалось собрание.

— Она меня учила, еще девчонку незамужнюю, двум вещам: к мужу не ложиться в постный день — и не ложиться с ним, когда затяжелею.

— А почему — когда затяжелеешь? — удивилась Надежда.

— Нам неведомо, но если мать не хочет, чтобы сын ее по тюрьмам кантовался или дочка по рукам пошла, а чтобы мать-отца любили и кормили в старости, то, забеременевши, к мужику не ложись!

— Ой!.. — сокрушенно вздохнула Надежда.

Взрыв смеха был ей ответом.

— Ты-то, Надь, чего?! Ты ж, поди, бесплодная!

— Много вы понимаете! — проговорила еле слышно Надежда и опустила голову.

— А про постный день я вам, девоньки, скажу, что мне Иван рассказывал. Он где-то на войне одного бывшего заключенного встретил...

— Ну вот!.. Не надо про заключенных! — возмутилась Зойка.

— А то ты не знала, что попов и батюшек по тюрьмам сажали! — не повышая голоса, ответила Улита.

— Зойка, помолчи! — цыкнули на возмущенную. — Пуцай Улита скажет!

— А был в камере у них еще один... ар... хиерей... И там еще был закоренелый, ну, почитай, бандит и вор... И вот он плачется этому архи... ерею: за что, мол, я по тюрьмам ошиваюсь, всего ничего на свободе-то и был!.. Нет, значит, говорит он батюшке, Бога на небе...

— Так оно и есть! — брякнула неожиданно Вера, самая молчаливая из всех.

Улита выдержала паузу, потом продолжила:

— А священник, то есть этот архиерей... говорит: так ты же ведь был зачат среди Великого поста, вот и мыкаешься в тюрьмах — без благодати, а по закону человеческому.

Повисла гробовая тишина. На лицах женщин отразилась мучительная работа ума, словно они вспоминали сроки известных им беременностей и постов.

— Ну и вот! — зазвенел голос Улиты. — Люба, ты моя подружка давняя, а жительница дальняя. С тебя начнем. Иван говорит, что твою крышу может за неделю починить.

(На самом деле это было сиюминутное решение самой Улиты.)

— А что до остального прочего, то, девчонки-бабоньки,... что бы там вы ни думали... — тут голос Улиты зазвенел, готовый оборваться: — Да о чем вообще можно думать, пока сама я не затяжелела?!.

Поднялся плач и крик, всхлипы и объятия... Снова расходились все зарёванные, зацелованные, умилённые своим горьким положением и неопределенностью.

Эх, бабы, бабы, девоньки... И где тот конь, которого мы на скаку остановим?..

Кажется, именно так Улита и подумала.

* * *

С крышей Любы Иван управился не скоро, потому что медленно, с трудом, добывался стройматериал. Бухаловский председатель, не глядя на то, что Люба была вдовой фронтовика, отпускал по крохам — то берёзовую дранку, а то рубероид, прежде уже использованный.

Поэтому расставались «под гарантию» возвращения Ивана после «старого нового года».

— Но над тобой уже не каплет! — успокоил ее Иван. — Так?

— Так! — испуганно глядя на него, кивнула Люба.

«И чего боится? Что я уйду? — подумал Иван. — Так я и должен уйти!»

Все-таки женщины бывают разные, решил он, и это стало маленьким открытием: «Пугливая больно! Или притворяется? Тогда — зачем?»

Они знали друг друга еще со свадьбы Улиты с Иваном, но с той поры не виделись.

Муж Любы призван был через год после женитьбы, но ребенка у них не случилось. Щупленькая Люба до сих пор казалась девочкой, хотя жила хозяйкой целого дома с огородом: вся родня ее мужа сгинула в гражданской войне — по обе стороны. А муж, как значилось в похоронке, лег в польской земле.

— Ну пока, хозяйюшка! — улыбнулся Иван (он чуть не назвал ее воробышком). — Спасибо за хлеб, за соль...

— И тебе спасибо.

За все то время, что прожил Иван под ее крышей, Люба ни разу не назвала его по имени. А поначалу говорила ему только «вы».

Иван закинул котомку на плечо, взял ящик с инструментами и вышел на крыльцо. Люба накинула фуфайку и вышла следом.

У замерзшего ручья Иван оглянулся: Люба смотрела ему вслед и была теперь чем-то похожа на Улиту.

Иван вздохнул, улыбнулся Улите, а Любе помахал рукой.
Люба не пошевелилась.

* * *

— Ваня! — едва он показался в клубах пара на пороге, окликнула его Улита. — Василек заболел! Жар у него!

Иван торопливо прошел к Васильку, которому мать постелила поверх сундука, стоявшего в углу.

— А почему тут? — спросил Иван, потрогав губами пылающий лоб сына.

— Так и печь горячая! Невмоготу!

Василек открыл глаза и смотрел помутневшим взором, не узнавая отца.

— Улита, уксус есть?

— Ой, батюшки! — она метнулась к полкам под занавеской. — Вот, хватит?

Полбутылки должно было хватить. Иван разделся, вымыл руки, обнажил худенькое тело Василька и быстро натер его уксусом, после чего закутал сына и всмотрелся в его лицо.

«Это мне укор! — думалось ему. — Это предупреждение!..»

Он не отходил от Василька, пока на лице у того не появилась слабая улыбка...

— А что-нибудь делала, Улита? — спросил Иван.

— Заварила малинки — да он пить не стал.

— Ну, теперь, когда проснется — пить будет!

Он перевел дух и обернулся к Улите:

— Это меня на фронте один врач научил — Камиль Нишанов!

— Спасибо ему! — отозвалась Улита.

— Спасибо, — повторил Иван. — Дай Бог ему здоровья, если жив.

Улита сняла с плиты горячую картошку, разлила по чашкам холодную простоквашу, Иван нарезал хлеб.

— Ну, рассказывай, муженек!

— Соскучился я по вам! — искренне вырвалось у него.

— Мы тоже скучали.

Улита ждала, когда он станет есть. Иван вилкой взял белую дымящуюся картофелину и подул на нее, разделил на четыре части — и, подумав, погрузил их в простоквашу...

— Ну и как Люба?

Вопрос застал его врасплох. Говорить-то, как и спрашивать, было не о чем.

— А что — Люба? Велела кланяться.

Он потянулся за солонкой — и пальцы их, и взгляды их встретились.

— Слышишь, как хорошо Василек задышал? — спросила Улита.

— Слышу! Только... скучно быть ему одному.

— Ну — ты же у меня командир! — не пряча счастливой улыбки, ответила Улита. — Как скомандуешь!..

* * *

Хотя свою войну Иван помнил во всех подробностях, она как бы отодвигалась в какое-то дальнее хранилище памяти. Но бывали, особенно по утрам, такие минуты, когда война не уходила — а, только что виденная во сне, заслоняла белый свет. Улита не сразу стала это понимать — поначалу думала, что это мужа преследуют чужие женские образы. Но однажды, в ответ на ее ласковые расспросы, Иван устало выдохнул: «Война!..» — и стал, посреди недели, собирать рыболовные снасти... Поэтому Улита больше не расспрашивала. В такие дни она ходила при муже на цыпочках и зря его не беспокоила.

Но однажды, на исходе февраля, появился повод его побеспокоить и от сумрачных воспоминаний отвлечь.

Подойдя к нему со спины и положив голову ему на плечо, Улита зашептала мужу в ухо:

— Ванюша, хорошую новость хочешь?

— Давай!

К счастью, он сам обернулся к Улите и обнял ее за плечи, заглянул в глаза...

— А у нас будет маленький!

Его объятие стало крепче, Улита прижалась к нему — и так они стояли неведомо сколько, пока не вернулся с катальной горки румяный Василек и не попросил картофельных драников.

* * *

Когда Улита проводила мужа к Любе «как на войну», то какое-то время зря простояла у оконца в сенях — недоумевая, почему Ивана не видать на дороге. А так хотелось посмотреть вослед...

Иван же зашел в хозяйственный сарай, когда-то служивший хлевом — и там, среди собранных отовсюду пиленых досок, кусков фанеры, брусьев и клочков рубероида, прислонившись к бочонку с капустой, стал невидим для остального мира.

Его обуревали дивные чувства... Дело отчасти было в том, что ему во сне явился отец Петр. Иван испросил у о. Петра благословения на странствие по вдовствующим домам Заволожской округи, на что отец Петр перекрестил Ивана — и растаял. Ивану хотелось верить, что это и было благословением — хотелось, потому что было яснее ясного: этого жребия Ивану не избежать.

Кроме того, Ивану было совестно сознавать свое счастье в обстоянии стольких несчастий вокруг. И он старался обмануть себя, преуменьшая свое счастье, говоря себе, что это не он счастливый и достойный, а просто жена у него — чудо Божие, что такую жену и не мог Господь оставить вдовой.

Но тут отрезвляюще вспоминались рукописные записи в книге сербского старца: что счастье на земле не идет ни в какое сравнение с благодатью Небес. Иван соглашался с этим — как с истиной, превосходящей возможности ума простого человека и потому недоступной Ивану, так сильно зависящему от своей крохотной горячей личной любви.

И он зашел в сумрачный сарай помолиться о том, чтобы дела его не шли ему в осуждение, чтобы страх Божий оставался при нем во всяком случае, чтобы ум его не сбивался с пути и душа его уязвилась бы к любви горней, высшей...

— ...Да с тобою направляем, — воззвал он к ангелу-хранителю, — получу у Господа Христа-Бога моего велию милость!..

Он стоял в стуже мертвого сарая и не чувствовал, что качается вперед-назад, как тростник, колеблемый внешними, и как человек, колеблемый внутренними силами.

* * *

Как ни хоронилась от соседок Улита, а скрыть свою тягость не смогла.

— Что это ты, подруженька, как утица ступаешь? — обратилась к ней на улице Фотинья.

Хоть соседка и не близко жила, а вот поди ж ты: принесла ее зачем-то нелегкая!..

— Да как-то просто так... задумалась!.. Дорога скользкая!

— А мысли у тя хорошие! — одобрила Фотинья. — Прямо на лице написаны!

В тот же день все уже знали — может, кроме дальней жительницы Любы. И все пришли гурьбой Улиту поздравлять — со своей наливкой и закусками... И очень удивились, что в доме у служивого Ивана нет ни капли самогона.

— Тебе, Улитушка, теперя нельзя! — наставительно сказала Надежда, сама ни разу не рожавшая. — А тебе, Иванушка, ой как можно! На радостях!

— Вот родим — тогда и радоваться будем! — рассудительно ответил Иван, прекрасно видя, куда ветер дует.

— Какие-то соседи у нас квёлые, поглядите, бабоньки! — с приторным задором выкрикнула Зоя. И не без умысла добавила: — А ить ищо не пост!

В самом деле: подступала масленица — и это был не пост, а сплошное гулянье и катанье.

— Улитушка! — умильно проговорила Зоя. — Отпусти муженька ко мне на блины, пуцай как сыр в масле покатается!

— А мукá у тя откель, кума? — вмешалась до сих пор молчавшая Галина.

— Ой! — отмахнулась Зоя, лицо ее сморщилось. — Не мукá, а мўка!

— А несправедливо — по желанию! — взвизгнула Надежда. — По жребию надо!

— Он что у меня — игрушка по лотерее?! — вскипела Улита. — Никакого жеребия! Вот приходите завтра с Любой, а без Любы ничего не будет!

Иван слушал из Васильковой клетушки: не было сил смотреть.

— Ладно! — упавшим голосом согласилась какая-то из женщин, послышались шушуканья — и наступила тишина.

Спустя минуту Улита заглянула к Ивану:

— Ушли, слава тебе Господи! И все гостинцы оставили... — и, скрывая волнение, спросила Василька:

— Сын, хочешь пирожка с черникой?

Усадив Василька в горнице с лакомством, Улита обернулась к мужу:

— А ты что молчишь? Не тебя касается?

Иван ответил на вызов:

— Меня — не касается! Ты моя жена! За всю войну я не в ответе. Или не так, жена?

Улита издала звук, похожий на стон или мычание...

— И мне ведь, Ваня, жалко их! Но ты мой муж — ведь так?

— К чему вопросы? Твой я, твой!

И закричал в дверь горницы:

— Василек! Иди сюда!

Показав на сына, спросил Улиту:

— Это что: тебе не ответ?

Потом легкими ладонями охватил ее живот, еще совсем не заметный:

— И это не ответ?

Лаская ей шею, приподнял подбородок и прошептал на ухо:

— Не для того я кровь проливал за вас, чтобы вас обманывать!

В эту ночь все уснули не на своих местах: Василек — на медленно остывающей печи, а Улита — на груди у мужа, сидящего в неудобной позе за столом.

Уже полночь муж и жена укладывались как положено.

* * *

Муж Любы, не вернувшийся с войны Леонид, остался в ее памяти будто пятнышко неопределенного цвета. Он имел у женщин славу гу-

лёны и Люба редко видела его дома полную неделю: тот всегда находил предлог два-три дня отсутствовать.

Сначала Люба не понимала, что к чему, потом стала сторониться людей — особенно когда их много и кто-нибудь да отпустит едкое замечание; а проводив Леонида на войну, она снова обрела спокойствие и какое-то самоуважение.

— Ваня, — говорит сейчас Люба, — а на войне очень страшно?

— Страшно, Люба.

— Тогда не рассказывай.

— Да я не собирался.

— А я, дура, Улите говорю: пусть Иван придет про войну рассказать... Она тебе так сказала?

— В точности. Только удивилась. Я ведь и ей ничего не рассказывал. Ну да она тебя поняла!..

— А ты? — первая игривая нотка в робком голосе.

И на Ивана смотрят испуганные глаза из-под стрельчатых бровей.

— Кто его знает, девушка! Вас иногда не понять!

Люба хохотнула, но тут же осеклась. В холщовом фартуке и валенках она уже не казалась воробышком, но что-то мальчишеское все равно в ней оставалось.

Половником она разлила по тарелкам щи, а покончив с этим, достала из кухонного шкафчика бутылку полупрозрачной жидкости.

— Лю-юба! — протянул удивленно Иван. — Я и на фронте пил не больше того, что по приказу. У нас в роду никто не пил.

Люба растерялась.

— Да как же?.. А ради... этого?..

Взяв заплетенные в косу волосы женщины, Иван запрокинул ее лицо — Люба зажмурилась — и он прошептал у нее над щекой:

— Тебе нужен здоровый ребенок, правда?

«Мой ребенок должен быть здоровым!» — как эхо его шепота, подумала она.

Но было еще слишком светло, чтобы смело думать о ребенке. И, хотя была масленица, было бы неприлично вспоминать о блинах. Это было время, когда люди в деревне кормились как птицы. Обладатели государственных зарплат могли еще поехать в областной город и, отстояв несколько дней и ночей в очереди, вернуться домой с мешком муки.

К чаю было подано повидло из брусники.

— Уж извини, оно без сахара! — потупилась хозяйка.

— Ничего! От этого сам чай слаще кажется!

— А хочешь, я тебе почитаю?

— Зачем? — удивился Иван.

— Чтобы день зря не пропал, — тоже с ноткой удивления ответила Люба. — Пока светло...

Иван подумал, что день и так не должен пропасть, но согласился.

Люба достала тетрадку, исписанную женским почерком, и стала читать стихи разных поэтов о любви.

Некоторые стихи показались Ивану красивыми, но терпел он недолго.

— Ты, Люба, лучше сказки почитай!

— Нет у меня сказок! — растерялась Люба.

— Тогда сама будешь сказкой! — улыбнулся Иван.

«В валенках...» — про себя добавил он.

— А ты на войне женщин видел?

— Тех, что я видел, было не отличить от нас мужиков.

— А немецких не видел?

— А немецкие прятались.

— А ты их не искал?

— А я их не искал.

— А я слышала, что мужик без женщин долго не может.

— А это — как он себе скажет! — ответил Иван, вспоминая, что муж ее был гулёна.

— Ой как быстро потемнело! — засмеялась Люба. — А давай еще впотьмах поговорим!

— Поговорим, конечно! Отчего не поговорить!

— Я врозь постелю нам... Или как?

— А не замерзнешь? — тоже чувствуя неловкость, спросил Иван. — У тебя не шибко натоплено.

— Может, стану замерзать, тогда приду! — с облегчением улыбнулась Люба. — Не прогонишь?

— Перестань глупости говорить.

Люба умолкла и стала доставать белье из комода.

...Прежде чем уснуть, она поцеловала его в плечо и прильнула к мужской спине.

— Ванечка-встанечка... — прошептала она в теплую спину.

«Должен быть здоровым мой ребенок!» — повторила она свое желание. — «Господи, сделай так! Мой ребенок... Или сделай так, чтобы он был нашим...»

О Господи!..

Молчание и тьма соединились в доме — и воцарилось тихое дыхание.

Над деревней уже светлело.

* * *

Иван, хоть и не вполне осознанно, сам себе дивился, возвращаясь от Любы на исходе вторых суток — он ощущал странное чувство исполненного долга, а еще удивительнее было то, что этот долг ощущался в какой-то мере как супружеский. Чуть ли не готов был, придя

на родной порог, с ходу обнять Улиту и искать в ее лице ту же умиротворенность, что была в лице у Любы. «Нешто ли я теперь хозяин в каждом вдовьем доме?» Эта мысль волновала и даже тревожила его. Он пробовал успокоиться, говоря, что тем самым исполнял свой долг перед собственной женой, у которой могли быть какие-то долги перед женским народом... но тут очень кстати вспомнилось его обещание сделать Васильку «бегущее колесо».

У Ивана был на примете подходящий материал — и он отправился к заброшенным мастерским филиала МТС.

Довоенные ребяташки гордились таким богатством, у кого оно было: обычно некий боковой обруч от колеса полторки или, на худой конец, завалящую деталь в виде круга достаточного размера — оставалось только сделать из толстой сталистой проволоки подобие крючка-толкача с длинной рукоятью. Крючок удерживал от падения колесо, за которым было можно бежать сколь душе угодно. Зато радости сколько: солнце, дорога и быстрые ноги! Надо было только стежку выбирать хорошую — ровно утопанную.

Среди безхозного металла Иван нашел подходящий обруч не обруч, но подобие колеса почти ростом с Василька, пожалуй, даже несколько тяжеловатого для пятилетнего ребенка (но к лету парень окрепнет!), вскоре смастерил толкающую рукоятку и, зажав то и другое в руке, стал подниматься на большак, идущий к деревне, — когда заметил на дороге фигуру — кого бы вы подумали? — ну конечно, бойкой и словоохотливой Зои.

— Здорово, хозяин!

— Здравствуйте, коли не шутите!

— Какие могут быть шутки? Звала я Улиту на блины, да она отговорила: пусть Иван, дескать, идет!

С таким задором, как у Зои, могла одинаково звучать и святая правда, и чистая ложь — притом одновременно. В подтверждение чего она толкнула Ивана бедром.

Иван устоял и металлической добычи не уронил.

— Ты ведь, Зоя, вроде бы не тут живешь?

Но Зою подобный вопрос не смутил.

— А то ты не знаешь, что бабы вокруг тебя — ровно мухи!..

— Хм... Это кто ж я буду, если они мухи?

— Ну — или пчелы! — расхохоталась Зоя. — Это хозяину видней, кто муха, кто пчела!

Иван невольно разсмехался: муха равно сядет и на кучу, и на мёд.

— У нас был начальник штаба, у него две поговорки были: люди мрут как мухи — и люди выживают, как мухи.

— Важный, видно, был мужчина!

— Я всего-то раз его и слышал: скоро пошел на повышение!

Зоя придвинулась и жарко зашептала:

— Ну пойдём, всё мне и расскажешь!

— Погоди, надо увольнительную взять.

— Да я уже взяла! И блины развела!

«Откуда мука?» — подумал Иван. Но подумал по-крестьянски, а не как сотрудник органов.

Зоя сжала его свободную руку и, не отпуская, ступала бок о бок. Скоро глаза всех уцелевших старушек Заволожья будут из-за кружевных занавесок следить за шагающей парой.

Ни ростом, ни статью Зоя не уступила бы Улите, но сегодня она вырядилась в свои самые яркие, узнаваемые издали одежды: всем ясно, что не с Улей идёт Иван. Зою этонисколько не заботило, а Ивану приходилось привыкать к неожиданной роли первого, и даже единственного, парня на деревне.

Дорога шла в гору, а на взгорке виднелся остов разрушенной часовни. Сначала ее опустили бухаловские комсомольцы, а уже война взрывом высадила все окна и входную дверь.

— Мне сюда! — сказал Иван, когда они поравнялись с часовней.

— О, там и поцелуемся! — подмигнула Зоя.

Помолимся, молча ответил Иван, чувствуя себя невесть кем — и перед Зоей, и перед этой часовней.

— А ты всегда такой бука? Я Улите пожалуюсь!

И Зоя разразилась бессовестным смехом. Оттолкнув, она отпустила его руку.

На пороге часовни Иван перекрестился, Зоя сделала то же самое. Внутри были голые кирпичные стены, облупившаяся штукатурка и кучи битого кирпича — ниже уровня фундамента: деревянный пол был давно разобран. Не было и купола: торчали несколько железных ребер над остатками барабана.

— Пойдем отсюда! — прошептала Зоя.

— Давай подумаем, сколько людей здесь помолились за сто лет. И о тех, кто с войны не вернулся.

Зоя отвернулась. «Наверное, слезы!» — подумал Иван.

По невозможности поступить иначе, Боже мой, по человеческой земной необходимости мне только так поступить, Господи, не войди в осуждение мое, многогрешного мене, но остави мне вольная и невольная...

Зоя стояла рядом неподвижно и беззвучно.

Они снова перекрестились, на этот раз — одновременно, и вышли снова на дорогу.

— Нагнал ты на меня тоски! — с укором произнесла Зоя через сотню шагов. — Теперь должен и развеселить!

— Должен, — откликнулся Иван. И в душе прозвучал будто колокол: «Должен! Должен...»

...Блины у Зои были солонь: она муку берегла от Покрова, пересыпав ее солью. Постное масло горчило, но все это выглядело роскошью да и было роскошью, по сути.

Иван, к своему жгучему стыду, запомнил все Зоины ласки...

Пройдут весна и лето, придет осень, появится маленький Тимоша и наступит Рождество, прежде чем Улита ему скажет:

— Ах, Ваня!.. Ну ты и выдумщик!

...Или от кого набрался?

Но последних слов, мудрая женщина, она не произнесет.

* * *

Иван возвращался из Хотькова.

В холщовой суме полученные для часовни иконы превозмогали неровности дороги. Дно телеги Иван застелил соломой и накрыл ватником, на него и поставил приобретения.

— Эге-гей! — издалека послышался голос, и только затем услышал Иван мелкую скороговорку догонявших его колес.

— Здорово, родимый!

— Тпру! — сказал Иван своему гнедцу.

Бригадирша Зоя правила порожней телегой, которую тащила севая в яблоках лошаденка. Зоя сидела на козлах в бело-красном вязаном платке поверх фуфайки, что твоя королева, и глаза смотрели с вызовом — не то что при встречах постоянно на людях, при раздаче нарядов на работу.

— Что никак не зайдешь, Иван? Рассказал бы, как здоровье...

— Как-то надо зайти... с Улитой.

— Улиту я каженный день на раздаче вижу. А ты мог бы нас навестить!..

— Приходите вы! А чё?..

— Хороший ты человек, Иван! Дай потрогаю!

— А еще не забудь, — напомнил Иван, — что я у вас председатель родительского комитета! Сами же меня назначили! Про школу я знаю почище тебя.

— Ну и как школа у Вани? — придыхая, спросила Зоя, слезая с телеги и подойдя совсем близко.

— Все своим порядком. Никто не жаловался...

Зоя рывком сняла шапку с Ивановой головы и ладонью обняла его затылок.

— Ванечка... — зажмурившись, прошептала она.

— Не тоскуй, Зоя! Я тоже Федю помню...

Лошади, стоявшие без дела, тихонько заржали, приветствуя друг друга.

— Что за жизнь у нас такая, а?..

— Жизнь как жизнь. Хорошей не бывает, а какую заслужишь.

— Ну ты совсем попом стал! — зло хохотнула Зоя.

Иван удивленно помолчал.

— А ты много их слышала?

— Много не много, а догадалась, откуда несет...

Она отвернулась от Ивана, но голову запрокинула, затылком опершись на его плечо. «Подведешь ты, Зоя, меня под монастырь!» — подумалось ему.

— Так ты приходи с Ваней... Придешь?

— Ага. Готовь угощения, — сказала она, глядя в небо сквозь слезы.

— Придумаем.

— Да. Подумай, подумай.

Рывком оторвалась, от чего Иван покачнулся, — и пошла к своей бричке.

— Ну-у! — закричала Зоя и огрела серую в яблоках кнутом.

Размышляя об этой встрече... Нет, какие могут быть размышления тут? В смуте чувств ехал дальше Иван, не понукая своего гнедка. Да, Заволожье тихо-медленно возростало — и некая толика молодого населения была, что греха таить, его собственными детьми. Но он поймал себя на странном и необъяснимом чувстве: что он отец всем без исключения. Хорошим или плохим — но был отцом для всех безотцовских, даже самых старших по возрасту, а безотцовщина была повсеместной.

Горе было в домах Заволожья, но таких деревушек была тьма по стране. Не потому ли та баба-академик, дай Бог ей фамилию, распорядилась извести деревни под корень и расселить по общежитиям. Тут уж Иван призадумался, чувствуя, что логика в этом его заключении исчезает. В общаге-то отцам откуда взяться? Напротив, там детей не завести.

Он не заметил, как некая фигура на краю дороги заставила гнедка остановиться. Старый, даже ветхий старик с гладко отполированной клюкой смотрел на Ивана пронизательным, далеко не просительным взглядом.

— Ты не в Антоновку, мил человек?

Иван невольно вздрогнул: по имени покойного Иванова отца — давно уже не звали так его деревню.

— Садись, отец! — пригласил он, дивясь, что старец без посторонней помощи взобрался на телегу и сел на предложенный Иваном ящик.

Гнедко тихо тронул телегу — и они мирно покатали.

Ивану вдруг стало неловко, оттого что он к этому ветхому деньми старцу обратился без достаточного почтения.

— Откуда вы, батюшка?

Поскольку старик не отвечал, Иван оглянулся. Старец, будто того и ждал, улыбнулся кротчайшей улыбкой — и лицом, без движения головы, только лицом изобразив поклон, проговорил:

— Из Радославлева мы.

Хотя Иван за свои сорок с чем-то лет побывал во многих местах двух смежных областей, он и слыхом не слыхал ни о каком Радослав-

леве. Но что-то удержало его язык от расспросов — и удерживало до тех пор, пока не показался пригорок с часовней.

— Это для меня, батюшка, все едино что Град Китеж.

Опять ответа не было, Иван оглянулся...

Старец улыбнулся одними глазами и сказал:

— Мысль ваша, отче, на праведном пути.

Иван, конечно, этого не понял. Ведь, кроме них, никого рядом больше не было. Когда оказались за сто шагов до часовни, он осмелился спросить:

— Это вы мне сказали, батюшка?

И снова пришлось оглянуться.

Старец смотрел безмятежно, как смотрят выжившие из ума старики, видя что-то недоступное ни нам, ни логике.

— Вам, отче, жить еще и жить, а похоронят вас в монастыре.

Гнедко встал.

— Да где же тут монастырь-то? — пролепетал Иван.

Старец молча улыбался.

— Но! — прикрикнул на гнедка Иван. Тот нехотя тронул телегу с места.

— А после вашей, отче, кончины все станут говорить вам «отче Иоанне».

Этого Иван уже вынести не смог. Он оглянулся. Они стояли напротив часовни.

Возок Ивана был пуст. Вокруг гулял один лишь ветер.



Александра БАНДУРИНА

/ Рига /

* * *

Когда полноводье слов
 сменяет долгая засуха
И горло щекочет застывший
непрорастающий звук,
Иду по следу дождя,
словно волчица по запаху.
Быть может, раскосые струи
излучат странный недуг.

От ожидания дрожат
 аллей зелёные клавиши,
Знают — вкрадчивый, блюзовый ритм
вот-вот сорвётся на бег.
Мы тоже на ветке судеб
трепещем под ветром завтрашним,
Но, слава богу, когда в полёт,
не ведает человек.

Как хочется верить мне —
несчётно стихов до осени,
А осень — красный кленовый мост
в страну золотых дождей...
Но если июльским днём
зачем-то о будущем спросишь ты,
Ответит только крылатый шум,
промчавшийся стаей стрижей.

* * *

Он не считал отшельником себя,
Не принимал молчания обета.
Но лишь во сне объёмами дразня,
Мир сжался, в перекрестье рам одетый.

Укрылся в ракушку шум быстрых волн,
Весна — в сквозной черемуховый ветер,
И что молчит неделю телефон,
Он по привычке даже не заметил.

Вновь наблюдал спокойно, как сквозь ноль
Струится время, утекая в завтра.
Сложна хранителя немая роль:
В путь провожать и не считать утраты.

Секунды проносились вдоль стены
С упрямостью стрелы, спешащей к цели.
Потом, наткнувшись на чужие сны,
Задумчивей, беспомощней летели.

Светлел квадрат знакомого двора —
Он сверху озирает свои владенья.
Шагающим в широкий мир с утра
Желал удачи, веры и терпенья.

Не те уже глаза последний год,
И всё-таки душа осталась зрячей...
Сменить хранителей придёт черёд...
Где взять любви, чтоб выполнить задачу?

* * *

Уходят люди, вещи остаются
Хозяев ждать, как преданные псы.
Скучают, дышат пылью гардеробной,
Мечтают снова выйти на прогулку,
Чтоб разогреть медлительную кровь
Седых владельцев; голубей кормить
И задремать спокойно на скамейке.
Святые сны... Как жаль, что впереди
Прогулка лишь до мусорного бака...

Уйдут в ничто прикосновенья рук,
Искристость взглядов на осколках жизни.
Могли бы вещи много рассказать
О мелких радостях среди печалей века...
Но время смотрит в зеркало своё
И за спиною шёпота не слышит.

* * *

Прозрачно-фиолетовый февраль
Разбрасывал эмалевые звёзды.

И падала небесная печаль,
И от неё не только руки мёрзли.

Снежинку растопить в руке легко —
Печаль прикосновений не боится.
И, может быть, опаснее всего
Надолго подо льдом тоски укрыться.

Но жизнь-река течёт и подо льдом,
До дна не промерзая даже в стужу,
Шлифует боль, чтоб выбросить потом
На дальний берег несколько жемчужин.

* * *

Из общей паутины мыслей, из заточения квартир
По миллиметру прорастает какой-то неизвестный мир.
Раздроблен цвет, аморфна форма, неясно — светел или нет,
Но чувствуя в его спиральных дышанье дней, одышку лет.

Как он в пространстве развернётся? Что мне увидеть суждено,
И цифрой какой замкнётся многосерийное кино?..
В начале, впрочем, было слово. Потоки слов в эфир летят.
Но не найти тебе такого, чтоб воды обратились вспять.
Хоть говорим мы «Обречённый» — речам не справиться с судьбой.
Мир, временем приговорённый, без слов прощается с тобой.

Нет скорости внутри движенья, и, значит, страха тоже нет.
Быть может, только сожаленье — привычного саднящий след...
Твоё согласие не важно, раз наконец понять сумел:
Да, постоянство лишь притворство сплошной эпохи перемен!

* * *

Воздух нежен наощупь, как кожа младенца.
Вдаль, кругами по небу, уходит гроза.
Над домами забрезжила, радуя сердце,
Нет, не радуга, светлая лишь полоса.

Божий дар улыбнуться без всякой причины
Поистёрся о свежие швы перемен.
Но небесный лоскут, неизношенно-синий,
Распустился... Восторженно пахнет сирень...

Мне бы мудрость цветка: майским солнечным утром
Не пророчить, забыть про ветра ноября.

Только ночью вернуть их стремлюсь почему-то —
Потому что хочу, потому что нельзя.

От весны до зимы — расстояние взгляда,
От зимы до весны — тьма бессонных ночей.
Мир пронзительно разный, то щедрый, то жадный —
Потому что для всех, потому что ничей.

ЛЕТНЕЕ

Лечь в дюнах на песок
и телом слушать
Неровное дыхание Земли,
Коричневеть
живой полоской суши,
Которой бредят в море корабли.

С вихрастым ветром
обниматься тайно
Под недовольный гул ревнивых волн
И наполняться радостью случайной
В плену свободы
четырёх сторон.

ПЕСНЯ РОДНОМУ ГОРОДУ

С этим городом друг друга мы любили,
А теперь — как постаревшие супруги,
Для которых нежность — ждать и помнить, или
Наблюдать полдня в окно, зайдут ли внуки.

И, как водится, нет в этом виноватых,
Что из общей точки в разных направлениях
Мы глядим. Попались в дождь, как в сеть, фасады —
Город ветхое латает настроенье.

Слишком много в нём не мест — местоимений,
Свежих памятков друзей, ушедших в лету.
Не войти в кафе сквозь фото на мгновенье,
Хоть по всем фонтанам разбросай монеты.

Иглы кирх не спорят в небе с куполами.
По-балтийски переменчивое сердце
Верит: схлынет отчуждение между нами.
Ну куда мне от тебя, родимый, деться!



Фаина ОСИНА

/ Даугавпилс /

НА БАЛАНСИРЕ

1

Слаба моторность: тонкий лёд, шаги —
симфония на вечном балансире.
Одно бесспорно: свет или — ни зги,
душа летит, как до неё решили.

Окна улика — сирая свеча.
Теперь гадай, сворачивая шею,
кем станешь ты — стрелком или мишенью.
Вопрос не разрешимый от начал.

Но я пойду, стремительно взовьюсь
и вдруг пойму, не очень-то и важно,
как одолеть судьбы многоэтажность:
свой Эверест у каждого, свой груз...

2

Поддел золотой крючок, —
всеобщий дурман, явь смут.
Обратный пошёл отсчёт,
пора сочинять вину.

Европу похитил Бык.
Икаров растаял воск.
Зачем повестям судьбы —
мятежный апофеоз?

Не ты — драматург. Звук — жгуч,
изменчива тишина..
...На небе — творящий луч.
На водах — вольна волна.

3

Каждый цветок истаёт,
синь зацветёт — отцветёт,
листьев соборных стаи
свой завершат полёт.

Я на террасе жизни
сяду под вечерок,
лет соберу сюрпризы
в маленький узелок...

4

Принято так — платить:
отрабатывать хлеб,
вить золотую нить —
солнце ткать в сонной мгле,

хмель наливать по край,
расточать юный свет.
Уж если жизнь — игра,
на кон — то, чего нет.

Выявится надлом,
на берегу усну.
Влажный песок тянуть
станет моё тепло...

ТОСКА ОГНЯ

Территория звуков чистых —
рощица, ручеёк. Человек
бродит один в поиске истин.
Брызжет кузнечиков сонм в траве.

Разноцветные мхи. И — камень.
Стать ему назначено первым..
...Детский рисунок: стена, ставни,
резные, — бревенчатый терем

с рублеными венцами. Крыша
и обязательная труба —
выход в небо, что дымом вышит.
Звонко бьёт времени барабан!

Дом, ветшая, о чём грезит?
Глаголы обнял и приласкал
знают разницу. Главный тезис:
дым — это огня тоска...

ОЖОГ

Ничего! —
только взглядов разряды,
мелкой услуги роскошь.
Даже помнить не надо,
где живёшь ты.
Стёкла — в объятьях рамы —
уже окно.
Короткая телеграмма, —
ожог и — озноб...
В трепещущее незнание
дням положено течь.
Выше всякого обладанья
электричество встреч.

ПРОЗРЕНИЕ

Луч просиял. Шаги с утра — упруги.
Едва тщеславиться начнут права,
найдётся ветер — в клочья небо рвать
и загонять меня в тоскливый угол.

Томительно воспоминаний бремя
на вытопанных буднях. С ветровым
прощанием я говорю — на «вы».
Во тьме тоска похожа на прозрение...

МОСТ НАД ДАУГАВОЙ

Мост, по своей натуре, — сводник.
Не потому ль сегодня здесь
мы оказались? Колобродим
в гостях у морока надежд.

Чернь вод. Бликуют стайкой рыбы.
И мир теням подвластен. Но
луны струящегося нимба
обрести теченью не дано.

Неспешно побрели вдоль дамбы,
себя и время позабыв.
Небес плывущих дифирамбы —
знак всеобъемлющей волшбы.

Дымком прощания сквозило,
хоть мы не знали о конце.
Стихи читала я. Как милость,
как вод баюканье, их цель.

СЕЗОНЫ

И с каждой осенью я расцветаю вновь...

А. Пушкин

Весенний хмель — стоуст.
Зимой глоточек дня
не опьянял меня.
На смену — скорость буйств.

В цвету сирень — царит!
А с яблонь лепестки
сошли, как тень легки.
Неутомимый ритм.
Попробуй-ка успеть
за пеньем вешних струн.
Май — гон страстей, Июнь —
звенит от жара твердь.

Как время жадно ест
мгновения! Вот-вот
синкопою высот
уменьшит лето текст.

Мне осень тем мила,
что медленен уход
её цветных забот,
раздумчивы дела...



Ирина ЦЫГАЛЬСКАЯ

/ Рига /

* * *

я не бессмертия хочу, зачем?
 оно и так повсюду в травинке солнце
 то ласковом порой жестоком
 в ураганном вихре
 телят несущем через речку
 в деревне дотла сгоревшей омертвелой

не плачет же травинка вся сгорая
 и в жалобах кота не страх небытия
 но мука жизни он не знает
 не может вспомнить ни о чем

и в зимних грезах слышится
 деревьям шум весенней кроны
 меня морочит по незнанию тоска
 хочу забыть свои слова
 зачем оно бессмертие мое когда
 бессмертники цветут

* * *

В окне — графический рисунок: на занавеске.
 Ах, нет: стекло, в котором отраженье.
 Рисунок — тоже отраженье, да оно —
 лишь отраженье отраженья.
 Пейзаж обыкновенный: спортивная
 площадка, ограда черная и голые деревья,
 а на столбе — фонарь. Сияет вместо солнца.
 Ковер из снега белый, темные фигуры,
 и мяч летит (а на рисунках — не летает).

Не занавеска там, а все, как есть: в стекле — картинка, в которой, если всё, как есть, то — нету ничего. И значит, отраженье — важней, чем то, что есть.

И как же необъятно отраженье того, что есть: предметов, чувства; когда-то прозвучавших слов... и песенки — простой и милой:
о том, что есть,
в котором — нету ничего.

СТАРЫЙ КОЛДУН

Ах, старый колдун, замолчи.
Мне мудрость твоя надоела.
Что я потеряла ключи
от рая,
я знаю.

... Птицами мы взлетели,
крылья радости нас понесли.
Он мне говорил — молчи,
не то задохнешься от счастья.

К нам приближалось ненастье.

Трудно, колдун, мы брели,
долго не знали покоя,
в стужу согреться порой не могли,
в тени деревца отдохнуть
порою мечтали от зноя.

Колдун, я не знаю, где он.
Блажен ли в раю,
терпит ли адские муки.

Не знаю, зачем ты сидишь
тут один
и, видать, умираешь от скуки,

что мудрствуешь глупо —
де-он обманул,
и я никогда его не увижу.

Ты хочешь меня удержать
болтовней,

оставить с собой тут в преддверии рая,
или — ключницей у ада?

Ах, старый колдун, замолчи.
Давно бы ушла. Так устала.
Но я потеряла ключи.

* * *

Л. А.

Меня звала к себе Людмила,
во сне моем она живой была
и, приглашая в гости,
говорила: «Успеется». —
Не торопила.

А я — в просторном, светлом доме,
где настезь окна,
множество детей.
Напоминает кто-то о пароме.

«Зачем? Давно же мост построен,
автобус...». «Да стряхни свой сон:
она... — туда, ты знаешь,
еще там страшный этот —
другая переправа,
ну, как его? — Харон!»

«Ты нам читала!»
«И не паром, а челн!»
«Не Даугава — другая речка, эта —
ну, как ее?»

«Я знаю: Ахерон!»

Всё спуталось. Тоска томила.
Казалось, длится — нет: не сон,
но и не явь.

Течет река. На берегу какой-то дом.

* * *

повторяю себе: держись, повторяю, в дверях
распахнутых стоя,
но что это значит, не знаю. Быть может стойкость

и усмирение жажды. Ни вверх не гляди, ни вниз,
в дверях распахнутых стоя

ветер сквозной укротит и жадную
жажду развеет,
ни вверх не гляди, потому что пыл
раскалится солнцем
еще сильнее. Ни вниз, где рассыплется пылью.
Ни вверх не гляди, ни вниз. Повторяю: держись, в дверях
распахнутых стоя

2013, ноябрь

МЕЛОДИЯ ЗВУЧИТ

с утра, едва глаза откроешь. Но прорываются слова
негодные. Любовь не умолкает. Но красным города
и веси.

Мелодию с утра ломают рваные слова, вчера она молчала,
и меня спасала немота. Любовь спала каким-то обморочным
сном.

Потоки кровью города... зальют пороги, а кругом дома.
Речь спутана, слова намокли и не знают строя: забыв о прежнем, тонут
в новом.

Горят тетради. А мелодия играет, слова, скорёжившись, сбивают,
комкают мотив.

Но музыка звучит
с утра, едва глаза откроешь.

СБИЛСЯ КАЛЕНДАРЬ

В густом тумане проходит ночь.
Уже писал поэт: *февраль...*
А нынче вовсе сбился календарь,
и непонятно, лето или осень.

А после осени — весна: зима пропала;
глядишь — на небе просинь
среди свинцовых облаков,
охватит радость — без берегов,
и не заметишь, что зима

всё длится: остановилось время,
а весна — весна? да снится!

Как обезумевший пастух,
пасет на небе ветер тучи,
как стадо одуревшее, и треплет старые
деревья, как взлохмаченные старух;
и этот ветер — досадная помеха,
если я от радости хочу залиться смехом.

И разве не потеха:
зима пропала, за осень —
весна, светло, февраль,
исчезло время, сбился календарь.

ЗА ВЫСОКИМИ ДОМАМИ

Там, за высокими домами, которые
скрывают горизонт от взгляда, — небо
разлилось, как море, с островами-облаками.

Темнеет. Ночь поглощает небо, превратившееся
в море, мои мечты о бесконечной жизни там,
в придуманном небесном далеке.

Настанет утро, море впитается в песок
под небосклоном, отвесно вставшим за высокими
домами внутри как будто бы горы, под кромкою
ее крутою, будто и дома, и я
находимся в овраге, где одуванчики уже седые.

Высокие дома и пышные, уже лохматые деревья
середины лета, — создания земли.

И как надежно она их держит.

Но кажется, — на цыпочки привстали дотянуться
в небо, хотя и знают: не отпустит.

Или — ураган? который из земли с корнями
выдернет в овраге, где серые пушинки одуванчиков
летают.

Вырвет, унесет, куда тянулись, где конечной
жизни уже не будет.

Так я в воображаемом овраге впиваюсь
взглядом в самый край на круче,
почти без страха ожидая урагана, — внутри горы,
где одуванчики уже седые.

Елена ЛАРИНА

/ Таллинн /



ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ...

Венеции

Помнишь, Венеция, взрыв этих специй —
Роскоши с хворью, от пришлых скрываемой?
Лодки скольжение каждым движением
Юбку волны задирало над сваями
И раскалённое солнце растаяло
В небе, захваленном птичьими стаями...
В воду канала монетка упала,
Помнишь, Венеция?

Помнишь, как ты золотыми витринами
Хвасталась, словно цыганка монистами?
Мачо там ласковы по-магазинному,
Маски печальны, а цены неистовы.
Кто-то, торгуясь тогда до победного,
Маску купил, хоть и самую бедную,
Помнишь, Венеция?

Помнишь, гондолы рядами, как клавиши,
Ветром готическим перебираемы?
Музыка времени — с нею не справишься,
Все мы ей ноты и все мы играемы.
Помнишь, тогда, на коленях причала
Лишняя нотка одна прозвучала?
Помнишь, Венеция?

К ночи слабее земли притяжение.
Чёрное чёрному же продолжение,
В центре луна ли? фонарь на гондоле ли?
Плещется песня ли?... , небо ли?... , море ли?...

Я ли... Спала ли... С ума ли сходила? —
Тёплых мостов целовала перила...
Помнишь, Венеция?

Лондону

Добрый день, мистер Лондон, я к Вам ненадолго. Рады?
За улыбку спасибо, но что-то я Вам не верю...
С электронным радушием мне распахнулись двери
В Ваши улицы, парки и чопорные парады.

У синьоры Венеции только лицо под маской,
А душа — нагишом, напоказ и печаль и радость,
Вы ж, напротив, открыты и будто бы вне маскарадов,
Но эмоции в сейфе и не подлежат огласке.

Вы меняетесь, сэр, Вы заметно помолодели,
И всё новые в новых домах языки и лица,
Только Ваш многослойный коктейль, господин Столица,
Никогда не смешается в неоднородном теле.

Отстранённо смотря на безвкусицу и галантность
И на горы грязи у мраморных парапетов,
Вы вполне убедительно всем объяснили, что это
Несомненно и есть демократия и толерантность.

Вы признали равно своими дворцы и трущобы
И Вам нравится, как, выдавая себя осанкой,
Отражаются в окнах хай-тэковских небоскребов.
Тени призраков Ваших викторианских замков.

Вы не «старый и добрый», Вы — вечны! И Вы — бесстрастны.
Вас не портит ничто, всё к лицу Вам и всё по чину.
В чем причина? Не знаю, да нужно ль искать причину?
Я Вас просто люблю, мистер Лондон, ведь Вы — прекрасны!

Озеро Комо

Восхитительно и незнакомо,
С ощущеньем мурашек по коже,
Пьёт глаза мои озеро Комо
На порфирную чашу похоже.

Будто горы, сложенные в пригоршню,
Зачерпнули глубокого неба.

Не теперешнего, не нынешнего,
А времён, когда мир еще не был...

И теперь, отражаась, качаются
В ослепительном ультрамарине
И прибрежные виллы-красавицы
И церквушка на самой вершине,

Между солнцем и облаками
Белочаечьи штрих-пунктиры.
Наклонись, зачерпни их руками,
Присмотрись — там начало мира.

Видишь, храм первозданно-престольный?
Слышишь, с вечнозелёных гор
Осыпается звон колокольный
В вечно синие чаши озёр.

Красавице Вене

Как по венам кровь, так по Вене жизнь
Бьёт живой струей, унесет — держись!
И не хватит глаз.
И не хватит слов, как ты ни божись,
Улетай душа, голова — кружись!
Это венский вальс.

Упадут в Дунай фонарей шары,
Ты играй, играй, ярче нет игры,
Чем ловить огни.
От волны к волне раскидать поврозь,
А потом собрать в золотую гроздь
И расправить в нить...
Ты взяла меня в этот сладкий плен
Кружевных мостов и зефирных стен,
Изумрудных крыш.
Что угодно, хочешь, возьми взамен,
Но меня ещё пригласи, а Вен,
А не то умру. Пригласишь?))

Марианские Лазни (Чехия).

Птицы с рассветим всё громче зовут весну,
Тянутся горы лесными макушками ввысь.
Эй, Марианские Лазни, не время сну,

Бывший когда-то Мариенбад, проснись!
Что Вам, герр немец, билеты туда и назад?
Мариенбад — Карлсбад, а потом zigüsk,
Эк, Вы опомнились, больше не выйдет трюк —
Карловы Вары давно уже ваш Карлсбад,
Плотно, как бусы, севший по берегам
В две драгоценные нитки белых дворцов.
Мариенбад же, по воле его творцов —
Россыпью, будто по бархату жемчуга.
Держит в зелёных ладонях Славковский Лес
Чашу даров, где и воздух свят и вода
И охраняет солнце его с небес,
Впрочем, жарой не балуя никогда.
Храм на холме воздевает крест в облака,
А на соседнем — костёл разгоняет тьму.
Смотрят они друг на друга издалека
И улыбается в них Господь себе самому...

Японии

Какими невозвратными снегами
Окрашен твой журавлик — оригами,
Что кружит в небе, знаки посылая
Из края, где ни разу не была я?

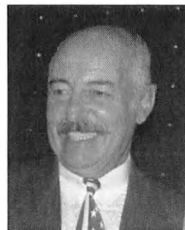
Снегами ль Фудзи? Лепестками ль вишен?
Лебяжьим пухом, чей полет неслышим?
Пугливым легким облаком иль мелом
Потупившейся гейши белотелой?

Бескровными ль губами самурая,
Что смерть благославляет, умирая...
Иль чистым серебристым лунным светом?
Никто — никто не может знать об этом.

Япония — мир, собранный по звездам,
Сам Бог не понял, как тебя он создал,
Какими невозвратными снегами
Окрашен твой журавлик — оригами...

Джек НЕЙХАУЗЕН

/ Рига — Нью-Йорк /



МОИ «ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ»

«Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно. Самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения, так как, пока мы существуем, смерть ещё отсутствует; когда же она приходит, мы уже не существуем»

Эпикур

Эпикур — мой человек! Запомню всё вышесказанное слово в слово и крепко-накрепко — и буду всем повторять! Так как я живу по Эпикуру, считайте меня 100-процентным эпикурейцем!

Ориенталист

Прожив годы в Сингапуре, привык к ориентальному подходу ко времени — там не меряют его никак! Просто живут. Не все, но многие. Объясняют «философски», а именно так: собаки, кошки и прочие животные спят много, так как они существуют в другом времени, и для них не имеет значения, ночь сейчас или день. У них ведь, возможно, и день другой, и ночь другая. Это у нас своё собственное измерение. Тоже странно. *Почему не спать, когда хочется, а ждать ночь?* Ребёнок спит целый день, вся жизнь впереди — так что пока можно поспать. Старые люди спят мало — почти не осталось времени жить, поэтому им теперь надо больше бодрствовать.

Принцип ориенталистов — *ешь, когда голоден, а спи, когда хочешь*, — верный, хотя, может быть, он противоречит «общепринятым нормам» нашей с вами жизни. Но попробовав следовать ему, вы увидите, как это замечательно. Конечно, будет трудно. Бедный или богатый бездельник может следовать этому правилу повседневно. Но и каждый из нас может это себе позволить хотя бы во время от-

пуска или на выходные дни. Пишу как живущий по этому принципу уже где-то лет тридцать. Это не какой-нибудь «культ», «течение» или что-то «эзотерическое», заумное! *Это как бы бессистемное существование без строгого распорядка и слова «Надо!»*

Ведь вы сами знаете, что «Надо!» и какой-либо жёсткий «режим дня» не должны висеть над людьми как наказание...

Урок

1967 год. Я в Риге — в «штатском» расцвете, и, казалось, не отразим! Под Москвой, где я пробыл около месяца, в компании молодёжи все на меня смотрели как на иностранца. Я то с одной, то с другой... В компании у нас была пара: она — красавица, а он обыкновенный парень. Я, естественно, свои мысли, планы нацелил на неё. И она уже почти сдаётся «иностранцу» из Риги. Никогда не забуду вечер, когда я с её парнем отправился за покупками для нашей молодёжной «гулянки». За 45 минут, проведённых с ним, я в него просто влюбился. Умница, начитанный, с чувством юмора и в то же время серьёзный, не то, что ваш покорный слуга — уса-тый танцор... *Как я остро тогда почувствовал, почему она — с ним!* И как много качеств мне, как человеку, не хватает. А девушка даже не поняла, почему я прекратил мои «заходы». Но я так был рад, что не нарушил их идиллии, так как со мной у неё был бы просто эпизод — не более того! Всю жизнь помню это. Честно скажу, не изменился сразу, но через много лет — да! Внешность всё-таки мало значит. Иногда и после двух слов забываешь о возрасте, длине волос, лысине и всём прочем. Как двусторонняя улица — *или захочешь по солнечной стороне идти, или перебежишь на теньвую. Выбор наш!*

Почему же ты выглядишь как иностранец?

Рассказ о моей встрече с известным писателем Василием Аксёновым — на Рижском взморье, в 1969 году — решил поместить в этот, «философский» раздел. Почему? Почитайте — тогда, наверное, поймёте.

Представьте, я — юный модник, поклонник Америки, читавший аксёновские «Апельсины из Марокко» и «Звёздный билет» — разговариваю со знаменитостью! И это была как бы «наша», штатниками читаемая и почитаемая знаменитость, а не Твардовский или Бондарев... Изя Димант, выпивая где-то в пляжном «грибке» и случайно разговорившись со столичным писателем, на его вопрос: «С кем бы из вашего, рижского "молодняка" поговорить?», выдвинул на эту почётную роль меня.

Встретившись с Аксёновым у гостиницы «Майори», где он обитал, мы отправились пешочком в ресторан «Jura». О чём говорили?

Об одежде, о ценах, причёсках «под американского солдата», о западной музыке... Ну не о литературе же он со мной разговоры вёл! И уже под моё пиво и его коньяк полились мои, полные нескрываемой гордости, байки про то, как мы, рижские «штатники», ходим как петухи по «Бродам»... Потом последовали советы, где и как «достать» фирменные вещички. В общем, красочно описал я тогда собеседнику, считавшемуся «лидером молодёжной прозы», разные особенности «рижско-штатского поведения».

И что вы думаете? Позднее, в его новых книгах я узнавал многие «штатские» детали, почерпнутые автором из нашей неторопливой беседы. А тогда мне довелось услышать от него вот такой «философский» вопрос: «Посмотри, Яша, на мне ведь всё фирменное, самое-самое. А на тебе — белая майка, джинсы и шубы, честно сказать, "не очень". Ну и пробор твой ещё... Почему же ты выглядишь как иностранец, а я нет?» Честно говоря, я растерялся. Это вам не цену за блок сигарет «Марлборо», не задумываясь, точно назвать! Моё минутное замешательство было нарушено насмешливой репликой: «Ну вот, видишь, не можешь мне ответить, как и друзья твои не могли!»

Да мог я ему сразу же ответить! Просто не удалось мгновенно собрать в одно целое все ответы, «всплывшие» в моей голове уже на финише нашего «банкета». Совсем не зная его биографии, абсолютно ничего не ведая о его родителях, а только усвоив из предисловий к его книгам, что он наш — «молодёжный, сочувствующий новым временам» — писатель, я изрёк примерно следующее: «Всё дело в породе. У нас порода другая! И не в национальности дело! Я с того момента, как себя помню, жил уже на Западе не только географическом, но и, так сказать, семейном. На потомственном семейном "Западе", с постоянными восклицаниями отца «А вот раньше было!» А раньше у него было и пальто в клетку, и любимые заграничные журналы-газеты в киоске на углу, и поездки «на воды» — в Карлсбад. И фотоальбомы без красных флагов. Одним словом, свобода! От этого и родилось у меня и у многих моих друзей настоящее преклонение перед Америкой, возможно, в чём-то, наивное, восхищение «штатским» образом жизни, каким он в наших мечтах да ещё по фильмам представлялся. Это в комиссионке купить нельзя! Это — внутри».

Мой собеседник не просто был рад такому ответу — он был потрясён, поняв, что услышал мои искренние слова и увидел моё, настоящее! А я тогда, наверное, впервые в жизни, смог так кратко, всего в нескольких фразах, выразить очень важное для меня.

И получилось это, потому что передо мной был «сам Василий Аксёнов», глаза которого видели меня насквозь и помогали мне проявить себя настоящим, а не... модным.

Никогда не забуду...

Кто-нибудь из вас помнит сейчас окошки в рижских домах, находившиеся на уровне тротуара? Такие подслеповатые, полуподвальные, окошки. Мальчишкой я всегда любил в них смотреть, постоянно мучаясь вопросом: кто же там живёт? Даже получал удовольствие, фантазируя, рисуя в своём воображении людей почти что из «подземелья». Что они ели, на чём спали и тому подобное... Наверное, хлеб у них всегда чёрствый, конфет и мороженого вообще никогда не пробовали, а умывальник в их жилище такой, как на даче...

Как хотелось побывать там, у этих незнакомых мне людей! Кто они такие? Что они делают в этих подвалах? Может, от кого-то скрываются? В голове смешивались и герои каких-то загадочных историй, и те, вполне реальные «персонажи», которых видел своими глазами на улицах и на рынках — пьяные старики, инвалиды, нищие старухи, похожие на ведьм, и, конечно же, грустные дети, одетые совсем не так, как я. А они-то меня видят из своих окошек? Или только мои ноги?

Всегда помню слова мамы: «...а вот эти вещи и еду отнесём Лиде — они бедные...». Я не знал Лиду, но всегда думал: вот, наверное, эта Лида с детьми там, в таком подвале с маленькими окошками и живёт. На мой вопрос о таинственной Лиде мама серьёзно ответила: «Они, сыночек, пострадали, им очень трудно». И я не знаю, почему, но понял тогда, что за этими словами скрывается что-то несправедливое, какое-то непонятное несчастье, и подобное может случиться со всеми, даже со мной.

...Видел я такие убогие, «приземлённые» окна в разных домах нашего района — наверное, невольно сам их искал! Вата, заложенная между рамами давным-давно немых окон и посыпанная кусочками разбитых ёлочных игрушек, делала эти привычные картины какими-то грустно сказочными. А настоящая ёлка в Новый год у них была? — всё новые и новые вопросы возникали в моей голове. Хотелось поделиться с обитателями «подземелий» хоть чем-то приятным, а не только нашими старыми вещами. Скорее всего, на самом деле всё было совершенно иначе. Но моя фантазия не имела в том детском возрасте даже маломальских границ. Но почему же, когда вспоминаю это сегодня, испытываю то же чувство, и что-то печальное, так и неразгаданное, наполняет сердце...

Для меня слова мамы, сказанные давным-давно, навсегда стали путеводными — в полном смысле этого слова. Дорога нашей жизни может быть поначалу прекрасной, но в любую минуту на твоём пути вдруг возникнут и ухабы, и повороты, и — «упаси, Боже» — яма! Лестница нашей судьбы не всегда ведёт на верхние этажи...

Может быть, мои детские размышления о «людях подземелья» и тот давний разговор с мамой научил меня никогда не смотреть

свысока на полуподвальные окошки, за которыми, возможно, никогда не было новогодней ёлки, а лишь осколки ёлочных игрушек...

И уже в детстве я понял, что не стоит бояться неожиданных поворотов и всяких препятствий, которые не раз будут встречаться на моём жизненном пути. Я не раз убеждался, что можно оставаться Человеком, выбравшись даже из глубокой ямы, смыв грязь или отряхнув пыль. И можно изо дня в день смотреть на ноги людей, проходящих по тротуару мимо твоих окон, но не терять человеческого достоинства!

А честно говоря, не всегда легко оставаться Человеком...

Бережно относиться к людям

По-моему, если бережно относишься к себе, то сумеешь быть таким же с другими. Но уметь и делать — разные вещи. Мне часто поучительно говорят: ты вот по-джентльменски, а тебе грубость в ответ! Мой ответ прост: *«Я ведь не для кого-то веду себя так, а для себя»*. Поэтому мне совершенно безразлично (ну, может, на мгновение неприятно), если не ценят моё доброе отношение или грубят в ответ. Ведь из-за этого я не буду менять себя. Бизнес — игра жестокая, но даже здесь можно выиграть или проиграть без оскорблений и хамства. Бережно? Не знаю, но потом легче в любом случае! Скажем, вчера собрались *друзья и партнёры по бизнесу* (не всегда это одно и то же). И так как мы по своим бизнес-делам уезжаем надолго, то проведём вместе десять дней в разных странах. Поэтому заранее хотим создать нормальные деловые отношения, без панибратства, грубости и похлопывания по плечам. И весь вечер в воздухе ощущалось это *«Бережно!»* Под этим же девизом и умение слушать и умение извиниться. *Интеллигентный человек всегда хочет учиться, а это включает и умение слушать*. Интеллигент сможет донести свою точку зрения без оскорблений и «путёвок в жизнь», вроде *«Пошёл ты на ...!»* Но каждый может сорваться, а я, случалось, — первым. И всегда считал нужным признать это словами: *«Извините, был не прав»*. Что в этом сложного? *Такой шаг ставит в более трудное положение обиженную сторону*: принимать извинение или нет. Но в желании признать свою неправоту, извиниться нет ничего немужественного. *А это опять две точки зрения: прав ты или нет.*

\$\$\$\$\$...

Немного о распределении денег и людях, их «ненавидящих». *Деньги — и маленькие, и большие — нужны всем: и умному, и глупому; и скромняге, и моднику*. Каждый может направить маленькие или большие деньги на то, что ему лично нужно. Мне — мотоцикл, а тебе что-то для сердца и ума — духовное. Я тут не шучу. Когда внутри есть тот самый баланс, о котором уже говорил, то и приме-

нить деньги, приложить их как надстройку к внутреннему спокойствию очень приятно. А когда баланс отсутствует — увы! Примеров богатых и несчастливых полно. Но это не из-за богатства — это они сами растеряли баланс.

*Одежда — это, в первую очередь, для себя. Деньги — великий инструмент, величайший, это (простите меня, грешного!). Так как они за-ра-бо-та-ны (!!!) с помощью Веры, труда и любви. Так и надо пользоваться ими, не забывая, как они пришли к тебе. Никому не навязываю этот принцип — не я его придумал, он был всегда. Моральная, хорошая, душевная, почти всеми приемлемая истина — «Не в деньгах счастье» Так ли? Вспомните булгаковское: «Еда, а не аппетит; постель, а не сон» и т.д. Красиво, умно, но... А если у тебя хороший сон, не пропал аппетит, имеются друзья и всё остальное, а нет только денег? Тогда как? Ведь хочется кушать, учиться, ездить, угощать друзей. *Деньги фактически «покупают» свободу — свободу делать что хочешь, свободу от многих тяжёлых, рутинных повседневных вещей.* Слышу чьё-то: «Материалист Джек!!!» Ну и хорошо! Многие с презрением смотрят на деньги лишь для вида или потому, что их у них нет... Мера у каждого своя: один убьёт за них, другой пойдёт другим путём. *Но без денег этих проклятых — куда же?**

Погостил и... ушёл!

Обратили ли вы, мои друзья-ровесники, внимание на то, что с наступлением старости незаметно стирается страх перед концом. В молодости от одной мысли об этом сердце просто холодело. А сейчас — посмотрите на стариков... Я по себе чувствую — видел всё, прожил хорошо, но... «*только бы мгновенно!*» Конечно, думать и мечтать о таком уходе в мир иной — одно дело, а жизнь может распорядиться иначе. В Бруклинской больнице, когда папа был при смерти, врачи говорили мне: «*Есть одно лекарство — можно попробовать дать вашему отцу, но...*». Я отказался! И хочу, чтобы мои близкие сделали то же самое и для меня. Думаю, в определённый момент и в определённом возрасте, наверное, уже чувствуется усталость от жизни, даже хорошей, когда сам её не контролируешь. Моя мама, умирая в рижской больнице за Двиной говорила: «*Лишь бы скорей...*» Снова нет универсальной формулы, каждому — своё. Мне, безумному оптимисту, хотелось бы видеть жизнь так: *пришёл, интересно и весело погостил и... ушёл!*

Мудрость и Возраст не всегда совпадают. Мне кажется, что мудрости как таковой не существует — есть способность анализировать прошлое и настоящее, беречь информацию, использовать накопленный за многие годы опыт. Ведь на 99 процентов всё повторяется! И если есть память и ты помнишь, что так уже было, значит, делай так-то, избегай того-то, и дальше всё в таком духе. Это приобретённое тобой, данное опытом и памятью, можно назвать и мудро-

стью, и хитростью. Но чтобы принимать правильные решения и уметь анализировать, надо иметь УМ. Или не надо! *Заменим «картошкой ситуаций» — будет просто и легко!*

Мой стакан был всегда наполовину полный

Думаю, что успех и удача в жизни чаще были на моей стороне. *Важнейший фактор — семья.* Я понял это, оказавшись один в Америке, когда должен был полностью поменять жизнь — детские игры закончились. Аэлита с трудом и упорством преодолевала преграды на пути к своей сценической карьере. И вместе мы смогли помочь друг другу. Верю в формулу: *«Делай всегда всё, что можешь, на 100%, и всё в твоём деле получится хорошо!»* Нет? Не имеет смысла переживать — ты же пытался «на все 100%! Получится в следующий раз! Но не 99% надо давать, а все 100%! Были, конечно, и падения — учился на всём. Стакан воды наполовину полный или наполовину пустой? *Надо иметь твёрдый выбор, чтобы с риском двигаться вперёд, а не благополучно топтаться на месте.* Многие, глядя на меня сейчас, абсолютно не помнят или вовсе не знают, как труден был мой путь, так как с виду я всегда беззаботен, веселю всех, был и остаюсь мальчишкой. Почему? *Для меня стакан был всегда наполовину полный, а это уже значит «Всё хорошо! Всё ОК!»*

Мы так мало даем тем, кто нам дорог,
Надеемся, что путь впереди еще долог,
Но меч уже завис и скоро упадет полог,
Успеть сказать, успеть сказать...

Zero People

ПОЛНОЛУНИЕ...

California, USA

*«Жизнь чаще похожа на роман,
чем наши романы — на жизнь».*

Жорж Санд

1986 год. Еду из Сан-Франциско в Сиэтл на «рентованном» кадиллаке с моим другом Юлом Кузьминовым (рижане моего возраста, наверное, помнят его — басиста из «Эолики», одного из штатников). Мы слушаем музыку, наслаждаемся красивой дорогой, за окном — океан, он то предстаёт перед нами как великолепная картина талантливого художника, то исчезает из вида. Выехали мы поздно, и вскоре уже стемнело. В смехе и болтовне, воспоминаниях о Риге и о сумасшедшем городе Сан-Франциско, который считался «столицей гомосексуалистов», время летит быстро.

В северной части Калифорнии, недалеко от горы Часты, которая кстати имеет мифическо-магическую репутацию в Америке, я заметил, что нужен бензин, — надо побыстрее заправиться. Но мы уже не на скоростной трассе, а на какой-то петляющей дороге, и указателей бензоколонок здесь что-то не видно. В темноте начинаем чувствовать себя неуютно и одиноко. Но вдруг в луче света от моих фар мелькнула стрелка с силуэтом помпы — сворачиваю! Кругами спускаемся в тёмную, туманную низину. Вот, наконец-то, разглядели какой-то маленький домик — стоит сиротливо, один-одинёшенек! А перед ним — всего одна бензоколонка. В окнах — тусклый свет, слышатся звуки банджо... Они мгновенно вызвали у меня ассоциации с фильмом «*Deliverance*». Помните такой?

Юл остаётся в машине, а я выхожу и направляюсь к дому. Открываю дверь: пахнет пивом, потом, накурено, гул голосов. Сквозь дым и туман замечаю на стенах... головы оленей и разглядываю их со страхом. А какие люди здесь собрались!!! И вправду, как из фильма! На лицах всех видны следы каких-то серьёзных генетических ошибок, поэтому весьма трудно описать представшие передо мной «портреты». Как в угаре мелькают какие-то перекошенные, изъеденные оспой, всклоченные, кретины... В общем, дорогой мой, попал ты чёрт знает куда и чёрт знает к кому! Однако вижу, что неожиданно открывшаяся дверь в логово и я на пороге произвели какое-то впечатление на это собрание человекоподобных.

Из-за стойки поднялся огромный человек-боров, все на минуту примолкли, а он бросил мне первый вопрос:

— Ты откуда тут взялся?

— Будьте любезны, можно бензина, — отвечаю я приглушённым голосом.

— У тебя что, с ушами плохо? Ты откуда?

— Из Сан-Франциско.

И тут возникает пауза — гробовая, точнее, — гробовая тишина. Именно в тот момент до мозга костей я ощутил и на всю жизнь запомнил, что это такое! Десятки глаз буквально впилась в меня и как рентгеном просвечивают насквозь — я прямо физически это ощущаю!

— Ты что, один из этих, *гомиков*? Вот тут я действительно осознал всю трагедию момента. Чтобы вам стало понятно, почему, хочу напомнить, что ваш покорный слуга, дорогие читатели, любил тогда носить (и по-прежнему любит!) кожаные джинсы, ковбойские сапоги и чёрные майки, плотно облегающие тело.

Тогда, в три часа ночи, именно в таком наряде — в кожаных брюках, тугой майке, ковбойских сапогах — лысоватый и с усами (ну прямо как мотоциклист из «*Village People*») я и предстал перед не очень симпатичными мне незнакомцами. И от моего ответа зависит, будет у меня будущее или нет! Пот бежит по спине наперегонки с мурашками...

— Да вы что, я вообще-то из Бруклина, только для Сан-Франциско так оделся — легче делать бизнес, ведь я страховками занимаюсь (вру гладко, а в минуты страха это важно!) Где же ваши женщины, давайте докажу!!!

И произошло всё, как в театре: «тишина взорвалась громкими аплодисментами, переходящими в овации». Тут же из какой-то руки (замечу — без пальца!) принимаю кружку (заяпанную!) с пивом (отпیتی!) и глотаю его с радостью! Какие-то калеки уже тащат меня к столу, бьют (сильно!) по плечам, не смех вокруг — а конское ржанье, не разговор — а «фонтаны слюны»... Старик в замызганной ковбойке объясняет мне (пытаясь всё время свою харю приблизить к моему лицу), что мои ковбойские сапоги хороши только для Нью-Йорка — узкими носами удобно тараканов в углах комнат давить! Ха-ха-ха!!! А беззубый парень тут же сообщает, что «вот допью пиво, поговорим» — и тогда он пойдёт налить мне бензин. Я просто в людских тисках — хорошо, что хоть ещё не распяли!

И тут... «явление Христа народу!» Юл, взволнованный тем, куда же я запропастился, решился зайти «на огонёк». Гробовая тишина — акт второй! Мой друг, похожий на агента ФБР, — бледный, длинный, в костюме (он ходил в нём всегда), при галстукe — увидев страшную обстановку, в которой я пребываю уже, наверное, около часа, просто готов упасть в обморок! Его, человека, который 3–4 раза в день принимает душ, затхлый воздух, ужасные запахи и даже малейшая грязь подвергают чуть ли не душевному расстройству.

Я, предчувствуя, что вот-вот наступит конец нам обоим, ору что есть мочи: «Это мой брат, он счетовод, но с детства глухонемой!» Именно ору, «взывая» таким образом именно к Юлу, чтобы он понял — ситуация для нас складывается критическая! Слава Богу — до него дошло! Тогда я во всеуслышание сообщаю, что у «братца» с животом проблемы, — проклятые гомосексуалисты, наверное, какой-то своей гадостью накормили! Юла тут же тащат к грязной барной стойке — лечить! Он безумно вытаращил глаза, и до обморока уже недалеко. Местного самогона наливают нам обоим. (Может, это был финальный экзамен?) Я — уже свой парень в «охотничьем домике», с сигаретой в зубах, весело эту мерзость вливаю в себя и другу своему даю понять глазами: хочешь жить — пей! Он, бедняга, буквально давится и никак не может выпить мутноватое содержимое грязного стакана залпом. Опять «дружески» колотят, уже нас обоих, по плечам, орут. Дым коромыслом, но сквозь его пелену вижу, что беззубый «мальчик» направляется к дверям. Мы «от чистого сердца» в спешке пожимаем какие-то руки-кляшны и на прощание ещё разок получаем по плечам.

Фу, наконец-то, мы у машины. Квазимодо наливает бензин, Юл не может дожидаться, когда же я возьмусь за руль. Молниеносно трогаюсь с места, чтобы быстрее оказаться как можно дальше от этого дурного сна.

Едем, сначала молча — просто не в силах были обмениваться впечатлениями о том, что пережили, неожиданно оказавшись «на дне». Над нами всю светит луна — полнолуние!

Прохладный ветер свистит в окно, и круглая луна подмигивает мне, будто успокаивает: в полнолуние такие события — нормальное явление...

JN, Miami 2008

«СНОВА ЗАМЕРЛО ВСЁ...»

Сердце матери это бездна,
в глубине которой всегда
найдётся прощение

Оноре де Бальзак

Мне 10–11 лет, и я уже влюблён, причём не в первый раз, но теперь — «навечно и бесповоротно»! Настолько это было сильно, что сегодня даже не помню имя моей Джульетты... Давайте вернёмся, друзья, в то прекрасное время, когда взрослые танцевали на танцплощадках в домах отдыха и санаториях, а местные мальчишки и девочки всегда приходили поглядеть, послушать музыку и как бы тоже поучаствовать. Ведь для них это было почти как кино! Вот там и можно было нередко встретить смуглого мальчика с набриолиненными волосами — он спокойно и уверенно стоял на веранде, а иногда танцевал с красиво одетой женщиной, мамой. И звали этого мальчика Яша.

Познакомился я после приезда в Дом отдыха со всеми ребятами быстро, а среди девочек сразу обратил внимание на Неё, и два сердца забились в одном ритме: моё и высокой 15-летней девочки с карими глазами и с фигурой, которая уже отличалась всеми видимыми признаками будущей женской красоты. Да, она была старше меня и даже выше меня, но я — модный мальчик, рижанин, подготовленный к «амурным» ситуациям моим «учителем» — дядей Юзефом (с которым вы, дорогие читатели, вскоре познакомитесь). И на девочку из «дальнего Подмосковья» моё взрослое поведение, как и рассказы о Риге, действовали абсолютно неотразимо!

Думаю, она тоже была в меня безумно влюблена, или, по крайней мере, — просто влюблена. Пытаюсь сейчас её представить, но вспоминаются лишь слегка раскосые глаза, светлый пушок на загорелой ножке и какое-то ситцевое платье, плотно облегающее стройную фигурку... Как мы стали встречаться и как я её в первый раз поцеловал — не помню. Но как взял за руку в тёмном зале сельского клуба, где показывали кино, — это как наяву... А вот мы оба лежим у реки, расстелив маленькое «казённое» полотенце, её рука в моей... Её плечо и бедро, и вся нагретая солнцем загорелая кожа, как и два сильно бьющихся сердца, остались в моей памяти навсегда.

...Не помню, что я натворил в тот понедельник, поэтому даже не придал значения маминому строгому запрету: «До конца недели, после восьми вечера, от дома — ни на шаг!» Всю трагедию этого жестокого наказания осознал я лишь к пятнице: мама не забыла сказанного! Увидев мои приготовления — белую накрахмаленную рубашку, тщательно причёсанные волосы и какое-то возбуждённое состояние — она всё моментально охладила: «К восьми быть дома!» Я остолбенел — ведь в восемь у меня свидание!

Забыл в начале сказать, что дело происходило в небольшом посёлке — там находился маленький Дом отдыха, куда мы приехали с мамой. Это где-то в двух часах езды от Москвы на поезде. Мама всегда находила для отдыха тихие и простые места. Отдых для неё — в чтении, волейболе, загаре и танцах по пятницам и субботам. Еда на отдыхе устраивала самая простая. А меня она таким образом «выздоровливала» от нехорошего влияния города и городских друзей. Вот поэтому папы с нами нет — он признавал привычный, спокойный отдых на цивилизованном Рижском взморье и, идя навстречу маме, коренной москвичке, предоставлял ей этот «русский отпуск».

Всеми мальчишками и девочками я, модный рижский мальчик, был там принят прямо как иностранец и быстро завоевал всеобщую любовь. Однако мой высокий авторитет в местных кругах не мог повлиять на строгость и требовательность моей мамы. Подсознательно я был уверен, что мама специально не пускает меня к той девочке. Уже были предупреждения, вернее, намёки: «Мне сказали, что ты с какой-то девочкой, старше тебя, ходишь на “дикий” берег реки», «Яша, имей голову на плечах и не дури ей голову — ты же ещё совсем мальчишка!» Или вот такое: «Могу я спокойно отдыхать без твоих сумасшествий?! Мне скандала не надо!» Но обычно мои мольбы всегда давали положительный результат. Неужели в этот раз мама действительно предостерегала назревающий скандал? Однако эти умные мысли пришли ко мне позже, а тогда...

Никакие просьбы, заверения — «Ну, пожалуйста!» — тогда не помогли. Уже восемь часов, и я знаю, что меня ждёт ОНА, и мне кажется, что мир вот-вот рухнет и завтра уже не наступит. Я в отчаянии валюсь на кровать, поворачиваюсь лицом к стене и плачу, тихо и горько...

Проснувшись ночью, не могу понять, сколько же сейчас времени. Луна светит сквозь развевающиеся занавески, тишина, и лишь где-то далеко играет аккордеон или гармошка.

Звук тонкий, прерывающийся, как будто каждая нотка повисает в ночной прохладной тишине. И голос! Я слышу рядом тихий-тихий голос, поющий легко и приятно, а иногда речитативом читающий простые, незамысловатые слова:

Снова замерло всё до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Только слышно — на улице где-то
Одинокая бродит гармонь...

Это... рядом, на соседней кровати, поёт мама! Я замер, почти не дышу — не вспугнуть бы момент! К моему счастью, гармонист сыграл эту песню, наверное, раз пять. И я, сжавшись, затаившись, как бы участвуя в чём-то секретном — даже не знаю в чём! — слушаю. А подушка всё ещё сырая от моих слёз — это я помню, прямо ощущаю сейчас...

Слушаю, и какая-то другая грусть проникает в сердце, что-то от маминого тихого пения и лёгких, понятных слов. До сих пор я не забыл ту песню, все её слова, а ещё то странное чувство, от которого все мои личные переживания стали в тот момент маленькими и ничёмными. Песня кончилась. Знала ли мама, что я не сплю, пела для меня или для нас обоих? Я почему-то уверен, что каким-то образом пела для меня, потому что часто, и иногда без слов, мама давала мне понять: «Яша, ты умнее и тоньше, чем твое поведение, я ведь тебя знаю...» Или пела для себя и о своём? Прошло столько лет... Не помню, ни как наступило утро, ни что было на отдыхе потом. Не помню ни имени девочки, ни названия санатория.

А вот занавески, луну, ощущение какого-то необъяснимого момента и эту мелодию, звучащую далеко-далеко, и тихий голос рядом я запомнил на всю жизнь. Как будто это было вчера...

Может, радость твоя недалёко,
Да не знает, её ли ты ждёшь...
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко,
Что ж ты девушкам спать не даёшь?

Андрей ВЫСОКОСОВ

/ Москва /



* * *

собирается за полночь вещей олег
что-то сделать не помню благое
а худой владислав молодой человек
шёл пешком за можай в бологое

а когда к нам пришёл интернет и инсульт
и гнилая слепая отрыжка
двадцать лет осаждал нас из всех катапульт
однобортный расхристанный тришка

под конец повернув к нам единственный борт
для прощального школьного залпа
мы поставлены к мебельной стенке ля морт
и не жалко не жалко не жалко

собирается снег собирается лоб
в небольшие продольные складки
небольшие медсёстры с окопа в окоп
как картофель мороженный сладкий

можно выпить за праздник войны и труда
золотого о'денатурата
это просто стихи лабуда ерунда
беззащитная речь адвоката

* * *

молчание минтая
отдельная палата
конечно не считая
лаверентия пилата

а лев иваныч яшин
архангел грустнолицый
не пропускает наших
в ворота аушвица

он бьёт мячом двуручным
по шеям неудачным
по садикам нескучным
по языкам табачным

ужели в два притопа
три прусских полководца
невелика европа
а отступить найдётся

на станцию засада
бубенчатой дороги
где насмерть я садилась
сама себе под ноги

в озимую цикуту
колючую морошку
а жалко почему-то
трёхмесячную кошку

снеговика слепили
и запустили в космос
смеясь и улыбаясь
курносого от оспы

* * *

прошла любовь остыли папиросы
и жизнь прошла и даже дождь прошёл
остались только детские вопросы
от огурцов отеческий рассол

кому такое небо голубое
откуда и куда идёт война
зачем всю жизнь кричали за стеною
и на хрена тогда нужна стена

какого чёрта бог меня не слышал
зачем стихи какой в них интерес
зачем дворовый кот издох под крышей
а мой ушёл через дорогу в лес

* * *

когда проживёшь свой прожиточный минимум
достань с антресолей свинью
в которой хранится построенный в линию
запас медяков на твою

не съест переправу свинья и не выдаст осенняя
во всём вертикаль головы
склонившейся в ночь со среды к воскресению
на чёрное море невы

не вам и не вас но тебе было вырыто накрепко
в отеческой глине очко
в такое же холодно здесь тебе ляжешь не аффрика
а там повернёшься бочком

так светит фонарь бытия под названием
ночного трамвая стопарь
мы пьём за искусство неприпоминания
коллоидно честную гарь

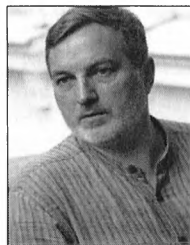
заткнись и гляди сквозь трудами накопленный
хрусталь в заскорузлых зрачках
как капает едкое чёрное топливо
из тверди в овнах и качках

ночные прогулки в конце мироздания
на страшном отшибе времён
там тоже чугунная площадь восстания
и страшный ночной стадион

а дальше до дна утонувшая засветло
вода бесконечной реки
район эстетически очень неразвитый
как боль от последней строки

Арсен МИРЗАЕВ

/ Санкт-Петербург /



В СУМЕРКАХ — О «СУМЕРКАХ»

(Журнал «Сумерки»: 30 лет спустя)

Сумерки — заря, полусвет: на востоке, до восхода солнца, а на западе, по закате; <вообще> полусвет, ни свет, ни тьма; время, от первого рассвета до восхода солнца, и от заката до ночи, до угаснутия последнего солнечного света.

В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка

Я продолжаю внутренне существовать в сумерках и в «Сумерках». Это позволяет мне иногда (очень редко) чувствовать себя почти счастливым человеком.

А. М.

«Сумерки» — одно из основных изданий питерского литературно-художественного самиздата, наряду с «Часами», «Обводным каналом» и «Митиным журналом».

Журнал «Сумерки» издавался в Ленинграде-Петербурге на протяжении без малого десяти лет, с 1988-го по 1995-й. Было выпущено 16 номеров. Первые четыре — классический самиздат: формат А 4, машинопись, переплет, вклеенные фотографии и рисунки (тираж 32–50 экз.). С 1989 года журнал стал выходить на ксероксе (110 экз.). И только номерам 11, 15 и 16 посчастливилось быть изданными в «нормальной» типографии (тиражами, соответственно, 5000, 800 и 500 экз.).

Помимо номеров, выходили и приложения:

— К 70-летию А. И. Солженицына (машинопись; 1988).

— Григорьев Дмитрий. Неторопливый гребец (стихи и рисунки автора; ксерокс; 1990).

— «Теория и практика игры в аду» (к 80-летию русского авангарда) (редакторы-составители А. Гурьянов и А. Мирзаев, художники Е. Иванова и А. Клопов; ксерокс; 1990).

Материал под названием «Несчастно как-то в Петербурге...», посвященный 50-летию Леонида Аронсона и помещенный в разделе «Не город Рим живет среди веков...» 4-го номера, был размножен ксерографическим способом и выпущен отдельным изданием (тираж 50 экз.).

О «Сумерках» писали довольно много, даже после того, как журнал прекратил свое существование. Статьи о журнале и перепечатки материалов из него появлялись не только в питерских СМИ («Смене», «Петербургском литераторе», «Литераторе», «Часе ПИК», «Новой газете», «Невском времени», «Вечернем Петербурге» и др.), но и в «Литературной газете», «Знамени», «Новом мире», московском альманахе «Индекс», свердловском «Лабиринте-Экспцентре», саратовской «Волге», рижской «Балтийской газете», парижской «Русской мысли», нью-йоркском «Черновике», франкфуртских «Гранях», российско-американском «Русском тексте» (Лоуренс — Санкт-Петербург — Дэрэм) и прочих изданиях.

Но мало кому известно о «предсумеречном» периоде, о том, что предшествовало выходу журнала, с чего все начиналось....

В 1984 году Дмитрием Синочкиным был выпущен самиздатский сборник «Трилистник» (тираж 12 экз.), включавший стихотворения Алексея Гурьянова, Александра Новаковского и Игоря Савво.

А спустя четыре года вышел в свет первый номер журнала, открывающийся стихами этих поэтов. А. Гурьянов, А. Новаковский и Д. Синочкин и стали теми самыми «тремя китами» — редакторами «Сумерек» (с 1989 г. в подготовке, редактуре и издании принимал участие и автор этих строк).

Вспоминая о тех достославных временах, мы решили поместить несколько стихотворений из 1-го номера: Гурьянова, Новаковского и Савво (1957–2006; Саввушки, как звали его друзья, одного из основных «сумеречных» поэтов), а также предисловие (своего рода «манифест поколения тридцатилетних»), открывающее этот номер, опубликованный 30 лет тому назад.

МОЖЕТ, БЫТЬ?

Серебряков:

— Надо, господа, дело делать!

А. Чехов

Растут тиражи периодики и очереди у киосков «Союзпечати». У пивточек все чаще бывает пусто: ни пива, ни клиентуры. Такая вот рокировка.

Зачем и кому нужен еще один журнал?

Нам самим — прежде всего.

Все напористее сорокалетние литераторы, подпираемые шустрым молодняком. Что остается тридцатилетним? Не всем дано благое умение наживать трудовые мозоли на локтях, складывать рецензии и отзывы в папочку, постигать законы игры, принятые в редакциях и издательствах.

А может быть, то, что мы собираемся предложить читателю, в иной (немашинописной) форме и не может существовать?

Трудно судить. Это вопрос больной и требует отдельного разговора.

Принцип свободы слова: значит ли это, что каждый гражданин страны может высказаться, или же — что он имеет право быть услышанным?

Не одно и то же.

Многие люди — разного возраста — считают именно свое поколение «потерянным». Мы не исключение.

Тридцатилетние. Поколение одиночек.

Застой — это отсутствие движения в плоскости (вперед-назад, вправо-влево). По вертикали (вглубь) продолжалось и продолжается.

Время развodiло нас по углам, кочегаркам, религиям. Но оно же заставляло погружаться в себя, вычерпывать ил иллюзий.

Мы хотим быть услышанными.

Но кричать не умеем.

Разница между поколениями определяется еще и этим: способ ухода.

Может, и этот журнал — тоже один из способов?

Может быть.

Жаловаться трудно. Если жизнь чем и была богата, так это вариантами ухода от нее. Можешь подметать или топить, а трое суток через одни — изучать философию; можешь петь мантры или пить водку... Первый виток — уход от чего-то. Не суть важно, что ты делаешь, важно — чего не делаешь.

Но возраст, возраст. Да и момент критический. Вдруг совпало внутреннее состояние с тем, что вокруг (не во всем, но в общем, в главном...)

Если не получится быть услышанным сейчас — может быть, никогда. Горят не только рукописи, перегорают люди. Второй, третий виток... Уход в дом, конформизм, дзен... Как-то состояться. Через пассивный протест это ни у кого из нас, кажется, не получается. Фига в кармане право на душевный комфорт не дает.

Есть в машинописных листах некий привкус подпольности.

Вот его очень хотелось бы избежать.

Не потому, что страшно.

Хотя — страх из числа важных составляющих, грешно умолчать. Боялись долго, собственно, выросли на этом. «А не посадят?» — естественный фразеологический автоматизм, реакция на все новое, не предикативная единица, а так, для связи слов.

И юридически — полная неясность.

Самиздат — это сколько экземпляров? А лет?

За Солженицына — наверняка, а вот за Галича, Бродского, Замятина? Кто — уже отщепенец, кто — еще нет?

Впрочем, и сейчас многое неясно. Поставим эксперимент на себе.

И еще: страх этот, пожалуй, никогда не был конкретным, прямым. Он прятался в мотивах странных поступков, в навязчивых мыслях, в иронии; разряжался фольклором (заземление через анекдот).

Может, и это издание — своеобразная форма разрядки?

Вопросов куда больше, чем ответов. В полном соответствии с названием. Причины неясны, побудительные мотивы туманны, с целыми и задачами не лучше.

Дальняя цель (очень дальняя) — в меру наших сил способствовать, говоря высоким слогом передовиц, демократизации культуры. Конкретно — созданию и развитию сети частных типографий и кооперативных издательств.

«Самые читающие в мире» — что ж мы так не верим читателю? Боимся дать ему право определять, что хорошо, а что плохо? И голосовать — не мандатом, а карманом.

Но это все нескоро, если вообще.

А может — невысказанное желание раздвинуть рамки внутренней свободы? Сама по себе эта замечательная вещь эстетической ценностью, правда, не обладает. Но зато является обязательным условием.

Ближняя цель: попытка показать (кому только?), что печать, неподконтрольная Горлиту и СП, может отличаться от официальной не отбором тематики (лагеря, психушки и т. п.), не сенсационностью, не авангардным эпатажем, но уровнем прежде всего.

Это, конечно, нахальство.

Потому что уровень нашей сегодняшней «официальной» печати можно измерять по С. Куняеву и Г. Маркову, а можно — по Булгакову и Платонову.

Впрочем, что ж опасаться соседства — Куняев ведь не опасается...

Предполагаемая программа журнала «Сумерки» в целом консервативна, а вкусы редколлегии, в общем, традиционные.

Кроме стихов и прозы довольно узкого (хочется верить, что временно) круга авторов, близких по духу и лично, будут помещаться критические статьи, театральные обзоры. В планах редакции — разговор о современной живописи, об экологии и архитектуре.

В разделе публикаций проблем с материалом пока нет — слишком много накопилось ненапечатанного, даже в «толстых» журналах места на все не хватит. При этом мы рассчитываем соблюдать основной критерий: публиковать — те вещи из архива, на которых выросли и сформировались такими, как есть.

И еще раз хочется подчеркнуть: термин «тридцатилетние» относится лишь к инициативной группе, к редколлегии, а вовсе не к составу авторов.

Общую же консервативность направления, о которой сказано выше, следует понимать в добром старом смысле — как терпимость ко всему новому плюс оценка этого нового с точки зрения вечности. Страницы журнала будут открыты и для авангарда, — мы оставляем за собой право на отбор и редакционный комментарий.

Один из главных моментов, от которого во многом зависит дальнейшая судьба издания, — «обратная связь».

Редакция очень рассчитывает на контакт с читателем, а также на приток свежих художественных, публицистических, философских материалов.

Мы предполагаем также выпускать сборники авторов, публикуемых в нашем журнале, в виде приложений (в том случае, если это заинтересует читателя).

<1987>

*Дмитрий Синочкин, Алексей Гурьянов,
Александр Новаковский, Игорь Савво*

Алексей ГУРЬЯНОВ

МАРТ

Снег у «Казани», посыпанный пеплом,
Малой Конюшенной в запахе хлебном,
Руки засунув в пустые карманы,
Ёжась под солнцем, кривым и обманном,
Я прохожу и ключи подбираю
К звукам, летящим сырыми дворами.

1979

ИРОНИЧЕСКИЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

1

Суть в том, чтоб думать о другом —
Об урожаях, о погодах.
Включённому в людскую гонку
Отрадней думать о другом.

2

Мурлычет камень под ногой
Напев старинный и прогорклый:
Среди времен пустых и громких
Приличней думать о другом.

3

Гордится заревом огонь,
Гордятся звонкой медью горны,
Гордится окриком погонщик,
А ты подумай о другом...

1981

* * *

Простим друг другу боль и ложь,
Замашки барские,
Поедем в Царское Село,
Поедем в Царское!

Морочат сабля и седло
Коня гусарского,
Поедем в Царское Село,
Поедем в Царское!

Омочим кровью иль вином
Мечи татарские —
Мы наплевали на конвой —
Поедем в Царское!

Стреляют злобно стороной
Глаза скобарские.
Иди домой, закрой окно,
Поедем в Царское!

1980

* * *

Ребенок под крылом у птицы,
А птица под крылом у неба,
А небо под крылом у Бога.
Так не прерваться нити этой,

И Бог сторукий, воплощенный
В жука с блестящими глазами,
Ползет по рукаву цветному
Той, у которой сын под сердцем.

1979

Александр НОВАКОВСКИЙ

* * *

Немного лжи — займы у вдохновенья,
Терпение пустого кошелька,
Свеченье снега, старое уменье
Словами жить. Беда невелика

Три слова разменять на пять снежинок,
Дрожащих на твоём воротнике...
И, уходя, стоять на сквозняке,
Справляя одиночество поминок
По сиротливо тающей строке.

1983

МОЙ ТЕАТР (три отрывка)

I

И по утрам не вычертить сюжета,
Не обозначить контурами путь
Героя и не дать ему ответа,
Как в этой жизни шеи не свернуть.

По вечерам — усталые приметы
Больного дня, намерений благих,
Трамваев полустертые монеты,
Звенящие в ладонях городских,

Развозят ночь. Прорехи переулков
В ослепшие теряются дворы,
Когда герой выходит на прогулку
И царствует до утренней поры.

1983

II. Песенка бродяги

Звезды смахнет рассвет
Над городской стеной,
Стану я сир и сед,
Ты не иди за мной

И не смотри вослед:
Не поделюсь виной,
А на исходе лет
Страшно гореть одной.

Неба стоглазый кот
Прыгнул на твой карниз,
Может быть, мой уход —
Царский его каприз.

Это апрель ничей,
Мне он давно сродни,
Оземь — замки ночей,
И нараспашку — дни.

Только в твоём доме
Неба стоглазый кот
Ночь бережет тому,
Кто без меня придет.

1981

III

Я жить хотел и только четверть такта
Не додержал на лестнице шальной,
Не доиграв до занавеса акта,
Апрель рассыпал ролью проходной.

На запятой — забытая забота
Последней строчке голос оборвать...
И браво многоточию! Охота
Отраву дней в слова перевирать.

Нам вены веток пенятся листвою,
Лиловый голубь ворошит траву
И ворожит, кивая головою,
И день дрожит и падает в Неву,

Как будто пересыпан нафталином,
С утра он бредит пухом тополиным.

1983

* * *

На обороте летней ночи,
Там, где оставлена строка
Для недомолвок, многоточий,
И тень минувшего легка,

Где время, разжимая пальцы,
Бессильно выпускает кнут,
Мы не рабы, не постояльцы
Судьбой отмеренных минут.

Быстрее годы, дни короче,
И крепче царство дурака...
На обороте летней ночи
Для нас оставлена строка.

1986

Игорь САВВО

* * *

Собеседник деревьев, чернец проходного двора,
Приучилась ли дудка свистеть в городских переулках?
Монастырскою медью в твоих одиноких проулках,
Передёрнутой картой закончится эта игра.

Из прожилок, и трещин, и скатов с желтеющей цвелью,
Из дощатых настилов и красных аллей в октябре, —
Вырастает твой город нетвёрдой пастушьей свирелью
Улетающих птиц собирать на осенней заре.

На вселенском подворье немного окажется места. —
Недостаточно петь, чтобы жить, — или жить, чтобы петь? —
Проходные дворы, переулки, прожилки, и вместо
Запредельных степей — монастырская гулкая медь.

* * *

Люблю, что прожито. Что раз и навсегда
Окончилось — и в памяти осталось
Как сладкая истома, как усталость,
Как то, что не случится никогда.

Блаженство полусна-полуигры,
Сюда, под эти царственные кровли,
Где тёмною, медлительною кровью
Чужих эпох наполнены дворы,

Сюда, сюда, в предутренний покой —
Где волшебство в соломенной корзине
И подворотню тёмную разинет
Старинный дом над серую рекой, —

Когда-то это было наяву, —
Я позабыл. Что в самом деле было,
Что выдумка — всё сгладилось, остыло,
И имени уже не назову.

И то пройдёт, и это всё пройдёт,
Окончится — и новое начнётся,
Быть может, так: фонарь легко качнётся,
И красный лист на землю упадёт.

* * *

Жить бы, как и жил — без новоселий,
В серо-жёлтом зиму зимовать...
Как-то мы не вовремя присели
На чужом похмелье пировать. —

Это наша юность, наше детство
По подъездам мелочью бренчит,
Это ленинградские подъезды
С застарелым запахом мочи.

Это не отпустит, не оставит,
Не отдаст и лучшим временам, —
Разномастной мебелью обставит,
Карточки развесит по стенам.

Это кровь коломенской закваски
Коммунальным временем шумит, —
Как «Виноторговля братьев Шмидтъ» —
Всё-таки жива под слоем краски.

* * *

Диабаз, Гороховая, грохот
Хоть сейчас прислушайся: живёт... —

Маленькая пыльная эпоха
Каждый день по имени зовёт.

Запинаясь на «и иже с ними»,
Мелочью разбивки речевой
Каждый день своё уносит имя
Сохранить — Бог знает, для чего.

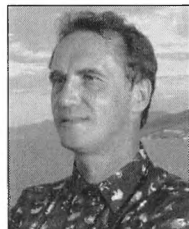
Диабаз, Гороховая, грохот,
Ритм сердечный, тянущий на собой, —
По камням рассыпанным горохом,
Кое-как случившейся судьбой.

Своего — ни дома и ни хлеба,
Ничего, что стоило б беречь, —
Праздником и шумом похвalebным
Скрадывает косвенную речь.

И, собрав по камешкам, по крохам, —
Может, хоть немного повезёт? —
Диабаз, Гороховая, грохот,
Что ещё? Пожалуй, что и всё...

Сергей СЛЕПУХИН

/ Екатеринбург /



«ТВОЙ ТИХИЙ СОН ПОЦЕЛОВАВ...» (тема материнства в лирике Майи Шварцман)

Пафос материнства пронизывает не только стихи Майи Шварцман, но и жизнь. Она чувствует себя матерью всех вещей, всех живых существ: сына, дочери, детской игрушки, Онегина и Моцарта, смычка и скрипки. Издревле мать была для людей символом жизни, святости, вечности и тепла, обладательницей жертвенной любви, чистоты, нежности, кротости, нравственной стойкости.

Когда-то, больше ста лет назад, Вадим Шершеневич назвал «первой поэтессой-матерью» Елену Гуро. Футуристка создала миф о якобы умершем сыне, которого называла Вильгельм Нотенберг. Гуро помещала его портреты в своих книгах, посвящала стихи. В реальность юноши верили даже близкие знакомые. Озябшая душа поэта искала крова и рада была приютиться среди вымечтанного и иллюзорного, среди чужих и посторонних.

Многие слагательницы русских стихов отдали страшную дань теме трагического женского предназначения, пережив горестную любовь и материнство, безумие, нищету, смерть мужа и детей. Среди этих имен — Марина Цветаева, Анна Ахматова, Ольга Бергольц и Мария Шкапская, придумавшая потрясающее определение этим стихам — «женская Голгофа».

«Мать — самое трогательное из всего, что есть на земле. Мать — это значит: прощать и приносить себя в жертву», — писал Ремарк. Но всякая ли женщина имеет право называться матерью? Родить может и кошка, а воспитывать — не значит выкармливать и вынянчивать. Сколько их, «матрешек», в нашей «коммуналке», «пыжаты за стеклом, рдея улыбкой, блестя кумачовым лаком, чванясь дородством», живущих «друг у друга на голове — поколениями, без сердца, без пуповины»!

«Один день Дениса Ивановича» в российской постылой жизни давно стал не «одним днем», а — всяким, каждым, порознь взятым, не случаем — а серыми, одноликими, нудными буднями. Начинается день, выползает «в номерном безымянном посёлке» из своего хлева бывший шахтер *Шахов Д. И.*, «пинает трактор», ломает деревянную головушку: «стоит ли ехать ему в Дубки требовать денег в конторе с начала года». Его жизнь бессмысленна: «Танька по пьяни вон родила урода, глухонемого Мишку»...

А бывает так:

Всё тешится, а няньки сбились с ног,
проходим объясняя: «Он резвится!
он не всерьёз, он просто стригунок,
вкус жизни познающий по крупичам».
Дитя бросает камни далеко,
используя младенческую лямку
взамен пращи. «Он целил в молоко!» —
подбитым растолковывают мамки.

Любовь матери... Нет ничего благороднее и великодушнее, но, вместе с тем, нет ничего ответственнее! Мать вводит ребёнка в мир, в котором ему предстоит из «зеленеющей стрелки» превратиться в стройное, полное достоинства растение, помогает увидеть жизнь не только «снаружи», но и «изнутри», постичь суть явлений. Она не просто направляет дитя на поступки, но учит их оценке.

Воспитывать, значит, дать направление сердцу и уму ребенка. В стихах Майи Шварцман рефреном звучит обращение к ее детям — «Дочке Саше», «Наставления Александре», «Моему сыну».

Дорожи отчуждением короткого я. Не беда,
что надменно звучит в одиночестве величавом.
На другом конце легионом стоят они.
Опасайся их. Особенно их довеска
в виде однокоренной разнополой родни,
что в конце концов и приносит тебе повестку.

Это они «полагают», «советуют», «говорят»,
«предлагают вступить», а позже, с приходом тьмы
подрастают тенями, цепей удлиняют ряд,
мимикрируя, в дверь стучатся: «А вот и мы...»

«Я — длиннее жизни», — учит мать. Она дает крохе первые представления о справедливости и несправедливости, добре и зле, закладывает начальные представления о морали и нравственности. Только от нее зависит, станет ли жизнь птенца счастливой, или же будет исковеркана.

Между матерью и ребенком протянуты тайные невидимые нити. Это высокие чувства, магические и сакральные. Ясновиденье матери никому не дается.

Ее любовь не благоволение, доброжелательство, минутная слабость, симпатия, увлечение, вожделение, страстишка, шуры-муры!.. Нет! В сравнение с материнской любовью влечение к мужчине, страсть и привязанность, или слабы, или своекорыстны.

Мать склоняется над детской колыбелью, и песнь ее полна умиления: *«Сколько ещё лорелей, ипполит, беатриче дремлют в тебе, в пеленах неоткрытых долин и лабиринтах непознанных сходств и отличий, сколько веков не раскаявшихся магдалин?»*

Но песни ее пропитаны и тревогой! Мать учит дитя чувствовать боль — свою и чужую, вразумляет, как избежать лжи и фальши, как обрести раннюю мудрость. Из внутреннего единства матери и ребёнка у женщины собственно и возникают материнские чувства, главнейшее из которых — забота о родной «кровинушке».

Сердце матери всегда чувствует приближение грозы, час, когда *«флейты заклинивший клапан» «глотает ожидаемый звук», ветер «шарит в партитуре», «уповая, что сыщется гром», а «духота, будто войлочный шарик, застревает в гортани комком»*. В небе тогда загораются Валтасаровы письма, и *«стоит вчитаться, пока горит!»* Так начинается очередная *«перепись населения»*, неизменно переходящая в *«избиение младенцев»*.

В безмолвии вырази муки свои:
пространство картины мазками заштопывай,
сказанье об ироде перекрой
и перепиши его кистью эзоповой.
Приметы и знаки укрой по углам,
упрячь их в детали, на взгляд неказистые.
Ведь всё, что случается, это не «там»,
не «где-то», а с нами, а с нами воистину.

«И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Именно так — и было это зимой, в декабре, когда на дворе стоял собачий холод, всё обледенело, дул резкий ветер».

Ее, Майю, скрипачку из Гента, окружают снега Вифлеема, ангельское пение мерцает в звездной ночи. Как праматерь Мария, стоит она среди ангелов и диких зверей.

Это деревня во Фландрии или в Иудее. Крыши трещат под тяжестью снега, слепит белизна полей, кажется, зима не кончится никогда. Люди и телеги, крепостная стена, развалины башни. Пунцо-

вое солнце опускается за линию горизонта, мелькает сквозь голые черные ветви, что кажутся мертвыми. Большой и крепкий деревянный крест, часть оконного переплета.

На кровлях, телегах, на выступах стен,
на вретищах нищих, на шляпе у щеголя
во Фландрии снег — и покрыт Вифлеем
побелкой мороза у Питера Брейгеля.

Беженцы на дороге, дует пронизывающий ветер. На заснеженной площади Вифлеема Иосиф и Мария, никто не обращает на них внимания.

Мальши катаются на санках и запускают волчки. Большая птица опустилась на застрявшую в замерзшей воде бочку, присыпанную снегом. Мальчик на берегу застывшего ручья привязывает коньки. Женщина едва удерживает равновесие на льду. Охотники вместе с собакой возвращаются домой, женщина расчищает метлой дорожку в снегу, дети катаются на ледяной горке. Колесо мира медленно поворачивается. Телега сломалась, попав в рытвину, ее отлетевшее колесо остановилось точно в центре картины мира.

Свищет флейтист, в ожидании новых распятий вращаются крестовины фламандских мельниц.

Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, гневается. Он посылает всадников в красных кафтанах *«избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведет от волхвов»*.

Уже заняты все улицы. Ударами сапог, колами, алебардами солдаты ломают двери и глинобитные стены. Топорами разбивают ставни и, подставляя бочки, залезают на подоконники, а оттуда прыгают вниз...

«Жертва вечерняя», «живые мишени»... «Год тридцать седьмой, метро, пятилетка, победы, свершения»... «Рука на журнал для удобства листок кладёт и в реестр добавляет фамилии».

Только стоит ли сокрушаться о тех, кто не.
Им сказали: Христос воскрес, ну а вы чем хуже.

Ирод спокоен: «бабы других нарожают». И вновь сбывается некогда реченное чрез пророка Иеремию: *«Глас в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет»*...

«Тире одной жизни» — так назывался очерк, опубликованный Шварцман несколько лет назад, рассказ о талантливом пятнадцатилетнем музыканте Коле Алтынове, принявшем мученическую смерть. Майя писала: «Мир лишился гения. Мама лишилась единственного сына. Этого не постичь не пережившему. Можно ужасаться и сочув-

ствовать, исходить слезами, писать книги и воспевать, — но сжиться с этим нельзя. Смерть твоего ребенка — тупик твоей жизни, конец природы...» С этого момента поэт еще не раз обратится к теме «неизбежного жребия причастности» безысходному материнскому горю.

Как пережить смерть самого родного?

Неожиданность... Крик, возбуждение или, наоборот, оцепенение. Всё машинально — действуешь, как автомат. Застывшее выражение лица, невыразительная и запаздывающая речь, чувства исчезли. «Оцепенев, в ушко иголки вдеться».

Научись у кольца полыньи,
обводящего заводь молчанья,
замыкаться в себе...

Пытаясь смягчить ужасный удар, иллюзорно проживаешь желаемый, но несбывшийся вариант развития событий, ищешь потянутое в толпе прохожих.

не сдамся на голосовой подлог,
когда зальётся соловей в черешнях,
затягивая в сеть своих морок.
Ведь это веселится пересмешник.

Вновь прокручиваешь в памяти предшествовавшие события, си- лишься постичь их. Что случилось? Почему Бог позволил ему умереть? «Бог допускает всё. Особенно безбожье». «Просил у Бога любви и мощи, — он выжег стигму тоски и горя».

Обида и гнев. «Суд», негодование, озлобленность, зависть, желание отомстить. Беспомощность...

Если повернуть время вспять, всё бы исправила, всё было бы по-другому! Ах, если бы Он дал шанс!

Это моя вина! Обижала, раздражалась, была невнимательна.

Хочется в любой момент заплакать. Все безнадежно! Подавленность и апатия. Несмирение.

Но однажды приходит признание утраты.

И ты отходишь, цепенея, в отчаянье глухонемом,
держа в себе свои помпеи, в подвздошьё ощущая ком.

Это случится неожиданно — осознанием особого знака, заключенного в твоём имени — Schwarze Mann. «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек»...

Чёрного ночью не различить.
Ноты подобием крапинок оспенных
видятся. К ним подбирает ключи
чёрный мой однофамилец и родственник.

«Вечером его навестил некто, одетый во все черное, заказал Реквием — заупокойную мессу. Незнакомец оставил хороший зада-ток, срока выполнения заказа не назвал, имени не сообщил». Вспомнилось вдруг и пришло решение: *«Наплакать море. На гребнях соли построить город. Родится Моцарт»*.

Девять частей поэтического цикла «Реквием» — от «Introitus» до «Lux aeterna» — *«чёрные ноты на чёрном листе»*.

«Вечного покоя подай Ты им, Господи! Да тихий светит свет им с миром!» Глубокая печаль, сопрано соло интонирует мелодию старинного хора.

«Господи, помилуй» — стремительная, захватывающая своим потоком двойная fuga.

Гнутой отмычкой басовый встаёт
к нижней строке, и на ней открывается
хор De Profundis — из тёмных широт,
где обретаются души-скиталицы.

«Tuba mirum» — «Вострубит труба». Не хоровые мольбы, обращены к суровому карающему Богу — просветленное грустное сопрано, обреченное на монолог: *«скажешь привычное буря мглою, но не закончит никто строку»*.

Вступает «Царь дрожащего творенья», и — вызревает гнев матери, в одно мгновенье осознавшей «мастер-класс» господнего изощренного издевательства: *«фору давал сперва», «играл в ножички»*, позволил построить дом, вырастить дерево, родить сына, а потом — вжик! одним росчерком лезвия — отнял, оборвал, обрезал, вырыл под ногами могилу.

«Суд изрекши посрамленным» — величавое скорбное соло, мрачный возглас, боязливый трепет человеческой души. *«В мирозданье полом — мы сон его, мы сонмы пузырьков, скользящих в суете по альвеолам его не занимающих тревог»*.

Восхитительная «Lacrimosa», вся пронизанная интонацией горестного вздоха, это лирический центр Реквиема. Умиротворение, задушевность, проникновенная мелодия чарующей красоты.

Маятника замерли качели.
Что для отпущения души,
отходящей в вечное кочевье,
времени осталось совершить?
Распустить свивальника сиянье,
окропить остывшим молоком,
убаюкать в неземной саванне,
подтыкая саван облаков.

«Агнец Божий приявший все грехи мира». Из самой глубины души, из-под высокого сопрано выходит наружу голос возражения в

споре с судьбой и богом — насыщенное, полнозвучное, тяжеловесное меццо-сопрано. *«Гремит безжалостная медь: не ты, но первенец, но ангел был призван первым умереть».*

«Тихий свет да светит им вечно, Господи! Да светит купно со святыми, ибо благ сей». Звучит ли в «Lux aeterna» торжественный гимн, возвещающий победу света? Нет, не так заканчивает поэт-композитор свой «Вечный упокой». Эта последняя часть «Реквиема» особенно напевна, она льется спокойно и отрешенно, будто голос ангела или едва слышимый шепот матери. Спокойная, постепенно стихающая колыбельная.

Когда-нибудь с зубца в механике небесной
сорвёшься ты, взлетя раскрученной пращой,
со свистом, промерцав, опишешь круг над бездной
и выронишь дитя падучею звездой.

Поэтический цикл «Реквием» — удивительная удача автора, вершина «материнской» лирики Шварцман. В нем нет страха смерти — наоборот, царит настроение просветленности, добра и любви. Стихи написаны ярко, страстно, динамически интонационно и пленяют мелодией — скромной, мягкой, гибкой. Лирика Майи Шварцман необычайно светла и согрета трогательным проникновенным чувством. Это глубокие стихи о смысле человеческой жизни, о смерти и вечном покое.



Елена КОПЫТОВА

/ Рига /

ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ

...и неважно, где он и как зовётся —
 городок с часоventкой под ребром.
 Ночью время черпаешь из колодца,
 до утра гремишь жестяным ведром.

И душа наполняется зыбкой грустью.
 Всё застыло будто бы на века
 в закоулках этого захоlustья.
 На цепи по-волчьи скулит тоска.

...колосится утро над бездорожьем.
 На лугах — ершистая трын-трава.
 Вот бы враз оторваться, сдирая кожу! —
 Отболев, отникнуть, но — черта с два! —
 Как ни бейся — хлёткая пуповина
 неизменно тянет тебя назад.

...у хозяйки — брага (к сороковинам).
 На столе — портрет (утонувший брат).
 На цветастом блюдце — свечной огарок.
 Кислый квас — во фляге. В печи — блины.
 На плакате выцветшем — Че Гевара,
 и ковёр с оленями — в полстены.

Даже то, к чему ты едва причастен,
 прикипает к памяти навсегда.
 В сенокос — царапины на запястьях,
 да жара без продыху — ерунда.
 От того, что было сплошной рутинной —
 горячо и больно, по телу — дрожь...

Тишина колышется паутиной —
даже выдохнуть страшно,
а вдруг порвёшь?

АЛЁШЕ НЕ СНЯТСЯ...

Всё — сам! — Он никак не согласен на меньшее.
Мальчишка — в тельняшке, но... спит, как сурок.
Алёше не снятся дороги Смоленщины...
(не видел он толком российских дорог).
Над верхней губой — чуть заметная родинка.
Он — сам по себе, не задолблена роль.
Он знает, «с чего начинается Родина» —
с таможи, со слов: «Пограничный контроль!»

...а плюшевый мишка две бусины вылупил
и смотрит насквозь, от бессонниц устав...
пока по «нейтралке» — из Себежа — в Зилупе
со свистом летит жёлто-синий состав...

За далями — дали вослед... и — так далее...
Смолистый рассвет заливает леса.
И вздрогнешь, увидев — колодцы Латгалии
сухими глазами глядят в небеса.
...и с полок слетают крылатые простыни.
...небритый сосед говорит: «Вуаля!»
...саднящий динамик фонит девяностыми —
«Зачем нам, поручик, чужая земля?»

Так странно — «просёлки, что дедами пройдены» —
другая судьба, незнакомая жизнь.
...и поезд опять прибывает на... Родину.
А здесь, как везде —
ни своих, ни чужих.

КУКУШКА

...а кукушка молчит и не будит Лихо,
ведь куда спокойней в сухом гнезде,
если осень пишет неразбериху
проливными вилами на воде.

Тракт распух. До города не доехать.
Кровоточит небо семь дней подряд.
— Не хандри! У нас новый доктор — Чехов.
Может, слышал? Правильный, говорят.

Небеса зашить журавлиной нитью
для него — привычные пустяки.

Нас несёт нелёгкая с ярой прытью
по раскисшим хлябям глухой тоски... —
это осень. И хорошо, что грустно.
Пусть болит похмельная голова!
Дом пропах антоновкой и капустой.
Гусь пока жирует (до Рождества).

Разговоры длинные всё насущней. —
«Новый барин — старому не чета»...
(Старый барин всегда почему-то лучше).

До зимы осталась одна верста,
да и та утоплена в тучах хмурых...
Перетерпим. Будет опять весна.
А кукушка молчит, потому что — дура,
раз не верит в лучшие времена.

КРЕПКИЙ ОРЕХ

...только мама и ты. И весна на дворе.
Воздух детства, звенящий, как спелый арбуз.
Слово «Родина» — крепкое, точно орех —
не распробуешь с первого раза на вкус.

...середина пути. И дождём осаждён
серый город, дрейфующий в талой воде.
Так бывает: годишься не там, где рождён...
а бывает... и вовсе не годен нигде.

...и трясёшься в вагоне — судьбе ли назло? —
Вот и дерево кроной глядит на восток. —
Так подбитая птица встаёт на крыло,
безнадёжно ловя восходящий поток.

...а тебе говорят: «Так ведь это — твой дом!» —
ножевые слова — как удары серпа.
Слово — крепкий орех, да вот только потом...
от него остаётся одна скорлупа.

...и царапаешь душу в густой трин-траве.
Но с тобой пуповиной земли сплетены —
вместо матери — крест, вместо Родины — две
совершенно чужих бесприютных страны...

ГОРОД ТЫ МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ

Чётное и нечётное — улицы арифметика.

— Не говори мне лишнего, ведь всё равно — не то! —
В красном трамвае с рожками — шумные безбилетники.
В зыбком морозном мареве — клетчатые пальто...

— Как не поверить в лучшее, если в кармане — семечки,
Город мой, отпечатанный в памяти навсегда —
старой ушанкой кроличьей, булочкой трёхкопеечной,
струнными переборами, искрами в проводах...

«Винный», «Пивной», «Закусочный», в меру обезображенный
пряным закатным соусом; кухонный шут и враль...

— Город ты мой единственный, памятью приукрашенный,
был ты таким «безбашенным» —
выл в голове февраль...

Хватит. Откуролесили. Впору бы образумиться...

Время упругим яблоком катится в никуда.

...но, за подкладкой Города, в тесном кармане улицы
прчется сумасбродная — только моя — звезда.

...Капли летят за шиворот. Ветром лицо исколото.

Жёлтый фонарь качается. Мокрая тень дрожит...

— Город ты мой единственный,

ну, извини — какого ты

лешего бестолкового — стал мне таким чужим?

Что остаётся? — Вымокшей тенью бродить по улицам,

жадно курить и сплёвывать в чёрные пасти луж.

Город ты мой простуженный, что же ты так нахмурился?

Сколько в тебе утоплено эдаких «мёртвых» душ?



Ольга КВАРТА

/ Рига /

ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ТЕТРАДИ

* * *

Мне дела нет, что тяжкий это труд —
Писать стихи и быть с душой в согласье,
Мне дела нет, чем это назовут
Когда-нибудь — удачей иль несчастьем.

И что строка рождается в поту —
Мне дела нет. Я этого не знаю.
Как яблоки срываются в саду
Осенним днём, — так я стихи слагаю.

Как яблоки срываются в саду,
Верша обряд печально и любовно,
Мне дела нет — в раю или аду.
Додумывайте, если вам угодно.

Покуда этот сад и чист, и мил,
Мне любо жить, не мудрствуя лукаво.
Мне дела нет, что не достанет сил.
Спасибо, что дыхания хватало.

* * *

Виноградные гроздья, в застолье вино молодое,
И лозы виноватый и очень знакомый изгиб,
Лёгкий этот туман, что плывёт и плывёт надо мною,
Незакрытой калитки протяжный и жалобный всхлип.

Я не знаю ещё, что мне вспомнится, что отзовется,
Что очнётся во мне набело и без лишнего прикрас.
Почему-то твержу я одно: «Если только придётся,
Если только придётся вернуться сюда мне хоть раз».

* * *

Я, видимо, живу счастливой —
Ко мне благоволит Всевышний:
В Кахетии цветенье сливы,
В Кахетии цветенье вишни.

А я забыла знать об этом
Во влажной мгле земли нездешней,
Что алыча покрылась цветом
И стала розоветь черешня.

О, всё люблю и всё приемлю
В краю, до камня мне знакомом,
Но кахетинское селенье
Я покидаю ради дома...

И будет шум реки бурливой
Всё отдалённой, всё неслышной.
В Кахетии цветенье сливы,
В Кахетии цветенье вишни.

* * *

Я по-грузински плохо понимаю
И спрашиваю у своей родни:
— О чём поёт грузинка молодая?
И горцы отвечают: «О любви».

Всё о любви, хотя о ней — ни слова,
А лишь о красоте родной земли.
О чём теперь вторая песня? Снова
Мне горцы отвечают: «О любви».

О эти песни Грузии печальной,
Пускай мне и неведомы они,
Но для меня уже не будет тайной,
Что в них всегда поётся о любви.

* * *

Очиоури
«Пури, кмели да хвино»
(хлеба, сыра и вина)
Очиоури.
С детства мне мечталось,
Что в этом звуке тайна заключалась.
О, как чарует чудный запах пури.
Очиоури.

Очиоури.
Как напев горянки.
Тамары чёткий профиль на чеканке.
Надолго нас дороги разминули.
Очиоури.

Очиоури,
Словно голос флейты:
«О, генацвале, о любимый, где ты?»
Как серна, что покуда не спугнули.
Очиоури...

Очиоури.
Вот и повстречалась.
О, здесь всё так, как с детства мне мечталось:
Вино, и хлеб, и сыр, и звук пандури.
Очиоури.

* * *

— Олико, — говорил ты. И вторила я: «Олико...»
Говорил ты: «Движенья такие я видел у лани».
Я смеялась тогда, и летел быстрокрылый Мерани,
Нас крылом задевая, и так нам дышалось легко.

И движенья мои ты забыл, и лицо. Бог с тобой!
Наша встреча давно заросла, затянулась корою.
Олико... Только имя клубится ещё надо мной,
Словно ранний туман над ещё полусонной Курою.

ПОЗДНИЕ СТИХИ

Запах магнолий и роз
Всё приглушённой к рассвету.
Так это поздно сбылось,
Даже и радости нету.

Дом твой, где жить мне пришлось,
Строгая важность паркета.
Так это поздно сбылось,
Даже и гордости нету.

Не, ничего, обошлось,
Только оставило мету.
Так это поздно сбылось,
Даже и жалости нету.

Дома, очнувшись от слёз,
Осознаю запоздалость...
Так это поздно сбылось —
Радость, и гордость, и жалость.

ПРОЩАНИЕ С ГРУЗИЕЙ

Уже улетаю. Селенья грузинские вижу.
Всё дальше Тбилиси, а сердцу — всё ближе и ближе.

В окно погляжу — облака, словно овцы в тумане.
А Грузия вся, как цветок на холсте Пиросмани.

И сыр, и вино есть — забота друзей на дорогу,
Так что ж мне так грустно и так одиноко, ей-богу?

Пила «Цинандали», лавашем с кинзой заедала,
В застольях, бывало, грузинам седым подпевала.

Весёлые песни слагала в стране винограда.
Была я счастливой, а большего мне и не надо.

Но как тяжело мне, как будто прощаться впервые!
Так что ж я не плачу и что мои щёки сухие?

И разве кого-то своей слезой я обижу?..
Всё дальше Тбилиси, а сердцу — всё ближе, всё ближе.



Людмила ЛОГИНОВА (КАЗАРЯН)

/ Тарту /

БЕЗ МЕНЯ

* * *

однажды меня не было
маятник скользил по дуге
солнце играло паутинкой
деревья роняли вчерашний дождь
суставчатые
шестиногие
шуршали в траве
секунды
без меня

* * *

У бедной рифмы нет друзей —
какие там друзья у нищих!
Никто не открывает ей
ни душу, ни свое жилище.
Духовный голод жжет ее,
ее отчаяние гложет:
сложить «мое» и «бытие»
любой дурак, конечно, может.
И как ей удастся жить,
такой банально-бесполезной,
и беззастенчиво твердить
все те же «бездны» и «надзвездный»?

* * *

Стыд и совесть — это разные вещи
Посмотри: стыдно, что все на тебя смотрят

и показывают пальцами
стыдно чего-то не знать, не уметь,
не справиться с собственным телом...
Тебя назовут посмешищем — и тебе будет стыдно.
А совесть не интересуется, что люди скажут.
Совесть говорит: кем ты будешь, если...?
И однажды ты поступишь по совести —
и все будут на тебя смотреть
и показывать пальцами
и крутить пальцами у виска
и смеяться.
И тебе нечем будет гордиться:
ты не первый такой

* * *

Глупый, глупый герой,
картинка с заставки,
мечта фетишиста:
тебя так легко заменить
песенкой, рисунком,
игрушечной обезьянкой,
шарфиком из батиста,
поездкой в чужую страну,
прожилками на листе берёзы,
смехом над той идиоткой,
которая верит во что-то.

* * *

Дни выстраиваются в года,
не сейчас превращается в никогда.
А что там такое было — в начале начал,
когда для меня волшебный голос звучал?
Я больше его не слышу — только слова, слова,
надо и мне растаять — а я почему-то жива.
Призрачный ветер лепит из снега и полутьмы
меня и еще кого-то:
мы жили мы были мы

МУЗЫКА И «ВРЕМЯ»

Я живу в прекрасном мире,
с четырех сторон закрытом,
с четырех сторон уютном,
в знаменитой хате с краю.

Я с пластинки пыль стираю,
о Чюрленисе читаю...

Час десятый. Палестинка
плачет по убитом сыне.
Ты играй, кружись, пластинка,
мы живем не в Палестине,
мы живем в прекрасном мире,
под надежною защитой,
мы живем в своей квартире,
с четырех сторон закрытой, —

так давайте же, давайте
слушать Гайдна и Вивальди —
эту где-то, чью-то муку
заглушать волшебным звуком —
непреступным, непорочным...

Я живу в прекрасном мире,
одиночном, одиноком —
с четырех сторон — непрочном,
с четырех сторон — жестоком!

* * *

Я родилась, когда Земля рождалась
Из звездной пыли в темной глубине,
Когда она кипела и сжималась,
Когда пылала в ядерном огне.
Я помню все — леса палеозоя,
Где все молчало, помню небеса,
Где тучи нависали плотной мглой,
Где бушевала вечная гроза...
Я всем была — и вечно удивлялась
Пылинкам звезд и пламени костра,
И кораблям, и морю, и ветрам...
Я родилась, когда Земля рождалась.

* * *

Оттягивает плечо походная торба
(ноша своя, и жалобы бесполезны),
а под мостками дышит болотная прорва —
жидкая грязь, она у нас вместо бездны.

Ровно ступай — опасен шаг вправо, шаг влево
(то, что вместо земли, пучится, пузырится) —
пешка, солдатик, фарфоровая королева,
которой надо стать или притвориться.

* * *

Ничто не кончится добром,
пока стоит вопрос ребром:
быть иль не быть?
Сам о себе вовсю трубя,
чего ты хочешь от себя?
Быть иль не быть.
Скажи себе в последний раз:
зачем я здесь, зачем сейчас
быть иль не быть?

ЛЕТОМ

Если бы знали эти подонки,
чем для меня была их приманка...
...Девочка с ведром у колонки —
карлица-венецианка....
...Окна забиты, доски замшелы,
зато цветы — повсюду, повсюду...
Нечего помнить мне. Неужели
я этот город теперь не забуду?
Буду держать и цедить в ладошках
в мороке солнечного удара
память о белой лодке,
трехцветных кошках,
о стеклянных кубиках вдоль тротуара....

* * *

Я знаю — пишу таким языком,
что мне и самой он кажется стертым,
и взгляд мой — словно в глаза песком
швырнули — банален, как ревность к мертвым.
Угль, выгорающий в золу,
дитя, играющее в углу —
зачем я тяну всю эту муру?
Я тоже живу. Я тоже умру.
Может, и мне позавидуют — но
тогда мне и вправду станет смешно.



Татьяна МИХАЙЛОВСКАЯ

/ Москва /

КРУГЛЫЙ СТОЛ. СЕМЬ ВОПРОСОВ К АВТОРАМ «КРЕЩАТИКА»

Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Татьяна Михайловская. В поэзии язык это мысль. Поэзия последних лет довольствуется языком среднего уровня. Мало кто проверяет свою строчку на слух, звуки в строке сбиваются, слипаются, иногда без воли автора возникает совершенно неприличное звучание, что дает комический эффект. А иногда авторы сознательно стараются оживить свой текст выпадом в сторону обценной лексики. Им кажется, что это актуально. Прозаики и драматурги относятся к этому приему еще проще.

В основном лексика обновляется за счет англоязычных заимствований, большинство из которых потом отомрет, как и было прежде с голландскими и французскими.

Язык система очень независимая. Даже если мне не нравится какое-либо изменение в синтаксисе, например, употребление конструкции с предлогом вместо беспредложной, — я ничего не могу с этим сделать. Но я должна это видеть. И предвидеть, как язык поведет себя дальше, ведь автор хочет, чтобы его читали не только сегодня, что, впрочем, утопия.

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

Т.М. Ведущий жанр сейчас, как и раньше, — рассказ. Чем он рочее, тем он современной — соответствует динамике жизни. У этого жанра колоссальный потенциал, наверное, потому, что он разнообразен как никакой другой. Рассказ может быть с сюжетом, может — без сюжета, может быть ближе к анекдоту, может — к молитве. И все это рассказ.

Стандарт западного «любовного» романа это коммерческий вариант литературы, то есть вывернутый наизнанку. Читать его скучно. На русской почве его насаждают, но он не растет.

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

Т.М. Сколько у нас классиков? Человек 10–15? А остальные кто? Просто литераторы. Вот недавно перечитывала просто литератора Розанова. И еще просто писательницу Тэффи. А классиков Толстого и Достоевского не перечитывала уже лет пятнадцать. Из классиков недавно — в очередной раз — перечитала пушкинское «Путешествие в Арзрум».

Обэриуты — классики? Несколько лет не перечитывала. Девиз Хармса «Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении» мне надоел — другого проявления жизни вокруг не наблюдаю.

Советские классики оставались у меня в забвении очень долго. Но вот потребовалось перечитать Паустовского — перечитала, восхитилась мастерством. Но возможно, если «советский», то априори не классик?

Считается ли Шаламов классиком? Или современником? Независимо ни от чего некоторые его рассказы перечитываю часто.

Вообще, где точка отсчета современности в литературе? Когда начинается этот период? Автор, который вчера напечатал свое произведение, — мой современник? А тот, который написал его пятьдесят, сорок, тридцать лет назад, — он уже не современник? Но еще и не классик?..

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

Т.М. Пользуюсь электронными словарями и энциклопедией. Смотрю Википедию, бывает полезна, хотя и много ошибок, полностью доверять помещенным в ней статьям нельзя.

В социальных сетях принципиально не регистрируюсь. Считаю это вредной тратой времени.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

Т.М. Общаюсь с коллегами лично, в переписке, на конференциях, на фестивалях и выступлениях — если там бываю. Но литературная среда сузилась. Произошло размежевание бывшей советской, которая сейчас называет себя демократической, и независимой литературной средой. Они, как правило, не пересекаются. Особенно это заметно в критике, вернее, в том огрызке, который от критики остался.

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

Т.М. Была когда-то такая прибаутка, мол, писатель пописывает, а читатель почитывает. Сегодня другой расклад: писатель все еще пописывает, а читатель уже не почитывает. Книга, связующее звено между писателем и читателем, умерла. Можно сколько угодно тешить себя иллюзиями воскрешения ее из мертвых в ближайшем будущем, но цифры говорят о другом. За последние десять лет средний тираж книг, выпускаемых у нас в стране, снизился почти в два раза. А что читают 90 миллионов интернет-пользователей в России, никому неизвестно. Скоро вообще читать разучатся. Зачем читать? Картинки «прикольнее».

И писателю писать тоже резону нет. 131-летнее царствование авторского права закончилось. Раньше издатели обирали автора по закону Бернской конвенции, а теперь без всякого закона обируют все кому не лень, включая продюсеров, режиссеров и прочих разных спекулянтов. Если писателям это наконец надоеет, то мир станет свидетелем полного исчезновения нашей профессии.

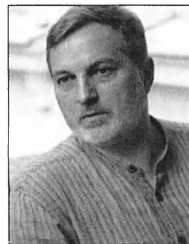
Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

Т.М. Литература сегодня это актер, у которого одна роль — дать реплику «кушать подано». И место актера, как сказано у классика, которого частенько перечитываю, «в буфете». То есть на презентациях — лучше с фуршетом — на торжественных вручениях наград, на букерах-пукерах и прочих большу-у-ущих книгах.

За ваше здоровье, дамы и господа! Кушать уже подано.

Арсен МИРЗАЕВ

/ Санкт-Петербург /



Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Арсен Мирзаев. Что касается русского языка, то, по моему ощущению, все меньше становится индивидуумов, владеющих им хотя бы в минимальной степени. С другой степени, исключения, редко, но все же встречающиеся, внушают микроскопическую надежду на то, что не все еще, м.б., потеряно. Я говорю о совсем молодых людях, поэтах, филологах, а также о любомудрствующих и любознательствующих. Их катастрофически мало, но они блестяще управляются с русским языком (и даже пытаются его развивать!), великолепно на нем пишут и даже умудряются иметь не вполне общее выражение лица и мысли...

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

А.М. Вероятно, имеет смысл говорить в данной ситуации не о детективах и фантастике. С ними и так все понятно. И недостатком внимания они никогда, мне кажется, не страдали. А вот почему в наше время все большее значение приобретают мемуары и, отчасти, эссе — это вопрос не праздный и достаточно актуальный. Думается, разбросано слишком много камней. Видимо, пришла пора и дворнику порабатать. Творческому дворнику, с метелкой ума и совочком интеллекта...

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

А.М. Перечитывать классику страшно хочется: Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Чехова, поэзию и прозу XVIII–XIX вв. и более раннюю литературу. Хочется, но не хватает времени (досуг у меня «отсутствует как класс», но не по причине ежесуточного пребывания в ФБ или Вконтакте, как у многих моих современников; кажется: вот имел бы я досуг, так одних бы классиков и перечитывал). Что же касается XX века, то и здесь простор (лично для меня) необычайно широк... Но нужно сначала разобраться с непрочитанным/недочитанным/недопонятым. А вот уже прочитав-дочитав-допоняв, и браться за «пере»...

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

А.М. Фейсбук — лакмусовая бумажка. Показатель нездоровья (прежде всего — психического) общества, его ущербности. Многие люди, казалось бы вполне вменяемые, трезвые и адекватные, пишут в ФБ каждый день и по любому поводу: настроилось ли стихотворение, пошел ли дождь, избрали ли нового президента в США, затерялся ли в квартире любимый тапок... И каждый пост, даже самый банальный и бессмысленный, сопровождается бурными обсуждениями, взрывом эмоций, обменом мнениями, долженствующими показать «ум и сообразительность», отличающие обменивающихся... Безусловно, это — свидетельство тотального одиночества и разобщенности: всех и каждого в отдельности. Собственные тексты в Инет я выкладываю крайне редко. Социальные сети использую как информационную площадку, прежде всего: поделиться сведениями о какой-либо действительно выдающейся (важной, редкой) книге, пригласить на поэтический вечер/конференцию/фестиваль etc.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

А.М. С коллегами «по цеху» я общаюсь довольно часто: очно, поскольку практически каждую неделю провожу литературные вечера в «Старой Вене» (бывшем знаменитом «литературном» ресторане «Вена»), а иногда выбираюсь на поэтические вечера, устраиваемые на других литплощадках, и время от времени езжу на фестивали, наши и закордонные; заочно: обычная переписка с друзьями, знакомыми и приятелями, включающая текстообмен, мыслеобмен, инфообмен (разумеется, и для того, чтобы предложить кому-либо дать стихи-прозу-статьи-эссе в журнал «Футурум-АРТ» — или какое-то другое издание — я использую личную переписку, а не «рассылку по адресной базе» и не ФБ с Вконтакте).

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

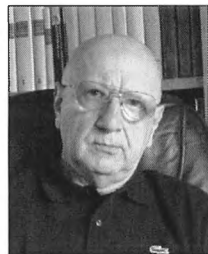
А.М. Один читатель у меня всегда есть. Это я сам. Не знаю никого лучше... А если говорить более серьезно, то настоящих читателей почти и не случается. Их бывает: один, два, три. Ну, м.б., семь. Не больше.

Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

А.М. Художественная литература занимает в современном обществе то место, которое и должно занимать (которое занимало всегда). Она, по определению, находится на обочине. Так же, как и во все времена. Редкая птица, летящая в 600-м мерседесе по автобану, вдруг ни с того ни с сего решает остановиться, съехать с дороги на обочину и устроить пикник. Пир духа — не для всех... Но хорошо бы все же, чтобы этих «не всех» было не так мало, как сейчас. И чтобы были они не такие нищие, несчастные, голодные и одинокие.

Виталий АМУРСКИЙ

/ Париж /



Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Виталий Амурский. Ситуация, на мой взгляд, незавидная. К большому сожалению, я не в состоянии назвать ни одного автора, чья проза или поэзия (критику и литературоведение оставляю в стороне) была бы привлекательной. Разумеется, в данном случае исхожу исключительно из собственных (ни в коем случае не претендующих на объективность) представлений о публикациях. Может быть, что-то упустил, не заметил? Не исключаю. Категоричного ответа дать не могу.

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

В.А. Полагаю, документальный, где, к примеру, совершенно образцово проявила и проявляет себя Светлана Алексиевич.

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

В.А. Перечитываю временами Чехова, Толстого («Казачьи», «Смерть Ивана Ильича», отдельные страницы «Войны и мира», «Анны Карениной»). Всегда рядом — Пушкин, Лермонтов, Михаил Булгаков. Рядом также — Юрий Трифонов, Юрий Казаков, Василий Шукшин...

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

В.А. Удобный источник информации, который, к сожалению, требует очень осторожного отношения к тому, что в нём появляется. Социальные сети избегаю.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

В.А. Сейчас мало, редко.

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

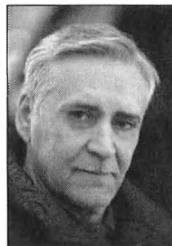
В.А. Теоретически она существовала всегда.

Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

В.А. О современном «массовом обществе» (может быть, правильнее «массовом сознании» общества?) судить не берусь. Литературу всегда делали единицы. Если таких единиц нет, то и читателя как такового быть не может. Тех, кто относится к книгам, как к сэндвичам (делая или поглощая их), я в данном случае в виду не имею.

Юрий ПРОСКУРЯКОВ

/ Москва /



Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Юрий Прокураков. Мне кажется, продолжают процессы, которые были активными еще в 20-м веке. Политика русификации, русского языка как языка преимущественно школьного и универсального средства общения на территории СССР постоянно приводила к взаимодействию русской лексики с разнообразными, чуждыми этой лексике, синтаксическими и понятийными моделями. Стали автоматически упраздняться некоторые падежи, например, дательный и предложный превратились как бы в один падеж и т.п. Эти процессы приводили к вульгаризации и упрощению лексики, к трансмутации ее с некоторыми элементами жаргона и неформальными словоупотреблениями... словом, начался и продолжается процесс становления аналитизма... это косвенно влияет на упрощение как поэтического языка, так и языка прозы. Читатель все меньше интересуется классической русской литературой, семантические модели которой становятся недоступны носителям русского языка.

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

Ю.П. Ведущим жанром русской литературы являются тексты попсовых и авторских песен... именно эти жанры, которые не подразумевают сосредоточенности и размышления преобладают в массовой культуре.

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

Ю.П. Перечитываю и читаю и тех и других, к сожалению, имею для этого недостаточно времени, потому что вынужден в свои 70 лет работать.

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

Ю.П. Электронные средства информации и социальные сети служат для меня единственным источником, тропинкой к не ангажированному читателю.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

Ю.П. Да общаюсь, и лично и виртуально, хотя общение в клубах вряд ли можно считать таковым... это скорее собрания разного рода графоманов, которые с той или иной степенью неумения декламируют или читают друг перед другом свои сочинения... но и там заметна общая тенденция к упрощенчеству. Посещать фестивали у меня нет средств и не припомню случая, чтобы меня кто-нибудь из организаторов приглашал бы...

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

Ю.П. Условия книжной торговли таковы, что писатель, чтобы пробиться к читателю (читателю книг) должен иметь достаточно большие финансовые средства. В противном случае он издает свои произведения малым тиражом (от 10 до 200, 300 экземпляров) и практически раздает их таким же неимущим писателям во время выступлений. Это позволяет официальным изданиям утверждать, что они печатают то, что есть, и в современной литературе нет значительных имен и глубоких произведений.

Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

Ю.П. Роль художественной литературы в современном обществе более чем незначительна из-за политики и идеологии редакций и издательств, а также из-за организации книжной торговли, ориентированных в лучшем случае на развлекательные произведения. Государство как инструмент управления не заинтересовано в других функциях литературы и не поощряет развивающие читателя произведения.

Марк ХАРИТОНОВ

/ Москва /



Борис Марковский. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

Марк Харитонов. Не знаю, можно ли говорить о ведущем жанре, наиболее востребованными сейчас становятся сравнительно короткие тексты, не требующие для чтения времени. В какой-то мере это связано с усложнением цивилизации, с появлением интернета. Слишком велик стал объем информации, возможность, не торопясь, читать, тем более перечитывать большие, многосложные романы доступна немногим. Остальным приходится читать как бы по диагонали, сканировать смысл по ключевым словам, решать, надо ли это вообще читать. Один знакомый написал мне, что не читает вообще прозы. «Меня хватает только на чтение стихов. Поэзия давно считалась вымирающим видом, но вдруг, по-моему, ожила, совершенно неожиданно своей краткостью совпав с эпохой интернета...». Как бы это ни объяснять, стихов действительно стало появляться все больше, они заполняют интернет и пользуются популярностью.

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

М.Х. Я вообще последнее время больше перечитываю, чем читаю новинки. С возрастом уже не хватает времени, как раньше, на всё. Успеть бы еще дописать свое, оставшееся незаконченным. Перечитываю главным образом нужное мне для работы, среди них есть и классики, и современники. Среди современников назову моего друга Бориса Хазанова, с которым мы уже много лет продуктивно переписываемся, обмениваемся текстами, идеями. (В 2013 г. питерское издательство «Алетейя» опубликовала два тома нашей переписки «...Пиши, мой друг».) Перечитываю Библию, великих прозаиков, драматургов, но также и критиков, эссеистов, филологов, таких, как мой друг и современник Вячеслав Всеволодович Иванов. Последние годы я особенно много перечитываю поэтов, от Пушкина до Мандельштама и Бродского. Впрочем, многое теперь не столько перечитываю, сколько повторяю про себя наизусть. В небольшом, как будто давно знакомом

стихотворении можно вдруг обнаружить не отмеченное, не понятое по-настоящему раньше. Одному-единственному стихотворению, как известно, можно посвятить целое исследование.

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

М.Х. Для меня это прежде всего важнейший источник информации. С некоторых пор я редко покупаю книги, практически не покупаю газет и журналов, почти не смотрю телевидение. О том, что происходит в литературе, что появляется в издательствах, в толстых журналах, в театре, в кино, я узнаю главным образом из интернета, там же по возможности все читаю и смотрю. Из социальных сетей могу назвать лишь фейсбук. Я не особенно представлял, что это такое, пока меня не подключили к нему друзья. Некоторое время наведывался туда без интереса. Потом целую группу «друзей» мне подключил Марк Липовецкий. Это были главным образом его знакомые филологи — существенный для меня круг. Постепенно подключались другие группы. Сам я круг общения почти не расширял, подключал тех, кто себя предлагал. Даже небольшое количество «фрэндов» отнимает время, я предпочитал общение по электронной почте. Как-то написал знакомому, у которого число «фрэндов» приближалось к 5 тысячам: как вы успеваете просматривать такое количество информации? Он ответил, думаю, не без иронии: да я их и не просматриваю, это невозможно. Только тут до меня дошло: «друзья» в основном нужны пишущим людям как круг читателей, как тираж. Начинаю понемногу разбираться. Благодаря специфическому отбору блоги некоторых «фрэндов» заменяют мне прессу, я что-то узнал о круге близко мыслящих людей.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

М.Х. У меня с годами все хуже становился слух, это мешало мне полноценно участвовать в литературных собраниях, конференциях и др. После перенесенной полтора года назад серьезной болезни мне это стало вообще трудно. Но довольно интенсивно общаюсь с коллегами, как уже было здесь упомянуто, по электронной почте.

Петр КАЗАРНОВСКИЙ

/ Санкт-Петербург /



Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Петр Казарновский. Наверное ситуация скверная. «Русский язык на грани нервного срыва» (М. Кронгауз), или даже сердечного криза — на грани апоплексического удара, кровоизлияния в мозг. Слышишь кого-то из пишущей братии — неприятно: штампы, плоские формулы. Редкие бывают исключения. Я убежден, что мы, перестав читать поэзию, себя страшно заморозили. И оскорбили. «Мы» — я говорю, конечно, не о людях, близких к литературе: это вообще о людях... Мне известно, что современному состоянию русского поэтического слова — неразрешимой, наверное, проблеме — юные люди предпочитают Э. Асадова: для них он оказывается современен (тут у меня, не культуролога, руки опускаются). Тут ведь проблема выражения! — как именно высказано то ценное, что может — и должно — не иметь иного выражения. В целом же есть и основание для оптимизма: когда литература движется за тем, что называется «работа со словом» или «существование в плане языка», то есть когда мы — читатели! — как-то выходим за предустановленные порядки мыслей и начинаем понимать глубины автором вложенных смыслов...

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

П.К. Безжанровость, или многожанровость. Роман традиционный давно убит (как тут не вспомнить В. Сорокина), его реанимируют — тщетно?! Есть в «Крещатике» жанр — свидетельство, легенда, миф. Мне кажется, что это — самое кровное, что можно воспринимать, — бесконечное разжижение жанра, его развоплощение — то, что делает своими «письмами» Б. Констриктор или своими «медитациями» Саша Соколов, то, что делал А. Волохонский... Короче или попросту говоря, ведущий жанр сейчас — тот, который совмещает в себе и прозаическое — фабульное начало, и поэтическое — выносящее за рациональный свод.

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

П.К. Хорошо это или плохо — мне приходится много перечитывать русской классики; по крайней мере, проглядывать. Я много нахожу нового и считаю необходимым залезать в «закрома», чтобы вновь и вновь вычитывать там новые смыслы. Мне кажется, что многие молодые литераторы этим пренебрегают. Несколько имен я назвал прежде. Меня в основном интересуют те, кто расширяет фазис речи — языка. Это — странный, иногда пугающий, или, по крайней мере, ошарашивающий обмен течения слова в его видоизменениях. Но ведь это ужасно интересно! А классики — те же: Достоевский, Лесков; символисты, прежде всего А. Белый, конечно. Знаете, ведь при пристальном чтении исчезает ощущение удаленности: когда было написано «Слово о полку...»?

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

П.К. Я пользуюсь в основном электронной почтой, иногда — в контакте. Социальные сети мне в основном дают знание о том, что произойдет в ближайшее будущее. Или что уже произошло. Соответственно — подумать или пожалеть.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

П.К. Разумеется, я общаюсь с друзьями из «среды». Но это происходит избирательно. Это — без обид.

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

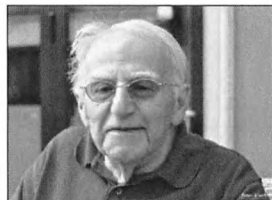
П.К. Мне нечего особенно сказать по этому поводу. Своего опыта у меня нет. А про чужой — у меня нет прав. Глядя на современных молодых, могу предположить, что связь эта утрачена. Тут проблема понимания «времени» — «эпохи».

Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

П.К. Наверное, это самый сложный вопрос. Я отдергиваюсь от ответа. Мне иногда страшновато присматриваться к обложкам, которые держат люди в метро: а вдруг там какая-то дрянь?..

Борис ХАЗАНОВ

/ Мюнхен /



Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Борис Хазанов. Ситуация плачевная. Русский язык переживает ломку, подобную той, какая происходила в эпоху Петра I. Грандиозный социально-политический кризис не мог не повлечь за собой кризис языка. Но значительная часть, если не большинство, писателей, и особенно журналистов, не в состоянии с ним совладать. Я имею в виду неспособность справиться с захлестнувшим русский язык потоком модных варваризмов, главным образом американизмов, лавину кое-как, наспех усвоенных заимствований, значение которых подчас искажено либо вовсе не понято. К этому нужно прибавить инфекцию не отфильтрованной пошловатой разговорной речи, злоупотребление разного рода жаргонами и другие свидетельства упадка языковой культуры.

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

Б.Х. По-видимому, роман, традиционно ведущий, в последнее время начал уступать менее солидным жанрам прозы — повести, рассказу.

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

Б.Х. Преимущественно классиков.

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

Б.Х. Я пользуюсь электронной почтой, регулярно обращаюсь за помощью к справочно-поисковой машине Google. С Фейсбуком никак не связан. Вопреки распространённому представлению, подозреваю, что Фейсбук, пожирающий свободное время у своих участников, не способствует полноценному личному общению, — скорее наоборот.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

Б.Х. *Общаюсь с друзьями, собратями по перу, теперь уже немногочисленными, Для литературной среды в покинутом отечестве я посторонний человек, веду весьма замкнутый образ жизни. К литературному одиночеству привык очень давно.*

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

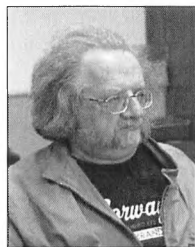
Б.Х. *Сказано: писатель пописывает, читатель почитывает. Нужно отдать себе отчёт о переменах, случившихся буквально на наших глазах, чтобы понять смысл этого замечательного изречения в новых условиях. Прежде всего — в массовом обществе, каким становится, с величайшим скрипом и опозданием, наше отечество. Ваш вопрос — о судьбе писателя и его дела в сегодняшней России. С первых лет своего существования советский режим провозгласил главной целью создание Нового человека. Задача была успешно решена. Явился на свет воспетый Лебедевым-Кумачом «советский простой человек». В стране торжествующего коллективизма удалось, под неусыпным надзором тайной полиции, начисто истребить инстинкт солидарности. Последствия революции нравов не заставили себя долго ждать, все независимые объединения, литературные направления и пр. исчезли, первопроходцы и лидеры были убиты. И до сих пор, в послесоветской России, не появились писательские организации, которые взяли бы на себя защиту профессиональных и социальных интересов литераторов, отстаивание своих прав, сопротивление новым эксплуататорам — издателям и книготорговцам. Страна, по всей видимости, вообще не стала и едва ли когда-нибудь станет социальным государством в общепринятом, то есть западном, понимании этого термина. Это первое. Второе обстоятельство есть жалкое состояние экономики, шаткость денежной системы, отсутствие демократии и твёрдого правопорядка, словом, новорождённый российский капитализм, разительно напоминающий рваческий капитализм эпохи первоначального накопления, шестнадцатый век.*

Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

Б.Х. *Я нахожу эти роль и место весьма скромными. Времена властителей дум и «самой читающей страны» остались только в наших воспоминаниях.*

Борис КОНСТРИКТОР

/ Санкт-Петербург /



Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Борис Констриктор. Жив Курилка.

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

Б.К. 28 апреля 1998 года я записал: «Сюжет умер. Да здравствует сюр-жест!» (См. «Записки неохотника» Киев. 2008. С. 241). С тех пор в этом жанре и подвигаюсь.

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

Б.К. Перечитываю классиков, прежних и новейших. Последних определяю сам, впрочем, как и первых. Вельтман, Нарезный, Квитка-Основьяненко, равно как и Решетников, Левитов, Слепцов, Николай Успенский всегда под рукой.

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

Б.К. Электронные средства информации — жена и сын. Они выводят мои каракули в электронное варево. Поэтому стараюсь не растекаться по древу, когда пишу. Формальному общению предпочитаю живое.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

Б.К. Частично на этот вопрос я уже ответил. Желание выступить прямо пропорционально гонорару.

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

Б.К. Мои читатели, как правило, писатели, но нет правил без исключений.

Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

Б.К. Мне кажется, что литература (шире — искусство) это нечто вроде ступенек на пути к третьей сигнальной системе, после возникновения которой произойдет скачок. В противном случае — катастрофа.



Григорий ВАХЛИС

/ Иерусалим /

Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Григорий Вахлис. Тут есть о чем поговорить собравшимся! Ведь не собрались. Не сели за стол — ни за круглый, ни за какой. И нет у них возможности ни взглянуть друг другу в глаза, ни выпить-закусить вместе. Вот оно: «формат встречи»! Вполне электронный. И разговора не получится — лишь монолог в виртуальном пространстве веб-документов предназначенных для распространения в виде веб-ресурса, ограниченного совокупностью правил и распоряжков. Т.е. ни нагрубить, ни обнять. А без этого какой разговор о литературе? А о языке? Ведь общение любых носителей немашинного языка предполагает застолье. И ситуация с русским языком складывается такая: «еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет» — а электронный «брегет» сообщает, что «новый начался балет», и сам Чжецун Чжампел Нгагванг Тэнцзин Гьямцхо не отрицает возможности сознания на компьютерной основе. Но психовать не надо! Речь в свое время пережила появление письменности, а это скачок куда более трудный, чем от гусиного пера до клавиатуры. Хотя еще Розанов заметил, что Иоганн Гуттенберг принес в мир больше смерти, чем все жившие до него. В общем, думается литература переживет и это.

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

Г.В. Фентези, а почему — знать не хочу! «Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше ничего...» — как сказал на своей страничке в фейсбуке этот, как его... Какие уж тут «фентези!» Можно, конечно, поднатужится и написать так, что задымится и фентези, но тогда никаких «писатель-книга-читатель». Формат не тот! «Писатель-книга» еще туда-сюда, а массовый читатель на втором абзаце: «Обратно чернуха»!

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

Г.В. Читаю авторов журнала «Крещатик», перечитываю себя.

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

Г.В. Для меня электронные средства информации есть совокупность документов, предназначенных для распространения в форме веб-ресурса, или записанных на электронный носитель.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

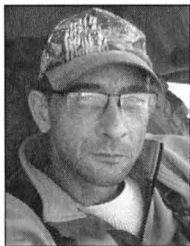
Г.В. Общаюсь лично на выступлениях, но в доступной мне литературной среде нормально пьет лишь один издатель, да и тот в Питере. Остальные пьют мало. Закуска по возможности.

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

Г.В. Разделяю мнение В. Пелевина — чесатель — книга — питатель.

Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

Г.В. Роль чесателя в массовом обществе почесывать питателя в разных местах.



Александр ТАЖБУЛАТОВ

/ Бийск /

Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Александр Тажбулатов. Утилитарность мысли и чувства в большей части современной литературы обезопасила от излишних волнений непритязательного современного читателя, который часто не знает различия между красивым и красивеньким, ему стало достаточно СМС-«языка», а потому видимо и автор уже не видит перед собой задачи искать в языке былую глубину, она попросту не востребована. Отсюда идет упрощение мысли, а с ним исчезновение знакомых когда-то образов, да и изменение смыслов идет полным ходом, и этот процесс далеко не завершен. Из текстов исчезает природа, в которой существует человек как ее неотъемлемая часть, остаются голые вымученные диалоги, в которых герои пытаются найти нечто, что порой и искать-то не нужно, достаточно посмотреть на звезды или выглянуть в окно и найти ответ для себя и читателя. Упрощенность, усеченность, технологичность, сленг, новоязы... Меняется язык ровно так же, насколько быстро и сильно меняется наша жизнь. К сожалению, эти изменения далеко не всегда к лучшему, язык явно стал беднее, из его палитры исчезли тончайшие оттенки, а классики, с их великолепной формой переполненной содержанием чувства и мысли, на фоне современных, часто «высокотехнологичных» текстов выглядят порой наивно и уже почти антикварно.

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

А.Т. Вероятно — роман, поскольку тут условия диктуют издательства, да и кому из редакторов хотелось бы копаться в ворохе рассказов, миниатюр или повестей, ведь пишущих так много, читающих так мало, а уж сами издательства и вовсе на пальцах одной руки помещаются.

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

А.Т. Сложно найти время для чтения, но если находится, то все-таки классиков. Там всегда есть возможность найти что-то современное и созвучное, а самое главное — там всегда есть взгляд в будущее.

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

А.Т. Интернет дает возможность быстро найти читателя и услышать его реакцию, это единственный плюс, но есть огромный минус — там, в паутине (включая соцсети) слишком «шумно». В этом бесконечном «мыслеизлиянии» можно потерять не только мысли, но и голову, поэтому даже в горной реке плавать намного безопаснее, чем — в сети.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

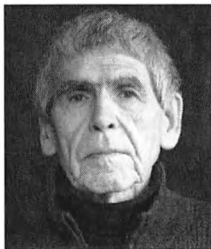
А.Т. Эпистолярный жанр жив. Это далеко не лишняя возможность писать свои и слышать чужие мысли. Думаю, лучшее из того, что написано писателями, написано на самом деле в их письмах друг к другу. И хотелось бы, безусловно, личных встреч, но тут... деньги и расстояния, первые — слишком маленькие, вторые — невероятно большие, не набегаясь, поэтому письма, письма, письма...

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

А.Т. Невостребованность. Одно слово объясняющее все. Если ты не готов писать *донцовщину*, не готов упрощать мысль в угоду масскультуре, вряд ли о тебе кто-то узнает и прочтет. Единственный способ заявить о книге и найти своего читателя это Интернет или толстый журнал, но в Интернете все растворяется, как в серной кислоте, а толстые журналы читают лишь самые упорные любители, коих слишком мало. Еще есть издательства, которые могут быть мостом от писателя к читателю, но они заняты прибылью, и им попросту не до литературы.

Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

А.Т. Мы живем в мире визуальных образов, тщательно разжеванных чувств на экране, это данность. Мир уже просто переполнен информацией, и так получилось, что именно движущаяся картинка помогает хоть что-то понять, человеку проще усвоить видео, чем создать его у себя в голове с помощью книги. Но... Александрийская библиотека когда-то сгорела, а потом, вновь были написаны книги. Может, и мы переживем этот «пожар»?



Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

/ Кёльн /

Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Владимир Порудоминский. Литературный язык развивается по своим законам, отмечая уровень и направление развития в наиболее значительных творениях пера. В этом движении своя диалектика. Знаменательные открытия здесь не часты, персонифицированы. Но поиски нового ведутся постоянно. Это особенно очевидно на фоне усредненного языка целых пластов литературы разного рода «застойных» лет. Энергия этих поисков сопрягается с энергией литературного процесса. Сегодняшняя работа в литературе неотделима от постоянной работы с языком (у каждого автора по своим возможностям, конечно). Примеры этих постоянных поисков находим на страницах того же «Крещатика». Ставший вот уж поистине притчей во языцех язык улицы, язык СМИ — телевидения, газет, язык макулатурной книжной продукции, конечно, воздействует на литературный язык (но подчас и как прием), но, повторяюсь у языка литературы свои пути.

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

В.П. Не уверен, что таковой — ведущий жанр — сейчас имеется. В конце 1980-х — начале 1990-х, когда многое прежде утаенное в истории и сегодняшней жизни перестало быть запретным, и у читателей и, соответственно, в литературе резко возрос интерес к документалистике. Сейчас (перелистываю книоторговый каталог) на прилавке, удовлетворяя потребности самых разных читателей, представлены книги самых разных жанров. Как-то всего вдоволь...

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

В.П. Перечитываю чаще классиков (к которым отношу и лучших писателей, моих современников, Платонова, например). У классиков я непременно нахожу то, что ищу в литературе: интерес чтения, по-

буждение к духовным исканиям, значимые уроки работы над текстом, над словом. Минувшей весной перечитывал повести Тургенева. Прекрасно!..

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

В.П. Работать по-настоящему с электронными средствами информации, к сожалению и к своему стыду, не научился. Весьма ограниченно пользуюсь интернетом, чтобы получить нужную справку или найти нужный текст. Переписываюсь по e-майлу. По e-майлу же знакомые пересылают мне разнообразные материалы, среди которых немало вовсе ненужных, но есть и такие, с которыми любопытно и полезно познакомиться.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

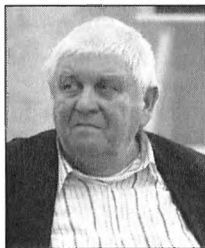
В.П. Общение очень ограничено. Переписываюсь, разговариваю по телефону, изредка встречаюсь, когда доведется увидеться. Возраст, невозможность разъезжать приумножают расстояния. Круг моих друзей и коллег-современников не то что поредел, но почти исчез. В моей адресной книжке есть буквы, где не осталось ни одного «живого» имени. Между тем потребность в общении подчас сильная, хотя я умею быть один.

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

В.П. Гоголь писал, что, пока художник работает, не только картина его под его кистью изменяется, но изменяется и он сам. Творение «делает» мастера. Я думаю, что книга удалась, если, работая над ней, я в чем-то переменялся. В этом случае и читатель что-то обретет, что-то в нем переменится.

Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

В.П. Исторически так сложилось, что художественная литература была для российского читателя основным духовным наставником, в ней искал он ответы на существеннейшие вопросы жизни, черпал из нее идеалы, основываясь на ней, прокладывал маршруты жизни и духовной работы. Отношение к герою книги, к описанной в ней ситуации становилось предметом серьезных раздумий, яростных полемик, играло важную роль в определении общественной позиции читателя. Думаю, что ныне, опять же в силу исторических условий (рассмотрение их могло бы стать предметом особого разговора), положение изменилось: роль и место литературы в современном обществе значительно скромнее.



Петр БРАНДТ

/ Санкт-Петербург /

Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Петр Брандт. Русский язык в наше время подвергся неслыханному доселе насилию со стороны разного рода вольностей и сленга, в том числе с использованием иностранных слов, часто невпопад. Прежде в средствах массовой информации существовали строгие правила, удерживавшие язык на всем пространстве Советского Союза в конкретных рамках русской речи. Это касалось и лексики, и синтаксиса, и произношения и т.д. Теперь же воцарилась вольница. Язык, звучащий из радиоприемника сегодня, прежде можно было услышать, разве что, в подворотне. Конечно, это не могло не отразиться на интеллектуальном и культурном уровне населения. Все это, безусловно, прискорбно. Однако мне кажется, что язык имеет свой собственный благодатный, внутренний ресурс и способен самообновляться. Как дерево, листья которого обливают грязью. Приходит осень. Старая листва опадает, а весной вырастает новая. Известно, что сленг — явление, хоть и популярное, но не долговечное. Каких-нибудь паратройка десятилетий и сленг сильно меняется или, вообще, куда-то уходит, уступая место новому, тоже сленгу. Основное же тело языка, если можно так выразиться, не меняется веками. В этом, мне кажется — немалые основания для оптимизма.

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

П.Б. Мне кажется — историческая проза. Причины очевидны. В шестидесятые, семидесятые годы прошлого века мы жили в государстве, которое существовало само по себе, а мы — сами по себе. Оно было достаточно защищено с одной стороны, а с другой стороны — защищало своих граждан в том, что являлось самым необходимым, но требовало при этом от граждан строгого выполнения правил и табу, которые распространялись, в том числе, и на их речи, если ни на помыслы. Будущее нашей страны казалось нам незыблемым, а

прошлое вполне определенным и известным. Какие-либо трактовки исторических фактов, кроме официально утвержденных, были возможны, разве что, в самиздате, что довольно сурово каралось.

В этих обстоятельствах люди, мне кажется, были более сосредоточены тогда на собственной личной жизни и пребывали в мире сентиментально-романтических иллюзий. Мечты о внезапно свалившейся с неба любовной встрече, способной изменить рутинную, скучную, повседневную жизнь и превратить ее в рай, отразил тогдашний кинематограф, достигший своего апогея в фильме Эльдара Рязанова «С легким паром». Демонстрация по Т.В. этого, безусловно, хорошего фильма превратилась в ежегодный священный ритуал. В конце восьмидесятых и в девяностые годы ситуация изменилась. Высшей властью нашей страны была объявлена гласность, открывшая шлюзы таким материалам, документам и историческим фактам, увы, порой ни кем и ни чем не подтвержденным, о коих и помыслить то прежде было невозможно. Это, конечно, сделало такую литературу очень интересной. Особенно это касалось событий недавнего прошлого. К тому же люди стали чувствовать непосредственную связь того, что происходит и происходило в стране с собой лично. Ощущение незыблемости нашего будущего пропало. Появились опасения за будущее страны, а у многих и чувство ответственности. Все это, мне кажется, и определило в последнее время интерес именно к этому жанру.

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

П.Б. Я перечитываю классиков (во всяком случае, если говорить о поэзии). Я уже писал о том, что не мыслю развитие поэзии, как некое поступательное движение к новым горизонтам с неведомыми доселе вершинами. Мне кажется, что вершины в поэзии — все те же. Другими могут быть только тропы к этим вершинам. Поэтому все предыдущие достижения в поэзии для меня являются ценностями сегодняшнего дня не менее, чем литература моих современников.

Пользуясь случаем, предлагаю читателю познакомиться с моим исследованием, которое так и называется «Что такое поэзия?» под редакцией Бориса Останина. Оно есть на сайте Натальи Черных «На середине мира». Несколькими лет назад я провел опрос среди своих современников, петербургских поэтов и близких к поэзии деятелей культуры на эту тему. Многих из этих людей сегодня уже нет в живых. Очень рекомендую его прочесть.

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

П.Б. Я не являюсь активным фанатом интернета, хотя часто использую его, как справочник, а компьютер, как печатную машинку. Все же, у меня есть какой-то подсознательный страх перед этим явлением. Не хочется в это влезать с головой. Мне кажется, что если слишком сильно в этом увязнуть, можно и потерять что-то, нанести ущерб, что ли, своему внутреннему миру. Слишком уж велик шаг в обретении простого жизненного комфорта, чтобы быть бесплатным.

Однако я вижу, конечно же, немалые блага для творческих людей в этом достижении цивилизации. Одно из них — большая независимость от сильных культурных кланов. Все же, благодаря интернету авторы, художники, музыканты, исполнители имеют возможность предъявить себя зрителям, слушателям, читателям, не спрашивая разрешения у этих кланов. Особенно это касается исполнителей, творчество которых существует в настоящем времени. Хотя, конечно, это не то же самое, что, например, T.V. или радио.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

П.Б. В своей юности, в самом начале своего творческого пути, я с охотой посещал всевозможные литературные сходки, порой — самые графоманские. В любом месте я искал для себя пользу и нередко ее находил. Иногда самые случайные строки или идеи могли подвигнуть меня самого к тем или иным творческим шагам. Многие мои друзья удивлялись моей неразборчивости в этих общениях. Мне же все без исключения было интересно и казалось полезным.

С годами круг таких общений становился все более и более избирательным. И вот, наконец, теперь я почти никуда не хожу. Мое общение с окружающей меня поэзией — почти случайно. Иногда я просматриваю популярные сегодня журналы. Иногда что-то слышу от знакомых. Однако, если мне случается услышать или прочесть что-то, что находит во мне отклик, мой слух напрягается, как и прежде, и я понимаю, что интерес к поэзии во мне еще не иссяк.

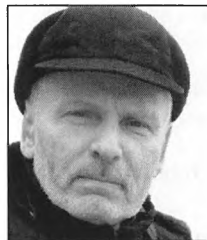
Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

П.Б. Вопрос поставлен так глобально, что для того, чтобы на него ответить, хотя бы приблизительно, надо быть экспертом и знать об этом гораздо больше, чем я. Однако, что касается моих личных наблюдений касательно поэзии, скажу, что картина, по-моему, не утешительная. На тех поэтических вечерах, в которых мне случалось участвовать или на которых — присутствовать в последние годы, молодежи почти не было. В основном там были люди старше тридцати.

Что-то изменилось в мироощущении наших людей по сравнению с былыми временами. И мне кажется, что в этом случае изменилось, увы, не в лучшую сторону.

Николай БОКОВ

/ Париж /



Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Николай Бокков. По пятибалльной системе — на твердую тройку, по десятибалльной — сплошные шестерки. Если оценивать в рублях, — тянет на бутылку. По Цельсию — 40.

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

Н.Б. Ведущего нет. Главный жанр ныне — уводящий, и это хорошо, пора уводить читателей из ресторанов и закусовых на свежий воздух. Но этот жанр не слишком популярен.

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

Н.Б. Вы хотите сказать — пересчитываете? Классиков давно пересчитал, а к современникам нет времени подступить, да и не считаю на успех.

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

Н.Б. Очень нравится слово «электронные». Оно ведь греческого происхождения, а Эллада — колыбель европейской культуры. Но нельзя забывать и вторую колыбель — Иерусалим.

О социальных сетях сказал еще Пушкин: «Тятя, тятя! Наши сети / Притажили мертвеца». Но я не так строг.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

Н.Б. Там, где писательство становится потребностью и доставляет наслаждение, общаться не с кем. Что до среды, то я предпочитаю Пятницу. Из вашего списка образов общения мне подходит «и др.»

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

Н.Б. Писатель пишет, написанное остается, слова улетают, читатель берет книгу в руки и не знает, что с ней делать.

Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

Н.Б. Начну с конца: а бывает ли общество массовым? Что делать художественной литературе на стадионе? Один неглупый французский писатель, ныне покойный, оценивал число читателей в современной Франции в двадцать тысяч. А между тем количество продаваемых экземпляров лауреата премии Гонкура доходит до четырехсот тысяч. Итак, в первом случае место литературы огромное, а во втором — в двадцать раз меньше. Если книга не куплена, то, полагаю, все место занято телевизором, который книг не читает. О роли судить не берусь.

Александр РАДАШКЕВИЧ

/ Париж /



Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Александр Радашкевич. Катастрофически. Слово творит миры и разрушает их. Новояз, как все серое, уже победил. Американизация и примитивизация языка (а значит, сознания) привели к тому, что если не употребили кальки с постылого английского, то людям кажется, что они ничего не сказали. Собирательное число превращают во множественное, насильно упраздняется прошедшее время глагола (что символически отрезает мостик к прошлому), ударение в иностранных словах угодливо и безграмотно переносится на первый слог, «шансы», «информация», «проблемы» выхолостили и обеднили живую речь. Ничто важное (а тем более ничто продажное) не называется по-русски, что сознательно создает смысловые перевертыши. Скажи «снос домов», все будут в ужасе и против, скажи «реновация» — вроде как ничего. Убийца — это проклятый во веки веков, «киллер» — почти профессия. Присяга — святая клятва на верность народу, «инаугурация» — некий телебалет самолюбования. Мат практически легализован, чтобы превратить его в серую жвачку и лишить всей силы потайного и запретного. Хамская реклама дурачит людей на «ты». Мутная жижа жаргона и приклатненной интонации заливают речевое пространство. Цель очевидна — нивелировка, лишение вещей и понятий исконного смысла и вкуса, усреднение, роботизация, стирание национальных особенностей, разрушение моральных и духовных устоев. Для стандартных и циничных кока-кольных поколений наши классики пишут уже на чужом языке и неизвестно о чем. Все это безнадежно и необратимо.

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

А.Р. Развлекуха. Для легкой наживы, развращения умов и создания безмозглого робота-потребителя.

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

А.Р. Классиков, конечно. Лишь у них живы представления о вечной красоте, добре и гармонии. Лишь они возвышают человека до Бога, а не опускают до кармана и не «фрейдизируют» до ширинки.

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

А.Р. Инструмент изоляции, разобщения, развращения, всеобщей слежки и дебилизации, и в силу своей анонимности — упражнение в хамстве, самодовольстве, пошлости и агрессивном невежестве. Интернет по отношению к жизни и живому общению — это то же, что онанизм по отношению к настоящей любви. Но отчасти можно использовать эту «паутину» против ее же сатанинской природы.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

А.Р. Да, всеми доступными способами: фестивали, выступления, конкурсы, электронные жизнезаменители.

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

А.Р. Эта цепочка, как и все теперь, нарушена духом наживы и потребливки. Ни одна из великих и прекрасных книг по своей природе не может быть «бестселлером», ибо до нее нужно расти. Ни одна из них не была написана ради денег. Подмена духовного знака на обратный практически состоялась, если не считать тех, кто не хочет и не может предать себя, т.е. доживающих и дописывающих свой век белых ворон.

Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

А.Р. «В двадцатом веке демократия неизбежно приведет к господству в литературе людей ограниченных, мелких, и в литературном отношении — пошлых» (Стендаль). И привела. Большая литература всегда элитарна. Никакой «демократии» в ней нет, лишь иерархия и избранничество. А публика, как известно, дура. Скажи ей раскрасить себя, она раскрасит (хотя через 10-15 лет захочет содрать эту гадость вместе с кожей). Скажи проколоть лицо и тело, проколет. Скажи заткнуть уши антимузыкой и зашорить глаза мобильниками — исполнит. Скажи кричать «Хайль Гитлер!» или «Вперед к победе коммунизма!», станет кричать, со слезами на глазах. Самый страшный зверь — это толпа. Эта она орала: «Распни Его». И если говорить о «массе», то сегодня ее залили серым потоком рыночного суррогатного чтива, и она довольна, покупает, жует, потребляет. Пустышка Гарри Поттер убил Маленького принца и загадил детские годы Багрова внука. Эпоха вырождения цветет и пахнет. Но пройдет и это, как прошел Рим. «В начале было Слово». Будет Оно и в конце.

Евсей ЦЕЙТЛИН

/ Чикаго /



Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Евсей Цейтлин. Начну тоже с вопроса — на первый взгляд, странного: какой смысл мы вкладываем в понятие «современная литература»? Уже давно подмечено: сейчас параллельно и, в сущности, независимо друг от друга существуют несколько литератур на русском языке. Одна — у всех на виду — представлена в столичных российских журналах и обильно поощряется многочисленными литпремиями. Другая бурно функционирует в Интернете. Третья — увы, почти не замечаемая критикой — живет в эмиграции. Оборву перечисление. Потому что хочу говорить только о литературе эмиграции — вечной золушке на чужом балу. С русским языком у нее, слава Богу, все в порядке. Когда-то советские литературоведы угрюмо отмечали: в эмиграции русский язык как бы застывает — без подпитки «из кладезя народной жизни». Исключение, подтверждающее правило, делалось только для нескольких классиков: они будто бы увезли богатства языка, точно горсть родной земли, в скудном багаже изгнанника. А сейчас — откройте книги Дины Рубиной, Григория Кановича, Владимира Порудоминского, Бориса Хазанова, Андрея Назарова, Игоря Ефимова: вас захлестнет порой причудливая, всегда живая стихия русской речи.

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

Е.Ц. Издатели, озабоченные количеством книжных продаж, уже долгие годы подталкивают писателя к жанру романа, который во все времена любит массовый читатель. И тут нередко возникают трагические коллизии: талант многих авторов вовсе не созвучен роману. Им, к примеру, ближе новелла, повесть или драма. Да и сам жанр романа часто видится в таких случаях с наивным простодушием: будто бы прежде всего роман предполагает подробные жизнеописания, лихо закрученный сюжет, бесстрашие правды, понимаемое как нагромо-

дение «мерзостей жизни». Между тем, как известно, настоящих романов написано не так уж много. Каждый из них — сложное и неповторимое архитектурное сооружение. В фундаменте каждого — собственная, авторская, философия человека и мира.

Ну, а какой же жанр, в самом деле, выходит на первый план? Еще в прошлом веке стало очевидно, как возросла в литературе роль документа, который часто выполняет функцию художественного образа. Вспомню хотя бы книги Дос Пассоса, Юрия Тынянова, Макса Фриша...

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

Е.Ц. Если забыть об истории литературы, в реальной читательской жизни такое разграничение условно. Перечитываю блистательную Дину Рубину, классика современной прозы. У меня стоят на одной полке, рядом, том Василия Розанова и «Фрагментарий» — замечательная книга розановского ученика, нашего современника, русско-французского писателя и философа Николая Бокова. Неизменно возвращаюсь к роману Сергея Юрьенена «Вольный стрелок», восхитившему меня много лет назад. Сравнительно недавнее читательское обретение, с которым не расстаюсь, — своеобразные рассказы Ирины Чайковской о русских писателях девятнадцатого века. И еще одно имя: Владимир Порудоминский — большой, смело продолжающий традиции классики, так и не открытый критикой прозаик.

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

Е.Ц. Электронные СМИ уже незаменимы. Труднее вопрос: что дают нам социальные сети? Часто — мнимое содружество, мнимый диалог. Иногда мне кажется: социальные сети оглушают нас. Заглушают тихий голос Бога.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

Е.Ц. Сегодня общение писателей в эмиграции стало, по моему, редкостью. Где сейчас «литературная среда»? Где традиционные центры русской эмиграции, существовавшие когда-то в Париже, Праге, Берлине? Они практически исчезли. В том числе и в США. Давно перестали объединять писателей, которые живут в разных странах, многочисленные эмигрантские журналы.

Признаюсь: с годами все чаще предпочитаю общаться с коллегами по телефону. В этом есть одно неоспоримое преимущество: голос, как и душа, к счастью, не стареет.

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

Е.Ц. Приехав в Чикаго в середине девяностых годов, я с удивлением и радостью насчитал в городе 21 магазин русской книги. Пять из них располагались совсем близко от моего дома. Как ни странно, у каждого магазина было свое лицо. В одном продавались последние новинки, доставленные из Москвы самолетом. Хозяйка другого, выпускница Литинститута, не думая о собственной прибыли, заказывала российские и переводные книги, пронизанные духом эксперимента. В третий покупателей притягивали монографии по искусству и альбомы репродукций художников. Однако уверен: самым удивительным был Дом русской книги. Здесь среди картин и гравюр, собраний сочинений, множества редких изданий вас всегда ждали неожиданные находки. И почти о каждой книге вдохновенно, словно читая стихи, рассказывал, если у вас было настроение спросить, гостеприимный владелец этого праздничного царства, писатель и режиссер из Одессы Илья Рудяк. Я часто приходил «на огонек» Ильи Эзравича: поговорить, подышать особым воздухом — нет, не книжной пыли, воздухом русской культуры. Кстати, сюда так любил приезжать великий книголюб Евгений Евтушенко.

Все эти магазины, как говорят на Западе, давно вышли из бизнеса. Их хозяева, в основном наивные идеалисты, разорились. Сейчас книги на русском продаются в Чикаго в трех киосках: один примостился в «русском гастрономе», два — в «русских аптеках».

Конечно, постоянно закрываются и американские книжные магазины. Дворцы в несколько этажей, куда человек нередко приходит на целый день. Книги и журналы здесь можно не только смотреть, но и читать. Здесь можно выпить с друзьями кофе, даже перекусить. И снова отважно путешествовать по книжному морю. Только вот путешественников становится все меньше.

Уезжая в эмиграцию, я с болью прощался со своей библиотекой, которую с не понятной мне самому страстью собирал с двенадцати лет. Разумеется, эти чувства испытали многие. А сейчас мы с горечью прощаемся с Читателем Книги. Он уходит с пугающей быстротой. Мне все чаще кажется: эмигрантские издания читают только их авторы.

Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

Е.Ц. Роль литературы в сегодняшнем мире ничтожна мала. Но должно ли нас это огорчать? Вряд ли. Гораздо хуже, когда литература становится «учебником жизни». Конечно, писатель помогает человеку понять мир и самого себя, свое предназначение на земле. Однако то же самое по-своему делают философия, психология, а главное — религия. Литература же — это, прежде всего, волшебная «игра в бирсер»: в нее играют немногие. Что ж, пусть такой и остается.



Марина ПАЛЕЙ

/ Масслэйс, Нидерланды /

Борис Марковский. *Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?*

Марина Палей. Мертвечина, силиконовая подделка — или слог выгребных ям.

Б.М. *Какой жанр, на Ваш взгляд, сейчас ведущий в литературе и почему?*

М.П. Спортлото. Игра в напёрсток. Слоган.

Б.М. *Кого Вы перечитываете — классиков или современников?*

М.П. Классику. Документальные тексты.

Б.М. *Что для Вас электронные средства информации? Что дают Вам социальные сети?*

М.П. Всё.

Б.М. *Общаетесь ли Вы с коллегами, с литературной средой? И каким образом — лично, виртуально, на фестивалях, выступлениях и др.*

М.П. Нет.

Б.М. *Что Вы можете сказать по поводу следующей триады: Писатель — Книга — Читатель?*

М.П. Писатель — частное лицо. Книга — электронная. Читатель — из ближайших знакомых.

Б.М. *Каковы роль и место художественной литературы в современном массовом обществе?*

М.П. Нулевое.

Татьяна ЖИТКОВА

/ Рига /



* * *

Не спрашивай меня,
Как пишутся стихи,
Как льётся их мотив
Из дальнего пространства.
Я только пианист,
Слова мои легки,
Когда бегут они
Из-под озябших пальцев.

Я только музыкант.
Над таинством строки,
Едва услышав звук,
Настраиваю лиру
И ритм её, и такт,
И свет из-под руки,
И радость волшебства
Незримого эфира.

Струна моя — душа —
Чуть слышно зазвонит
И будет снова пир,
И будет ночь в изгнание,
И будет воздух свеж,
И будет чист мой лист,
Когда придёт твой зов,
Стихов моих создатель...

* * *

Он меня отведёт в пустыню,
К раскалённым её пескам,

Где от жажды все жилы стынут,
Где стук сердца прильёт к ушам.

Там, пронзая мои потоки,
Прожигая тоску и тлен,
Пробивают другие токи,
Поднимают меня с колен.

Я в пустыне живу безлюдной,
Безголосой и вневременной,
Как же стать мне Твоим сосудом,
И кого напоить водой?

Кто захочет прийти напиться
Из источника Твоего?
Тишина на сто вёрст струится,
Исчезает во тьме веков.

Где-то солнцем согреты травы
И открыт горизонт грозе.
Не отринь меня, Боже правый,
Дай пройти по Твоей стезе.

* * *

Я вышла из дома.
И путь был опять одинок.
И капли заката стекали
На нить окоёма.
Всё выше и выше,
Всё дальше иду на Восток,
И прошлая жизнь показалась
Совсем не моей, незнакомой.

Что там, впереди?
Не загадывай всё наперёд,
Лишь только прильни
К роднику у заветного камня,
И горстью воды
Оживив пересохнувший рот,
Услышь тишину
И нехитрый мотив, стародавний.

И став жёлто-красной,
Взлетит над горою заря,
Сплетаясь в клубок
И бросая лучи по карнизам.

Отвесные скалы лоснятся
И падают брызги
Седых водопадов
На почвы цветов янтаря.

Я вышла из дома,
Из тёплых, привычных мне стен,
Где каждый мотив
Убаюкивал звёздную память
И маятник бронзовый
Тускло поблёскивал гранью,
И стрелки часов
Удлиняли невидимый плен...

* * *

Я заблудилась в жаркой той Москве
И на мосту стояла Патриаршем.
И солнце било метко, колко, страшно
По людям, водам, зданьям и листве.

И в этом буйстве света и огня
Вдруг чей-то Лик взошёл над колокольной,
И стало вмиг легко в Первопрестольной
И на Руси, и в сердце у меня.

Я долго шла, теряя счёт страниц
Каких-то улиц, удушавших зноем...
И только в храмах каменно-спокойных
Дышала жизнь и возносилась ввысь.

ЛЕТО

Исцеляло утро светом,
Утомлял и нежил полдень,
Вечер в узелок заветный
Лучик солнечный продёрнул.
Воздух пах стихами, мятой,
Грезил тучкой громовою.
А по горочке покатою
Кони двинулись в ночное.

* * *

Между чёрным и белым,
Между небом и адом
Наши души и нервы,
Как в дыму канонады.

Бег за счастьем — не слышен,
Бег за смыслом — не виден,
Может, кто-то и выжил,
Но остался невидим.

Между чёрным и белым,
Между небом и адом
Мы живём и не верим
В то, что верить так надо.

Наши души — в полёте,
Наши нервы — в разрыве.
Мы забыли: на взлёте
Нам пророчили крылья.

Нам сказали: вы — боги,
Оказалось — не люди.
Так малы и убоги
Наши мысли и судьбы...

Наши мысли — снаряды,
Наши судьбы — страданье,
Мы изгоями стали
На краю мироздания...

* * *

В ласковых сумерках чувств,
В мороке злых страстей
Дом сокровенный пуст,
Сердце ещё пустей.

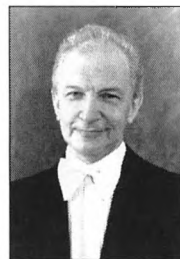
В небе течёт рекой
Звёздное молоко —
Вот бы достать рукой,
Вот бы вздохнуть легко,

Вот бы навек стряхнуть
Тяжесть земных надежд,
Не потерять свой путь
Средь торжества невежд.

Вот бы откинуть вниз,
Сквозь паутину уз,
Образ недобрых лиц,
Шёпот лукавых уст...

Артур ШТИЛЬМАН

/ Нью-Йорк /



ИСААК СТЕРН В МОСКВЕ¹

В конце 1940-х и начале 1950-х годов XX века на мировую эстраду вышел американский скрипач Исаак Штерн. В 1956 году, он, уже всемирно известный артист, посетил Москву, положив начало вместе с Давидом Ойстрахом культурному обмену с США.

Надо сказать, что все ожидали события из ряда вон выходящего. Впервые за многие годы Москву посещал один из самых знаменитых в то время американских скрипачей — Исаак Штерн, на афишах так и было напечатано. Звёзды мирового скрипичного мира посещали столицу СССР с постоянной регулярностью — раз в 11 лет! Вряд ли можно объяснить, почему так происходило, но факт тот, что первым известным мировым виртуозом, посетившим Москву после Революции — в 1923 году — был венгерский скрипач Жозеф Сигети, вспоминавший в своих мемуарах, что играл ещё в присутствии самого Ленина, в антракте Съезда Советов.

Вторым скрипачом с мировой известностью был Яша Хейфец, названный многими критиками «Королём скрипачей», посетивший Москву единственный раз в 1934 году. Ещё через 11 лет в столице выступал другой всемирно известный скрипач — Иегуди Менухин, прибывший в Москву в декабре 1945 года. Не прошло и полных 11 лет, как в Москве должен был выступить Исаак Штерн, выступление которого с таким нетерпением ожидала публика в тот вечер — 3 мая 1956 года. (Вскоре стали говорить и писать «Штерн», что соответствует английскому произношению фамилии Штерн).

Позднее стало известно, что Штерн отказался от услуг конференсье, по московской традиции объявлявшего перед выходом любого артиста: «Выступает такой-то и такой-то!», — как будто и без того не

¹ Глава взята из книги Артура Штильмана «Великие и знаменитые скрипачи XX века». Книга выходит в издательстве «Алетейя» в 2017 г.

было ясно, для чего собралась публика и кого она будет слушать. Он также попросил убрать микрофоны, так как трансляция была бы нарушением его контрактов с радиокомпаниями Америки и Европы.

В своей книге «Мои первые 79 лет» Стерн вспоминает с большим волнением свой московский дебют. Всё для него и его аккомпаниатора Александра Закина было вновь — Первомайский парад на Красной площади, Большой Театр. Наконец Большой Зал Консерватории, люди, улицы, тёплая встреча в гостинице «Москва» с Давидом Ойстрахом и его сыном Игорем, ожидавшим в вестибюле его прибытия 3 часа — с икрой и шампанским! И Стерн и Закин прекрасно говорили по-русски, и таким образом, открытие нового для них мира было волнующим вдвойне...

* * *

К удивлению публики, до предела заполнившей Большой Зал московской Консерватории, исполнив свою программу и сыгравши на «бис» четыре пьесы с триумфальным успехом, Исаак Стерн обратился к публике по-русски!

Оказалось, что и он родился в России, точнее на Украине в 1920 году в местечке Кременец. В полуторагодовалом возрасте родители увезли его в США. Так как он никогда не посещал школу, с детства посвятив себя занятиям на скрипке, то прекрасно говорил по-русски, находясь большую часть времени в своей семье. Концерты Стерна произвели на советских скрипачей и вообще всех музыкантов неизгладимое впечатление.

Стерн учился частным образом около 10 лет у известного русского скрипача Наума Блиндера (1889–1965), преподававшего в Сан-Франциско и бывшего также концертмейстером местного симфонического оркестра. Сам Блиндер, согласно некоторым источникам, учился у Рувима Фидельмана в Одессе, после чего, недолго пробыв в классе Ауэра, уехал в Англию, где в Королевском колледже Манчестера занимался под руководством Адольфа Бродского, первого исполнителя Концерта для скрипки Чайковского. После окончания образования в Манчестере, Блиндер вернулся назад в Россию, где преподавал в Московской Консерватории с 1920-го по 1927 год. Уехав в Турцию на гастроли, Наум Блиндер больше не вернулся в СССР и после довольно долгих странствий осел, наконец, в Сан-Франциско. По свидетельству музыкантов, слышавших игру Блиндера в России, Наум Самойлович обладал роскошным скрипичным тоном редкой красоты.

Таким образом, даже выросший в США Исаак Стерн также оказался наследником традиции звукоизвлечения того же самого типа, которая приводела в ярость Эмилия Карловича Метнера и его единомышленников. Обладал ли Исаак Стерн тем мистическим компонентом «еврейского звука»? Безусловно обладал. Но не только этим он покорила сердца москвичей в 1956 году, а до того и любителей музыки всего мира.

Стерн обладал мощным магнетизмом, вовлекая слушателей в сопереживание с ним исполняемого сочинения, не делая, казалось, для этого ни малейших усилий. Дар увлекать публику дан многим талантливым артистам, дар завораживать публику в сопереживании музыки вместе с её «вторым рождением» под пальцами артиста — дан избранным.

На том памятном концерте Стерна 3 мая 1956 года исполнялась знаменитая пьеса Эрнста Блоха «Баал шем», в России более известная как «Нигун» («Напев»). Пьеса действительно основана на нескольких, соединённых в единое целое, древнееврейских напевах. Говорят, что одному из этих напевов уже 3000 лет. Пьеса эта, начиная с середины 1940 годов была в СССР практически исключена из репертуара солистов и всех консерваторских программ.

Забавный эпизод произошёл на следующий день после этого исполнения, но уже во второй приезд Стерна в 1960 году. В консерваторский класс проф. Д.М.Цыганова вошёл профессор его кафедры М.Б.Питкус, полный впечатлений о взволновавшем всех накануне исполнении Стерном «Баал Шем» Блоха. Ему захотелось поделиться своими чувствами: «Дмитрий Михайлович! Вчера Стерн сыграл так по-еврейски Блоха! Я прямо ночь не спал!». Цыганов всегда, вне узкого круга, старательно обходивший все еврейские темы, возразил ему: «Михаил Борисович! Я с вами совершенно не согласен! Это, понимаете ли общечеловеческая, библейская трагедия!» «Ну, а я о чём говорю?» — спросил профессор Питкус, глядя на Цыганова в недоумении поверх очков.

Далее Стерн писал: «Мы закончили программу бравурным «Полонезом» Венявского, принятым взволнованными, теперь уже окончательно дружескими аплодисментами. Это был случай редкой теплоты, которую я испытывал во время моих выступлений, а также как мне казалось, сигналом того, что публика хотела слышать иные стили интерпретации, уйти от только лишь виртуозного начала к большим тонкостям фразировки, нюансов, «длинным» фразам медленных частей музыки Брамса, к светлой сладости Моцарта, импрессионизму Шимановского, элегантности, веселью и блестящей лёгкости виртуозных сочинений...»

Исаак Стерн, не только был, по выражению Пабло Казальса «счастливым наследником лучших качеств своих великих предшественников — Сарасате, Изаи и Крейсlera», но и обладал даром выдающегося интерпретатора Баха, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Бруха, Брамса, а также и сочинений современных авторов — Бартока, Стравинского, Прокофьева, Бернштейна. Свой необычайный талант и чувство единения с еврейским народом Стерн ярко выразил в исполнении музыки к фильму «Скрипач на крыше» (мюзиклу, поставленному в 1971 году по новелле Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» и получившему кажется все возможные кино-награды Америки). Он вписал своё имя в историю исполнительских искусств

и как выдающийся общественный деятель Америки и Израиля. Для талантливой израильской молодёжи ему удалось основать специальный «Американо-израильский культурный фонд». В США он стал во главе комитета по спасению от сноса национального памятника культуры — Карнеги-Холл.

* * *

Итак, в тот вечер 3 мая 1956 года, концерт в Большом Зале Московской Консерватории начался не совсем обычным образом — можно сказать, он никак не начинался. Наконец, где-то в 8 часов 20 минут на эстраду вышли рабочие сцены и унесли микрофоны, приготовленные для трансляции концерта. Публика терпеливо ждала, хотя один раз начались стихийные аплодисменты, что означало в те годы признаки некоторого нетерпения.

Наконец открылась дверь на эстраду, и... это был выход артиста, пожалуй, никогда ещё невиданный в Москве! На эстраду вывалилась толпа фото и кинорепортёров Европы и Америки, окруживших артистов, снимая их выход на эстраду, публику, зал, — ещё и ещё раз! Это, понятно, придавало ещё более сенсационный характер предстоящему выступлению. Наконец репортёры и операторы удалились, Стерн поднял руку со смычком, и глядя в зал ждал, пока публика успокоится и можно будет начать играть... Через несколько секунд он начал.

Первые же звуки Сонаты Генделя для скрипки и фортепиано возвестили о музыкальном чуде — известная даже ученикам музыкальных школ пьеса, явилась откровением свыше — величие духовности музыки заставило затаить дыхание всего зала — и профессионалов и любителей музыки, которым посчастливилось быть свидетелями этого невероятного события...

Что кардинально отличало игру Стерна от всех скрипачей, слышанных нами до того? Несравненная одухотворённость и проникновенность его исполнения, доходившие до сердца каждого слушателя, базировались на его волшебном смычке. Но не на самом смычке, конечно, а на владевшей им правой руке артиста — смычок его казался бесконечно длинным, музыкальная фраза лилась непрерывно, гибко меняя настроение и оттенки, завораживая публику бездонной глубиной льющейся с эстрады музыки, заставлявшей совершенно забыть о самом исполнителе. Естественно, что Стерн продемонстрировал абсолютное совершенство во владении всеми видами техники и левой руки: огромный диапазон различных видов вибрации — от достаточно медленной в музыке Генделя и Баха, до взволнованно-экспрессивной в пьесах драматического и романтического характера, которая никогда не переходила, однако, в неконтролируемую и однообразно мелкую и быструю, что часто было свойственно в те годы даже известным советским скрипачам.

Это абсолютное совершенство во владении всеми видами техники заставляло нас забывать и о технике, и о скрипке, и о самом артисте — мы, казалось, слушали музыку в её первозданном виде.

Успех после исполнения первой пьесы был таким, что Стерну понадобилось опять некоторое время, чтобы восстановить тишину в зале.

После исполнения двух частей из Сонаты №1 И.С.Баха для скрипки соло Стерн и Закин исполнили Сонату Брамса №3 ре-минор. Можно с уверенностью сказать, что до этого выступления наше поколение никогда не слышало это сочинение в подобной интерпретации. Грусть, меланхолия, любовь, драматические взлёты и мистические эпизоды — всё было взаимосвязано так естественно, как будто музыка была сочинена в этот момент — при нас... Как говорил впоследствии сам Стерн: «Эту музыку следует не сыграть, а прожить». Медленная часть Сонаты достигала таких вершин драматизма, что становилось страшно, в прямом смысле этого слова, от несказанной глубины трагизма, создаваемых лишь одной скрипкой и фортепиано. Мы поняли со всей ясностью, что никогда не предполагали, что такое возможно сделать на скрипке... Это открытие для большинства из нас, тогдашних студентов Консерватории, стало великим стимулом для постижения музыки, самих себя и полной переоценке скрипки, как инструмента истолкования музыки, как инструмента для музыки, а не для приспособления её для наилучшего показа виртуозных качеств скрипача. В тот вечер, после окончания первого выступления Стерна, А.И. Ямпольский, один из основателей советской скрипичной школы, сказал своей ученице Леонарде Бруштейн: «Стерн показал нам совершенно новый подход к скрипке, как инструменту интерпретации, стилям, репертуару, совершенно новому пути индивидуального артистического самовыражения. Нам следует многое изменить и переосмыслить...»

Если один из патриархов советской скрипичной школы был под таким впечатлением от выступления Стерна, что уж было говорить о нас, студентах...

Но вернёмся снова в зал, на второе отделение этого незабываемого вечера. После перерыва Стерн и Закин исполнили Сонату для скрипки и фортепиано Аарона Копленда. Музыкальный язык этого сочинения был очень далёк от большинства слушателей, и оставил их вполне холодными. Аплодисменты были не более чем данью вежливости. Современная музыка в СССР только ещё выходила на сцену после начавшейся в 1954 году послесталинской оттепели. С начала 1930 годов сочинения современных западных композиторов практически не исполнялись. А ведь до 1932 года исполнялись, и широко, все новинки скрипичной, фортепианной, камерной, симфонической музыки ведущими солистами, квартетами, дирижёрами... Стерн, как исключительно чувствительный артист и человек немедленно ощутил это. На встрече в Союзе композиторов, как он рассказал об этом в своей книге, он попросил внимания членов Союза к исполненной Сонате Копленда, которую как видно, любил.

«Постарайтесь, — попросил он, — по крайней мере, понять это сочинение, понять его язык. Я не прошу вас любить его, но только попытаться понять».

Следующим номером программы было Рондо Моцарта-Крейслера. Всё снова стало на свои места — восторгам публики не было предела! Мы ещё не знали, что Стерн был одним из самых гениальных исполнителей музыки Моцарта в XX веке. Снова тонкость фразировки, чувство формы, предельная законченность, блестящие короткие трели, поразительная смена настроений — всё это опять блестело и сверкало!

А затем произошло уже событие внутри события — исполнялась знаменитая пьеса Эрнста Блоха «Баал шем», в России более известная как «Импровизация» или «Нигун» («Напев»). Пьеса действительно основана на нескольких, соединённых в единое целое, древнееврейских напевах и написана в импровизационной форме, в целом очень напоминающая по своему характеру синагогальное канторское пение. Повторю, что пьеса эта игралась всеми всемирно известными артистами и рядовыми скрипачами, постоянно включалась в концертные программы, но, начиная с 40-х годов, была в СССР практически исключена из репертуара солистов и всех консерваторских программ.

В исполнении Стерна она звучала совершенно непостижимо. Да, музыка увлекала своим импровизационным жаром, огромным драматическим пафосом, но подойдя к концу, Стерн вдруг стал играть таким пиано и чистейшим, светлым серебристым звуком, что конец пьесы уходил куда-то вдаль, в вечность... Казалось, что он в шестиминутной пьесе рассказал историю своего народа, о трагедиях им пережитых, о его единении с Богом, о вере, уходящей вглубь веков и снова в необозримое будущее новых поколений... Впрочем, каждый может представлять себе это сочинение в соответствии со своим воображением и эмоциональным складом. Конечно, мы не знали, что Стерн вероятно лучший исполнитель этой пьесы и играл её сотни раз на самых известных эстрадах мира вокруг всего света...

...После исполнения стояла какая-то странная тишина. Несколько секунд никто не мог аплодировать. Потом сразу грянула такая овация, что мы все, кажется вместе с исполнителем, вернулись на землю! Овация продолжалась долго, долго...

Вот что написал сам Стерн в своих воспоминаниях о том исполнении в Москве: «Эта грустная и драматическая композиция принесла слушателям много воспоминаний о других временах и других местах (их жизни — А.Ш.), о людях, которых они знали или о своих близких...Реакция была исключительной: в нескольких рядах, прямо передо мной, некоторые люди открыто всхлипывали, другие сидели в глубокой и серьёзной задумчивости — их мысли ясно отражались на лицах...

Мы закончили программу бравурным «Полонезом» Венявского, принятым взволнованными, теперь уже окончательно дружескими ап-

лодисментами. Это был случай редкой теплоты, которую я испытывал во время моих выступлений, а также как мне казалось, сигналом того, что публика хотела слышать иные стили интерпретации, уйти от только лишь виртуозного начала к большим тонкостям фразировки, нюансов, «длинным» фразам медленных частей музыки Брамса, к светлой сладости Моцарта, импрессионизму Шимановского, элегантности, веселью и блестящей лёгкости виртуозных сочинений...»

Стерн совершенно правильно ощутил реакцию московской публики, заполнившей в тот вечер Большой Зал Московской Консерватории. Он не знал лишь одного: в последней пьесе — «Полонезе» Венявского — у него был сильнейший конкурент — Давид Ойстрах, запись которого с оркестром звучала в течение многих лет по радио. В эти годы это была, пожалуй, лучшая пьеса репертуара Ойстраха, действительно исполнившего её с исключительным блеском, шармом и элегантностью. Стерн, как и всё, что он играл, исполнил «Полонез» по-другому, но слушатели получили такое же удовольствие от его интерпретации, как и от всей программы.

На «бис» были исполнены четыре пьесы: «Прекрасный розмарин» Фрица Крейсlera, «Адажио» Гайдна из Концерта для скрипки до-мажор, «Сентиментальный вальс» Чайковского и «Хора-стаккато» Динику. Первый бис — пьеса Крейсlera, снова впечатлила оригинальностью и самобытностью трактовки Стерном этой столь популярной и знакомой миниатюры по авторской записи самого Крейсlera. Адажио Гайдна подтвердило те качества звука Стерна, которые так ярко были проявлены в сонатах Генделя и Брамса. Весь виртуозный блеск игры румынских народных скрипачей был стилистически тонко претворён Стерном в исполнение пьесы Г. Динику «Хора-стаккато». Некоторые изменения текста, сделанные совместно с пианистом Закиным, привели публику в невероятный восторг! Длинные, быстро и эффектно затихающие «глиссандо», блестящее стаккато вверх и вниз смычком, словом вся виртуозная лёгкость головокружительной техники служили воспроизведению яркой картины народного веселья. После этой пьесы весь зал преисполнился таким энтузиазмом, что Стерну пришлось попросить тишины для своего, теперь уже после-концертного, слова. Он, к удивлению слушателей, заговорил по-русски, сказав, что очень взволнован таким сердечным и тёплым приёмом, и что впереди ещё будет много концертов, а потому он вместе со своим пианистом просит прощения за то, что сегодня играть уже больше не может. Конечно и этот короткий спич, да ещё по-русски, вызвал новую овацию.

* * *

Надо сказать, что такой сенсационный успех Стерна ничего не имел общего с политикой или выражением симпатий американскому музыканту. Публика лишь оценила личный вклад артиста в данном

концерте данного исполнителя. Сам Стерн впоследствии часто говорил, что запомнил и хранил в своём сердце «образ России, оказавшей ему такой незабываемо тёплый приём».

С этого концерта началось рождение легенды, потому что всякий артист, которого полюбили в Москве, очень скоро начинал приобретать легендарные черты. Но впереди были ещё другие выступления скрипача, в том числе и с оркестром. Во втором концерте Стерн выступил с исполнением Концерта Моцарта №3 и Концерта Брамса. Последний концерт принадлежит к вершинам скрипичной литературы и, как и Концерт Бетховена является мерилom исполнительского мастерства и искусства интерпретации. После первой репетиции с Госоркестром и дирижёром Кондрашиным музыканты рассказывали, что, пожалуй, за свою долгую артистическую жизнь подобного подхода к Брамсу и Моцарту не слышали. А ведь с этим оркестром выступали все приезжавшие иностранные гастролёры и лучшие отечественные скрипачи.

На репетиции, как обычно, никого не пускали. Когда же нам довелось услышать Стерна с оркестром снова в Большом Зале Консерватории, то опять, как и на его первом выступлении, мы познакомились с чем-то абсолютно отличным от привычных нам исполнений. Стиль исполнения каждого концерта настолько разнился, что, казалось, они были сыграны двумя разными скрипачами.

Интерпретация Концерта Моцарта отличалась удивительной тонкостью фразировки, стилистической филигранностью и технической чистотой, делая исполнение каждой ноты и каждой фразы совершенно незабываемым. Концерт Брамса был исполнен в традиции, принятой на Западе и называемой «Академическим романтизмом». Почему «академическим»? Потому что романтизм музыки этого концерта в исполнении Стерна нёс печать благородной сдержанности темпов, особенно первой части: Стерн нигде не затягивал, но и нигде не убыстрял темпов, обозначенных композитором. Интерпретация несла печать возвышенной глубины и строгого благородства. Всё было доиграно в той мере времени, которую так тонко ощущал Стерн, доставляя своей игрой трудно описуемое удовольствие всем слушателям вне зависимости от их уровня знания музыки.

В целом можно было подытожить впечатление от игры артиста в нескольких словах: слушатели после концертов Стерна уходили домой обогащёнными духовно и эмоционально, познав совершенно новые грани музыки великих композиторов. Исключительный артистизм Стерна и высочайшая культура владения скрипичным звуком, позволяли ему, по крылатому выражению Станиславского, «умирать в образе», то есть «растворяться» в музыке, заставляя нас опять забывать о самом присутствии скрипача, как будто — надо повторить это снова — музыка лилась сама собой.

Но разве не было замечательных отечественных скрипачей? — справедливо спросит читатель. Конечно, были. Это, прежде всего,

были три лучших исполнителя Концерта Брамса, жившие в Москве — Давид Ойстрах, Игорь Безродный, Леонид Коган. Все трое, несомненно, обладали своими индивидуальными качествами, которые они претворяли в своём исполнении Концерта. Их отличало от Стерна самое основное — они ощущали этот концерт скорее, как виртуозно-романтический. Это было красиво и увлекательно, пока длилось само исполнение, но всё же оно не достигало философской глубины сочинения, именно стиля академического романтизма. Справедливости ради надо сказать, что в те годы в Москве только этим трём скрипачам и разрешалось исполнять этот концерт с оркестром. Кем? Редакцией концертных программ Московской Филармонии. Мало кто сегодня помнит, что было ещё несколько скрипачей международного класса, которым этот концерт с оркестром играть не разрешалось. Не по чину...

Это были Борис Гольдштейн, Рафаил Соболевский, Нелли Школьникова. Борис Гольдштейн исполнил этот концерт в ноябре 1952 года в Зале им. Чайковского, после чего ему не давали возможности играть это сочинение в течение последующих 7–8 лет! Так что в какой-то мере интерес к искусству Стерна родился на благоприятной почве...

В общей сложности Стерн сыграл в Москве 8 концертов. Из них пять с оркестром и три с фортепиано. После концертов в Ленинграде, Киеве, Баку, Ереване и Тбилиси, Стерн вернулся в Москву для последних концертов, которые состоялись 29 и 30 мая. В свободное время он посетил Московскую Консерваторию по приглашению Ойстраха. Второй встречей со студентами был бесплатный концерт для учеников и педагогов музыкальных школ Москвы и студентов Консерватории. 29 мая — в день своего предпоследнего концерта (после 4-х часовой репетиции с оркестром и перед вечерним концертом!) Стерн сыграл Концерты Баха, Мендельсона и Бетховена, и на «бис» 2-ю и 3-ю части Концерта Бруха, проведя за этот день в общей сложности 8 часов на эстраде Большого Зала! У Стерна было щедрое сердце!

Вот воспоминания Стерна о посещении класса Ойстраха: «Ойстрах просил меня придти к нему в класс, чтобы прослушать его студентов. Несколько самых подвинутых студентов были им отобраны для этой встречи. Пьесы, которые они выбрали, должны были показать все их технические возможности. Ойстрах потом попросил меня прокомментировать их исполнение. Я выразил мнение, что на некоторые музыкальные ценности исполненных пьес им следовало бы обратить внимание. Меня тронуло, что Ойстрах сказал на это: «Вы видите? Это то, о чём я вам говорю всё время! Теперь вы мне должны верить!»

«Было нелегко заставить студентов ответить на мои прямые вопросы, — продолжал вспоминать Стерн, — они были стеснены, зажаты, и скованы моим присутствием. В то же время они стремились буквально и точно понять мои советы. Во время обсуждения одной фразы в пьесе, исполненной студентом, я взял его скрипку, чтобы показать

ему то, что я имею в виду, после чего Ойстрах попросил меня поиграть для его студентов с находившимся здесь пианистом его класса. Я это сделал, а потом пригласил Ойстраха присоединиться ко мне и сыграть Концерт Баха для двух скрипок. Мы сыграли вдвоём; во время исполнения открыли двери и толпа студентов слушала нас в коридоре... Была полнейшая тишина и никаких звуков, кроме музыки...».

После открытого концерта для студентов, начавшегося в 4 часа дня, (сыгранным, как уже было сказано, после 4-х часовой репетиции с оркестром и перед вечерним концертом в тот же вечер!), он ответил на вопросы студентов, подготовленные заранее в письменном виде. Вопросы читал сам ректор Консерватории А.В. Свешников.

«Вопросы, заданные мне студентами, ничем не отличались от вопросов студентов Рочестера, Канзас-Сити или Монреаля: о моём музыкальном образовании, о моей системе занятий, американских скрипачах, которых я знаю... В завершение встречи три молодых женщины-студентки, жёны трёх известных советских скрипачей, преподнесли мне три букета цветов. Позднее мне принесли подарок от студентов — большой пакет грампластинок с записями Давида и Игоря Ойстрахов, Гилельса, Рихтера, Ростроповича, русских опер, Симфоний Шостаковича, — всего более пятидесяти пластинок. Целое богатство — коллекция русских долгоиграющих записей!»

Стерн рассказал студентам, что он «учился 10 лет у русского скрипача Наума Блиндера», и потом больше не занимался ни у кого. Сказал несколько слов о Натане Мильштейне, Иегуди Менухине, Яше Хейфеце, Мише Эльмане, добавив что «все эти знаменитые американские скрипачи — американские «идн» (идиш — еврей — А.Ш.). В зале раздавался смех тех, кто знал это слово... Главным было всё же его «музыкальное напутствие» молодым советским скрипачам. Он сказал, что лучше заниматься 2 часа с полной концентрацией, чем 6 часов при отсутствии действительных художественных целей. Он уже понял «ахиллесову пяту» советской скрипичной школы — «её главный упор на техническое совершенство, оставлявший в стороне первостепенные художественные цели стиля, фраз контроля над звуком...» Он ещё раз повторил: «Технический уровень молодых американских скрипачей достаточно высок, но это не всё. Они играют много камерной музыки, много музыки разных стилей и поэтому ставят своей главной задачей именно музыкальное начало...» Сказано было яснее ясного. Те из нас, кто понял это, потом благодарил Стерна всё свою творческую жизнь...

* * *

В советское время Стерн посетил Москву ещё дважды — в 1960 и в 1965 годах.

Он должен был приехать на несколько концертов — только в Москву — осенью 1967 года. «Я написал своему доброму другу Вла-

димиру Бони (Венедикт Александрович Бони, ответственный чиновник Госконцерта Мин. Культуры СССР — А. Ш.) о том, что с удовольствием снова приеду в Москву, но началась арабо-израильская шестидневная война», — вспоминал он. Стерн немедленно вылетел в Израиль. То, что он увидел на Западном берегу, Голанах и в Синае, произвело на него глубокое впечатление: сотни советских танков, грузовиков, тяжёлого оружия свидетельствовали об огромной поддержке Советским Союзом арабов в войне для уничтожения Израйля. Стерн играл в госпиталях для тяжело раненых солдат, обгоревших танкистов... Немедленный разрыв дипломатических отношений СССР с Израилем, анти-израильская пропаганда и выступления сов. представителя в ООН утвердили Стерна в невозможности его поездки в Москву. Он написал письмо В. Бони из Израйля о том, что его действия «продиктованы 20-летними личными и артистическими связями с Израилем, делающими невозможным мой визит в Москву в настоящее время».

К чести «доброего приятеля» Стерна — В. Бони, — приглашение от Госконцерта пришло через год снова — в 1968 году. И опять политические события сделали невозможным его визит. Как и большинство западных интеллигентов, Стерн осудил советскую интервенцию в Чехословакию и счёл поездку в Москву в то время неприемлемой.

Только в конце 80-х и начале 90-х годов Стерн снова посетил Москву с короткими визитами, которые, увы, уже не могли принести радости первых встреч, как из-за возраста артиста, так и из-за смены поколений. Новое поколение не могло, понятно, составить себе представления о его игре сорок лет назад. После перенесённого инфаркта и операции на сердце Стерн, увы, в целом больше не мог играть с прежним техническим блеском и эмоциональной интенсивностью.

И всё же... В 1994 году 74-летний Стерн дал концерт в нью-йоркском Бруклин-Колледже. Мне довелось быть на этом, одном из его последних нью-йоркских выступлений. Надо отметить, что и на этом концерте он сыграл несколько пьес, доставивших нам несказанное удовольствие и запомнившихся, как и в дни нашей первой встречи с его искусством в 1956 году. Это были «Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни» Ф. Крейсlera, и его же вальс «Муки любви». Игранная с детства всеми скрипачами мира «Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни» была исполнена Стерном так, что музыка напоминала скорее величие творений Баха, хотя в действительности была стилизованной пьесой, написанной в начале XX века. Вальс «Муки любви» с его ностальгической меланхолией, напоминавший о Вене начала XX века, остался в нашей памяти, как и те шедевры интерпретации, которыми он нас впечатлил навсегда во время своего первого московского визита.

После окончания программы я с моим другом, виолончелистом Альбертом Котелем, который знал Стерна по Израйлю со дня его первого приезда в страну в 1948 году, посетили Стерна в его артистической комнате. Котель был первым концертмейстером группы виолон-

челей со дня основания Оркестра Палестинской (ныне Израильской) Филармонии в 1938 году. Он играл с самого первого сезона с главным дирижёром Артуро Тосканини. В 1948 году Стерн провёл в Израиле длительное время. Начались бомбёжки арабской авиацией Тель-Авива. При мне возник короткий разговор: «А ты помнишь, Айзик, как погас свет во время налета, и мы играли Квартет Прокофьева при свечах?» — спросил Стерна мой друг. «Это я всегда помню» — ответил Стерн. Я в свою очередь напомнил ему о «революции», которую он совершил среди московских скрипачей в 1956 году. Внезапно он очень оживился и взволнованно сказал: «Спасибо, спасибо... А вы помните, как тонко я тогда играл?». Как видно воспоминание о том времени доставляло ему искреннее удовольствие.

Примерно через год, я снова зашёл к нему после его выступления с 5-м Концертом Моцарта, исполненным с оркестром Вестчестерской Филармонии. Стерн, вспомнив наш визит к нему в Бруклин Колледже, с удовольствием опять вспоминал Москву и тот незабываемый визит в 1956 году, который сыграл такую большую роль в музыкальных судьбах многих из нас. Он надписал мне фотографию с программы того самого концерта, висевшую у меня дома сначала в Москве, а потом в Нью-Йорке. Вспоминали людей ушедших к тому времени, в мир иной... Я рассказал о том, как мы с женой сидели на его концерте на одном стуле в Большом Зале Консерватории. Он рассмеялся и заметил: «Ну, вы всё-таки сидели, а я стоял весь концерт!» Это была его любимая шутка.

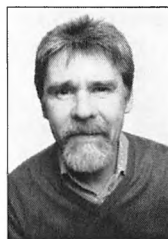
Исаак Стерн скончался в сентябре 2001 года, через десять дней после террористического налёта на Всемирный Торговый Центр. Все те дни он находился в госпитале без сознания. Он так и не узнал о трагедии, постигшей его любимый город.

В памяти нашего поколения он остался легендой нашей юности, да и всей нашей жизни. Быть может, только ещё один американский музыкант стал легендой XX века. Это пианист Ван Клиберн. Но это уже другая история.

Июль 2006 г. Нью-Йорк

Андрей ТОЗИК

/ Калининград /



* * *

Непохожим проснуться
на себя самого вчерашнего
глядя в зеркало не удержишь
тяжелый вздох что-то вроде
того как зима наступает внезапно
застигая всегда врасплох
смена красок точнее
отсутствие оных в природе
так посредством белил
и газовой сажи создаются
безжизненные пейзажи
сотворение мира
методом кражи пусты галереи
пусты вернисажи вчерашние
посетители грядущие персонажи
отправляются в странствия
в поисках истины — чаще
в поисках сигарет и тела
поглощая пространства
отражают небесный свет

* * *

север есть север и юг есть юг
отсутствие снега мороза и вьюг
вызывает зависть у гипербореев
живущих в краях где солнце не греет

где тоскливые песни поют как плачут
но чаще — молчат
и лишь дед Мазай выполняет задачу
по спасенью зайчат

* * *

Погода в этот день менялась трижды
зима была в начале и в конце —
опять завьюжило запырило — снегом
укрылся город и опять не зная
греха и грязи чистою страницей
сплошной строкой без препинанья знаков
висело небо за окном — так было
час или два а может полчаса
одно мгновение и голоса и звуки
пропали замерли погружены
в безмолвие — безгласность —
безглагольность
когда же наконец строенья шпили
троллейбусы и тени человечьи
вполне благополучно проявились
и город вновь обрел свои границы
и стал привычно сер —
вдруг стало — скучно...

* * *

Странный мир отражений
в неподвижной воде —
человеки — как тени — не оставят следа
от своих движений и автомобили
беззвучно несутся на крутом вираже —
в этом мире о звуках тоже забыли —
лишь плакучие ивы да купола
создают идеальный пейзаж — отчасти
похожий на призрачные миражи —
но случайная капля — слезы? — дождя? —
его взрывает — и мир дрожит —
распадаясь на части

ИСХОД

Пустыня была небольшой
и идти приходилось по кругу
лишь скупой пейзаж
да песок и ветер
заметая следы помогали ему
сохранить эту тайну
вечерами они разводили костры

спали тесно прижавшись
после скудного завтрака
подымали верблюдов
шли дальше и дальше
через много лет
когда не осталось
и капли воспоминаний о прежней
жизни они вышли к морю
и смеялись и плакали
словно дети —
только он не смеялся.
Поскольку всё помнил.

* * *

Я часть пейзажа обладающая речью
рекой без имени я протекаю мимо
холмов истории кремля и мавзолея
где дух мятежный до сих пор томится
в своей темнице
я протекаю мимо гастронома
универсама под названьем супермаркет
и мимо тех людей чей бизнес рэкет
но судя по всему они бандиты —
и мальчики кровавые в глазах
общественного мнения —
отныне
мой путь лежит в далёкие пустыни
где два лишь цвета только среди них
нет черного в помине и черта
привычного доселе горизонта
не режет надвое — где изобилье линий
но нет ни линии огня, ни линий фронта

* * *

Всю ночь лил дождь
и до утра горела лампа
на столе поскольку дождь
не унимался и ночь грозила
перейти минуя стадию рассвета
в очередное воскресенье
а где-то за полночь когда
уж досыта наговорились
вполне уместным было то
что дождь идёт не умолкая...

* * *

Туман можно было черпать руками
или глотать — совершенно бесплатно —
при движенье белесая тьма за нами
опускалась — о возвращенье обратно
не могло быть и речи — и речь сама
здесь была искалечена искажена
и огни фонарей расплывались вроде
сотни лун таких же фальшивых как эта
стена погружаясь в которую сигарета
гаснет, тоскуя о кислороде...

* * *

Любительница абсента
сидит за столом напротив
любительница абсента
предпочитает водку
поскольку это дешевле
а она не знакома с Пикассо
зато она знает прекрасно
где и почём фунт лиха
и килограмм мяса
а также буханка хлеба —
и глядит она в свою рюмку —
как в небо...

* * *

С неба падает вроде бы чистый снег
А на улице та же привычная грязь
Никуда не торопится вещей Олег —
Он устал воевать. Он сам себе князь.

И давно он дружину свою не кличет
Он устал от войны и устал от пира
Он давно уже понял что лишь увеличит
Движеньем своим энтропию мира.

Марина ВИКТОРОВА

/ Таллинн /



ДЕВОЧКА МУНКА, ПУБЕРТАТ

Субтилен верх, но силуэт налит.
Невинности сургуч — и взгляд и поза,
лишь нежной кожи свет-электролит
проводит тайну той метаморфозы,
которая должна произойти,
но чувственности трепетная птица
ещё в пути. Пока ещё в пути.
Торчат по-детски острые ключицы,
чем дольше смотришь, тем тревожней взгляд,
тем напряжённой сомкнуты колени,
приходит мысль в который раз подряд,
что тень первична. Из зловещей тени
незримой силой вытеснило в мир
испуганную девочку-подростка,
чья женственность — всего намёк, пунктир
в рождении портрета из наброска,
и только мотыльками бьётся страх
неведомой, но неизбежной доли
да скрытая мольба в её глазах
да мир вокруг, настоянный на боли.

СПАСИБО

Знаешь, вечер тянется в сентябре,
словно в детстве сжёванный «буббль гум»,
в нём ни слова правды о жизни нет,
вот сейчас пишу, а по-правде — лгу.

Лгу про всё, про чудный осенний лес —
уж лет пять, как след мой в лесу простыл,

в одиночку — страшно, с подружкой — бес-
компромиссно взорваны все мосты.

Интересно знать, отчего так вдруг?
У судьбы всегда в мышеловке сыр.
Я скажу тебе: всех моих подруг
заменял давно повзрослевший сын.

Это — крест на розе моих ветров,
это — гнев и милость в штормах норд-ост,
но душа к душе, и к нутру нутро,
а любовь и боль — в пуповинный рост.
Это — прозидипово колдовство,
с каждым днём сильнее пуповинный тяж,
вектор одиночества — статус-кво,
кладезь одиночества — камуфляж.

Сколько отпускала! Им несть числа,
городам его и дорогам... Бо,
пуповинный узел добра и зла
разруби для мальчика моего.

Он уже вполне оперился сам,
он готов крест несть из своих свобод,
раздувай, натягивай паруса,
обо мне не спрашивай, я — не в счёт.

СЛЕПЦЫ И СМОТРИНЫ

В этих чёртовых оболочках
Стёрты души до волдырей...

Я прошу тебя, Святый Отче,
посылай им поводырей,
тем, кто сердцем незряч настолько,
что вплотную не разглядеть,
как по осени стыдно-горько
обнажённой калиной рдеть.
Гроздей тяжкую переспелость
отпевают басы ветров,
не успеется — не успелось
заневеститься на Покров.
Будут ливни точить балясы,
омывая нагую статью...
Что потом?..
Обряжаться в рясы

да корнями в снега вмерзать.
Пьяных ягод ронять рубины
под глухой хохоток слепцов.
это — поздней любви смотрины,
не смотри, не смотри в лицо...

ПАРИЖСКАЯ РАПСОДИЯ

С Монмартра свет струился вниз, на крыши,
негромкий, мелодичный, мягкий свет,
хотелось быть счастливой и бесстыжей,
да так, как не хотелось много лет;
крутить парижских улиц хулахупы,
смеяться и трепаться ни о чем,
не опасаясь быть смешной и глупой,
касаться пальцев, чувствовать плечо.

Все знать, но зачарованность лелея,
вновь подставляя лицо семи ветрам,
и декупажно нежностью оклеить
все кадры с Сакре-Кер и Нотр Дам,

и замереть, приемля мимолетность,
простившись и за всё себя простив,
а после длить ту трепетную нотность,
что не сложилась в стойкий лейтмотив.

И пусть томит, пусть дольше не отпустит
в сиянии Монмартровских небес
рапсодия на коде послевкусья
из светлой грусти и из грусти без.

ХОЛОДНЫЙ ГОРОД

Умножались годы, люди, луны,
друг у друга в окнах отражаясь,
сколов крыш касался тонкорунный,
облачный уют небесной шали.

Так хотелось верить — потеплеет,
но сиял молочно-белой кожей
намертво остывший город Клее,
некогда на город мой похожий.

ДРУГУ

Желтизны почти не видно в кронах,
но вчерашний август закатился
перезрелым яблоком к затону,
тронув небо боком золотистым.

За окном полощутся пайетки
ветром разлохмаченного клёна,
пляшут человечки-статуэтки
на ещё живом, ещё зелёном.

Пляшут, пляшут... Это — в застеколье.
Там, где ты — другое и другие.
Там — круглогодичное застолье
у непроходящей ностальгии.

Кондиционер гоняет страхи,
остужая прошлое фреоном,
чей-то ямб сменяет амфибрахий,
и опять стихи, стихи — прогоном.

О минувшем. Проза разночтений.
Прогоркают давние надежды,
в переборе чьих-то изречений
ты то врозь с собой, то снова смежно.

Кто-то подойдёт, огня попросит.
— Нет, не жаль, курите на здоровье, —
и с улыбкой снова канешь в осень
зыбким светом, смешанным с любовью.

Сергей ЗЕЛЬДИН

/ Житомир /



БЕЗДНА ВНУТРИ НАС

Была зима. Сторож Хома Карлович сидел в сторожке, пил чемпионский чай и слушал радио.

Чемпионский чай делается так: берется в равных пропорциях одна ложка кофе, одна ложка чая, щепоточка соли и маленькая ложка варенья, желательно, клубничного. И, конечно, кипяток.

Хома Карлович раскопегарил печку и блаженствовал, раздевшись до кальсон. Было так жарко и хорошо, что какая-то муха ожила и поползла по столу.

— Ах, ты ж, малая шимазетка, — ласково сказал Хома Карлович и раздавил муху пальцем.

Хома Карлович приоткрыл дверь и в образовавшуюся щель справил малую нужду, стараясь бить как можно дальше.

Он подтянул кальсоны и стукнул по замолчавшему радио.

— ...Идиоты!.. — крикнуло радио неприятным голосом, и Хома Карлович прислушался.

По радио с лекцией «Бездна внутри нас» выступал доктор Биба, заведующий психбольницей.

— И вот, — кричал, заикаясь, доктор Биба, — если бы взять ваши сны, записать, а потом расшифровать по методу великого Зигмунда Фрейда, то вы бы сошли с ума, сколько у вас есть психических недугов, или, говоря по-научному, сдвигов по фазе!

Хоме Карловичу лекция очень понравилась, и он решил проверить на себе, есть ли у него психические недуги.

Вечером он напился чемпионского чая и лег спать.

Проснувшись утром и даже не попив чаю, Хома Карлович стал записывать.

Сон Хомы Карловича №1:

Горнолыжник Штрезерман потерпел крушение возле подножия гигантского трамплина. Две санитарки кинулись к нему. Одна схватила спортсмена под руки, другая — за ноги, и силь-

ные девушки-санитарки донесли и втащили Штрезермана в домик зрителя трамплина. Но там Штрезерману стало совсем худо, и он умер, не приходя в сознание...

Хома Карлович покрутил головой, обдумывая столь странный сон, но сон был записан совершенно верно, и даже гестаповская фамилия лыжника запомнилась ему очень ясно.

Хома Карлович стал записывать дальше.

Сон Хома Карловича №2:

Хома Карлович стоит сбоку и смотрит на Л.И. Брежнева.

В одной из стран Африки, а может и Азии, перед почетным босоногим караулом Генеральный секретарь по-военному приложил руку к голове, а другую руку, чтобы голова не была пустой, положил на темя. При этом Леонид Ильич постарался максимально похоже скопировать Альберта Эйнштейна — далеко высунул язык и озорно улыбнулся. Рядом с Л.И. Брежневым стоит восхищенный папуасский президент...

Битый час, до самого прихода сменщика Эдмундовича, Хома Карлович расшифровывал свои сны. Но, к своему огорчению, так и не обнаружил у себя психических заболеваний.

СЛУЧАИ

1

Один эстет, прочитав у Стендаля в «Прогулках по Риму» о «блаженном ничегонеделанье», перестал выходить на Житный рынок менять валюту, продал машину и жил в блаженстве, но недолго.

2

Ах, как нехорошо лежать на табуретках в лиловом гробу!

Глаз не оторвать от вашего желтого, глупого, потустороннего лица. Старухи смотрят с умилением. Молодежь брезгливо взглядывает. Совершенно очарованы зрелищем дети.

После того, как все нагляделись на вашу незадачу, гроб взваливают на плечи и несут со двора. Из окон кухонь выглядывают жуящие лица; дождик тихо стучится в ваши закрытые глаза.

Оркестр затягивает песнь смерти. В этой песне поется о том, что смерть здесь, смерть растворена в воздухе, смерть можно мазать на хлеб и что, вполне вероятно, когда-нибудь умрут все.

Не лучше и потом, на далеком необжитом кладбище, где работает экскаватор.

3. КОШКА

В промзоне, на заброшенной автобазе, живет кошка. Кошками никогда здесь не пахло и пахнуть не будет. Однако же, кошка-призрак существует.

Весной она, повторив фокус с непорочным зачатием, привела на растрескавшийся, порыжелый от солярки, асфальт, четверых котят. Одного сразу выбраковала, а остальных принялась воспитывать, учить, тренировать и закалять. Таких котят было поискать в дикой природе. Но все равно, одного за другим, их схватили, задушили, растерзали и сожрали гиеноподобные собаки.

Кошка не осознает собственной исключительности и, если доживет до апреля, конечно же, повторит попытку.

4. ДЖЕК-ПОТ

Однажды А.И. Балабан заметил, что у него всю жизнь мало денег. Он решил поправить свои обстоятельства. Рассмотрев все доступные ему способы обогащения, Арсений Ильич остановился на азартных играх.

На склоне лет спустившись к Великой Реке, Арсений Ильич, обоготаясь и обозрев пройденный путь, мог сказать только одно: «Оно того стоило». Ибо Вера, Надежда и Мечта выиграть в гос.лотерею дороже жалких земных денег.

Джек же пот ждет нас в мире ином.

5. 1989

Вася Тазик с вокзала в одну зиму поправил себе здоровье и выработал стальную мускулатуру игрою на бильярде.

Брехня? Никакая не брехня.

Бильярдную «Тип-топ» на Чекистов держали борцы с Малеванки. Здесь не катали «на интерес» и не проставлялись «кониной». За проигрыш полагалось отжаться от пола или присесть 50 раз, без базара.

Неудивительно, что азартный Василий окреп как Тарзан, отжимаясь до 500 раз за вечер.

К сожалению, все имеет обратную сторону медали. И останется ли Вася при своих «булках», когда отучится киксовать — вопрос.

АТЕИЗМ

Летнее утро. Во дворе ветлечебницы на лавочках сидят старухи. Они пришли на прием и привели своих больных коров и коз. Мы с моей бабушкой привели нашу корову Майку. Не помню, чем она болела,

но помню, что это год 1969-й или 70-й. Мне 8 лет, я приехал к бабушке и дедушке на Кубань, в станицу Ярославскую, на все лето.

Старухи в ожидании своей очереди ведут разговор. Разговор вращается вокруг божественного. Бабки сильно набожные. Станичный поп из маленькой церкви на кладбище в большом авторитете и почитается ими за святого и мученика. Недавно бабушка, придя из церкви, рассказала новость: батюшка в проповеди возвестил, что новый жук-колорад — это наказание Божие за наши грехи, наша египетская казнь.

Старухи в очереди продолжают свой треп о тайнах бытия.

Я уже перешел во второй класс, я октябренок, и меня смешат эти разговоры.

— Никакого Бога нет! — громко говорю я.

Старухи со страхом глядят на меня. Бабушка краснеет. Она ужасно меня любит.

Главная старушка, жалостливо улыбаясь, говорит, как ксендз из «Золотого теленка»:

— Как же, внучек, ты можешь такое говорить, что Бога нет, когда все вокруг создано им? Ну кто, по-твоему, создал землю и всё на земле, и небо, и звезды?

Я поражаюсь наивности вопроса. Я убеждаюсь, насколько у старых людей туман в голове.

И звонко выкрикиваю:

— Ленин!..

ЖАЛОБА

Он был в том возрасте, когда начинают разговаривать с могилами. Он оглянулся по сторонам, сел на скамейку и сказал:

— Здравствуйте, родители!

Он закурил и поглядел на надгробие, утыканное пластмассовыми цветами, потом перевел взгляд на эмалевые портреты. Отец был в незнакомом галстуке и костюме с чужого плеча. Мать, краснощечая и голубоглазая, смотрела неласково.

Он бросил окурок и скрипучим голосом сказал:

— Папа, мама, мне совсем плохо, заберите меня отсюда!..

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства

И.А. Савкин

Дизайн обложки *И.Н. Граве*

Оригинал-макет *Б.Н. Марковский*

Редакторы номера

Ю. Касянич, С. Воробьев

Издательство

«Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 53

Подписано в печать 27.08.2017

Формат 66x88^{1/16}. Усл.-печ. л. 20.

Печать офсетная. Заказ 254

Я по крышам дней
от себя, от покорной,
убегу.

По следам теней
моей памяти спорной
убегу.

В зеркала моей
долины огромной
я смотрю.

Отражений нет,
ни намека, ни отблеска
на снегу.

Убегу
за тысячи лет отсюда,
чтобы вспомнить,

Чтобы никогда
не забывать,

Загляну
в уголки твоих глаз, чтобы больше
не искать.

Усложняю свой путь,
чтобы тебя обнять.



Мария Савкина

KRESCHATIK #77

П Е Р Е К Р Е С Т О К

www.kreschatik.kiev.ua
www.magazines.russ.ru/kreschatik

Мы – в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили – в Киеве,
Петербурге, Израиле, Нью-Йорке
или Мюнхене, мы – перенесенный в
ментальное пространство проспект,
как бы он ни назывался
в каждом городе, где когда-то
завязывались великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные
встречи...

All rights reserved © Kreschatik

